



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

# Л.Н.ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

---

*Под общей редакцией*

*Н. Н. АКОПОВОЙ, Н. К. ГУДЗИЯ,  
Н. Н. ГУСЕВА, М. Б. ХРАПЧЕНКО*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1961

# Л.Н.ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

---

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1857—1863 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1961

*Примечания*  
**В. Я. ЛАКШИНА**





# ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ





ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА.  
ЛЮЦЕРН

8 июля

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, — говорит Мургау, — одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие *иды* говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне — бездна.

Великолепный пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это — гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швей-

царских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные, и дома, и липки, и англичане очень хорошо где-нибудь, — но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки — бедные, пошлые людские произведения, не уто-

нующие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспреданно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так, и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие, щадящие, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чистоплотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей — англичане, и потому главные черты общего стола — строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одиночке довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блестят белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из

этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушанье берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шепотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «Отдохни, мой любезный!» — в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задушенности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые, очевидно, повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг с другом, наслаждения человеком?

То ли дело, бывало, в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой *bel esprit*<sup>1</sup>, свой пластрон<sup>2</sup>, все было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и, в такт ли, не в такт

---

<sup>1</sup> остроумец (франц.).

<sup>2</sup> предмет насмешек (от франц. *plastron*).

ли, принимались по пыльному ковру танцевать la polka<sup>1</sup> до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший «Божественную комедию» после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица вдова с тремя перстнями на каждом пальце, — мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приятенно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же table d'hôte<sup>2</sup> я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья: сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть не зная этого. И бог знает, отчего никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу. Узенькие грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой или, в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

---

<sup>1</sup> польку (франц.).

<sup>2</sup> общими обедами (франц.).

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно действовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрёшенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке на середине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада — все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? — сказалось мне невольно, — вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, брэнча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волосы у него были черные, короткие, и на голове была самая мешанская, простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие нарядами, широкоюбные барыни, господа с белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотошитых ливреях; на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Все было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота и из Фрёшенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней.



Несмотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарование. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и навверху в Швейцергофе и внизу на бульваре, слышался часто одобрительный шепот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах все более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно-недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распутившейся улыбке которого я замечал все им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слышал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

— Да в лето раза два приходит, — отвечал лакей, — он из Арговии. Так, нищенствует.

— А что, много их таких ходит? — спросил я.

— Да, да, — отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав уж потом мой вопрос, прибавил: — О нет! Здесь я только одного его выдаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем немецком *patois*<sup>1</sup>, чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

---

<sup>1</sup> местном, провинциальном наречии (франц.).

— Что это он говорит? — спросил я.

— Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, — перевел мне лакей, стоявший подле меня.

— А что, он, верно, любит пить?

— Да эти все люди такие, — отвечал лакей, улыбувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «Messieurs et mesdames, — сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, — si vous croyez que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je ne suis qu'un baveux tiple»<sup>1</sup>. Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi»<sup>2</sup>. Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл l'air du Righi. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose», — которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика все так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя

---

<sup>1</sup> Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый (франц.).

<sup>2</sup> Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги (франц.).

богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе слышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не закончил ее и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit»<sup>1</sup>, — и надел фуражку. Толпа заготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, все так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись...

Я совсем растерялся, не понимал, что это все значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не

---

<sup>1</sup> Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи (франц.).





отдавал еще себе отчета в том, что испытывал, только что-то тяжелое, неразрешившееся наполняло мне душу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, красивый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с пледом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня в грациозной швейцарской шляпе с пером, *à la mousquetaire*<sup>1</sup>, из-под которой вокруг ее беленького личика падали мягкие длинные светло-русые букли. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

— Прелестная ночь, — сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время как я проходил.

— Охе! — промычал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что все это должно быть, и что на все это имеют полное право, — что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который, усталый, может быть голодный, с стыдом убегал теперь от смеющейся толпы, — понял, что таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнув его локтем, и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

---

<sup>1</sup> как мушкетер (франц.).

Догнав трех человек, шедших вместе, я спросил у них, где певец; они, смеясь, указали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он все что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поравнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел все так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав в чем дело, остановился.

— Что ж, я не откажусь, ежели вы так добры, — сказал он. — Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно — простенькое, — прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово «простенькое» невольно навело меня на мысль не идти в простенькое кафе, а идти в Швейцергоф, туда, где были те, которые его слушали. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, подоновились, прислушались к тому, что я говорил, и теперь, рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая, верно, от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он, видимо, старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по общественному положению и достоинствам неизмеримо

выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

— Простого вина прикажете? — сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

— Шампанского, и самого лучшего, — сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любят родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волосы были недлинные, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорей был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.

Вот что он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту



к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару и вот восемнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостиницами. Весь его багаж — гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, уж восемнадцать раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard проходит в Италию и возвращается через St.-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глйдерзухт, с каждым годом усиливается и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные, или дом и земля, ротик его, как будто на сборах, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне:

— Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants! <sup>1</sup> — и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, но в лакейской группе засмеялись.

— Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, — объяснил он мне, — а прихожу домой, потому что все-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «Oui, le sucre est bon», — и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он во время разговора уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого

---

<sup>1</sup> Да, сахар хорош, он приятен для детей! (франц.)

качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это всё старинные тирольские песни.

— А как же песня Риги? я думаю, не старинная? — сказал я.

— Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая, видно, ему очень нравилась:

Коли хочешь идти на Риги,  
До Вегиса не нужно башмаков  
(Потому что на пароходе едут),  
А от Вегиса возьми большую палку,  
Да еще под руку возьми девицу,  
Да зайди выпить стаканчик вина.  
Только пей не слишком много,  
Потому что тот, кто хочет пить,  
Должен заслужить прежде...

— О, отличная песня! — заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.

— Ну, а музыку кто же сочинял? — спросил я.

— Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.

Когда нам принесли льду и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями.

— Давно я не пил такого вина, *je ne vous dis que ça*<sup>1</sup>. В Италии вино *d'Asti* хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия! славно там быть! — прибавил он.

---

<sup>1</sup> я только это скажу вам (франц.).

— Да, там умеют ценить музыку и артистов, — сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом.

— Нет, — отвечал он, — там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им все-таки новость.

— Что ж, там щедрее господа? — продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. — Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали...

Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он и не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

— Не всякий раз много получишь, — отвечал он. — Иногда и голос пропадет, устанешь, — ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни.

— Все-таки, как же ничего не дать? — повторил я.

Он не понял моего замечания.

— Не то, — сказал он, — а здесь главное *on est très serré pour la police*<sup>1</sup>, вот что. Здесь по этим республиканским законам вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

— Как, неужели?

— Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, — вас могут в тюрьму посадить. Я уж просидел три месяца, — сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

— Ах, это ужасно! — сказал я. — За что же?

— Это так у них по новым законам республики, — продолжал он, одушевляясь. — Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так

---

<sup>1</sup> много притеснений со стороны полиции (франц.).

разве я кому-нибудь вред этим делаю? Что ж это такое? богатым жить можно, как хотят, а un *bauvre tiaple*<sup>1</sup>, как я, уж и жить не может. Что ж это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы хотим... мы хотим просто... мы хотим... — он замаялся немного, — мы хотим натуральные законы.

Я подлил ему еще в стакан.

— Вы не пьете, — сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

— Я знаю, что вы хотите, — сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем, — вы хотите подпойть меня, посмотреть, что из меня будет; но нет, это вам не удастся.

— Зачем же мне вас напоить, — сказал я, — я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно объяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня за локоть.

— Нет, нет, — сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, — я так только, шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я все-таки добрый малый.

— Je ne vous dis que ça!<sup>2</sup> — заключил он.

Таким образом, мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился все больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня уж был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие или тщеславие, окончательно взо-

---

<sup>1</sup> бедный малый (франц.).

<sup>2</sup> Я только это скажу вам! (франц.)

рвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом, он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

— Чему вы смеетесь? — закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

— Я не смеюсь, я так, — отвечал лакей, отступая от меня.

— Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не смей сидеть! — закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

— Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не сажались со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошее платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен. Потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

— Да я ничего, что вы, — робко отвечал мой враг лакей. — Разве я мешаю ему сидеть.

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу, или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht»<sup>1</sup>, — твердила она. Певец представлял самое

---

<sup>1</sup> Господин прав; вы правы (нем.).

жалкое, испуганное лицо и, видимо не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне все больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я все припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что, если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

— И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? — допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем чтобы он не ушел от меня. — Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!.. Вот оно равенство! Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по несколько сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

— Та зала заперта, — отвечал швейцар.

— Нет, — закричал я, — неправда, не заперта зала.

— Так вы лучше знаете.

— Знаю, знаю, что вы лжете.

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

— Э! что говорить! — проворчал он.

— Нет, не «что говорить», — закричал я, — а ведите меня сию минуту в залу.

Несмотря на увещанья горбуны и просьбы певца идти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услышав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу идти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой.

Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неконченную бутылку.

Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького человечка, который ни жив ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шелковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверьми я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая рукой по нашему направлению. Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас и можно будет наконец вылить на них все свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил все, что оставалось в бутылке, с тем чтобы только поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощение. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но все-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастья, была мне очень приятна. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поравняться со всей этой публикой и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с заостренным отсохшим пальцем. Лакеи сделали, как будто не обращают на меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся сардоническим смехом.

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу, с тем чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь, и, признаюсь, кроме

того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать им всю их жестокость и, главное, несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед ходить по набережной.

«Вот она, странная судьба поэзии, — рассуждал я, успокоившись немного. — Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцергофа: что лучшее благо в мире? и все, или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира — деньги. «Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, — скажет он, — но что ж делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, — прибавит он, — то есть видеть правду». Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего тебе надобно... Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером высыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Что, за деньги, хоть за миллионы, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни: потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово «поэзия» вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да



дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что даст счастье, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смее-тесь над тем, что одно любите, и ищете одного того, что ненавидите и что делает ваше несчастье. Вы так запу-тались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бес-смыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, что дает счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти по-нимаю или привык к ней, встречав ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для меня не новость; что бы ни говорили защитники на-родного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хоро-ших людей, но соприкасающихся только животными, гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети сво-бодного, человеческого народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил не-счастный просящий человек, ответили холодностью и на-смешкой? Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих. — Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищен-ство. — Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестя-щих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не на-шлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бес-смысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его, — за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли.

*«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцаргофом, в котором останавливаются самые бога-тые люди, странствующий нищий певец в продолжение*

получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабиллов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа, — это всё слова, скрывающие или показывающие давно известное; но событие, происшедшее в Люцерне 7 июля, мне кажется совершенно ново, странно и относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне, немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство досведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, в общем, на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку?

Неужели нет этого чувства и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова «равенство»?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное, то, что люди называют положительно-свободное государство, то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что может, для того чтобы не умереть с голода?

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выраже-

нию одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация — благо; варварство — зло; свобода — благо; неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой природе. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого

оскорбили, чуть не вытолкали нынче и который, усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, — сказалось мне невольно, — ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрёка, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благодать и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть его законы, его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В свей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного...

*18 июля 1857 г.*

## АЛЬБЕРТ

### I

Пять человек богатых и молодых людей приехали в третьем часу ночи веселиться на петербургский балик.

Шампанского было выпито много, большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепьяно и скрипка неумоимо играли одну польку за другою, танцы и шум не переставали; но было как-то скучно, неловко, каждому казалось почему-то (как это часто случается), что все это не то и ненужно.

Несколько раз они усиливались поднять веселье, но притворное веселье было еще хуже скуки.

Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать.

В передней никого не было, но в соседней комнате, за дверью, он услышал два голоса, спорившие между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать.

— Нельзя, там гости, — говорил женский голос.

— Пустите, пожалуйста, я ничего! — умолял слабый мужской голос.

— Да уж не пушу без позволения мадамы, — говорила женщина, — куда вы? ах какой!..

Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала

удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату. Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны над шершавыми, нечищенными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубашка высовывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычайную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках, над черной редкой бородой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутае кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов.

Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом; но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек — сам не зная чему — улыбнулся тоже.

— Кто это такой? — спросил он шепотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы.

— Помешанный музыкант из театра, — отвечала служанка, — он иногда приходит к хозяйке.

— Куда ты ушел, Делесов? — кричали в это время из залы.

Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.

Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем.

— Что же, идите и вы танцевать, — сказал ему один из гостей.

Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку.

— Идите, идите, — что ж, когда вас господа приглашают, — вмешалась хозяйка.

Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале.

В середине кадрили веселый офицер, танцевавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые, усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со *всего* роста упал на пол. Несмотря на резкий, сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту.

Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепьяно перестало играть, и Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы.

— Господин Альберт! господин Альберт! — говорила хозяйка, — что, ушиблись? где? Вот я говсрила, что не надо было танцевать. Он такой слабый! — продолжала она, обращаясь к гостям, — насилу ходит, где ему!

— Кто он такой? — спрашивали хозяйку.

— Бедный человек, артист. Очень хороший малый, только жалкий, как видите.

Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съежился и оттолкнул окружавших его.

— Это все ничего, — вдруг сказал он, с видимым усилием привставая со стула.

И, чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали.

Всем сделалось неловко; глядя на него, все молчали.

Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку.

— Все ничего! — повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. — Господа! будем музицировать.

— Что за странное лицо! — говорили между собой гости.



— Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе! — сказал один из гостей.

— Да, жалкий, жалкий! — говорил другой.

— Какое лицо прекрасное!.. В нем есть что-то необыкновенное, — говорил Делесов, — вот посмотрим...

## II

Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пьянисту, приготовившемуся аккомпанировать.

— «*Melancholie G-dur!*» — сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пьянисту.

И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то несжиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные,

то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая напряженно-согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами; правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения.

Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пьянист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и, с выражением детской злобы топая ногой, закричал: «*Mol, c-mol!*» Пьянист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему долгу.

Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками.

Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девушки в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пьянист впивался глазами в лицо Альберта и, со страхом ошибиться, выразившимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за

ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробежал вверх по спине, что-то, все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и нёбе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он — немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платье, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала она в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени одна за другою составляли перед ним, но не как незначущие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал, — плакал не оттого, что прошло то время, которое он мог употребить лучше (ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше), но он плакал оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, — это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя».

К концу последней варьяции лицо Альберта сделалось красно, глаза горели не потухая, крупные капли

пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, все тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения.

Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату.

### III

Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, последовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не умел высказать того, что все это значило. Что такое значит — светлая и жаркая комната, блестящие женщины, заря в окнах, взволнованная кровь и чистое впечатление пролетевших звуков? Но никто и не попытался сказать того, что это значит; напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него.

— А ведь он точно хорошо играет, — сказал офицер.

— Удивительно! — отвечал, украдкой рукавом отирая щеки, Делесов.

— Однако пора ехать, господа, — сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. — Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину.

Альберт сидел в это время один в 'другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колени, он потными, грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался.

Складчину сделали богатую, и Делесов взялся передать ее.

Кроме того, Делесову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришло в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь

месту — вообще вырвать из этого грязного положения.

— Что, вы устали? — спросил Делесов, подходя к нему.

Альберт улыбался.

— У вас действительный талант; вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публике.

— Я бы выпил чего-нибудь, — сказал Альберт, как будто проснувшись.

Делесов принес вина, и музыкант с жадностью выпил два стакана.

— Какое славное вино! — сказал он.

— «Меланхолия», какая прелестная вещь! — сказал Делесов.

— О! да, да, — отвечал, улыбаясь, Альберт, — но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? — Он помолчал немного. — Я ничего не имею... я бедный человек. Я не могу отдать вам.

Делесов покраснел, ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги.

— Очень благодарю вас, — сказал Альберт, схватив деньги. — Теперь давайте музицировать; я сколько хотите буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь, выпить, — прибавил он, вставая.

Делесов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя.

— Извините меня, ежели я буду откровенен с вами, — сказал Делесов, — ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении?

Альберт поглядывал то на Делесова, то на хозяйку, которая вошла в комнату.

— Позвольте мне вам предложить свои услуги, — продолжал Делесов, — ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один, и, может быть, я был бы вам полезен.

Альберт улыбнулся и ничего не отвечал.

— Что же вы не благодарите, — сказала хозяйка, — разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам

не советовала, — продолжала она, обращаясь к Делесову и отрицательно качая головой.

— Очень вам благодарен, — сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делесова, — только теперь дайте музицировать, пожалуйста.

Но остальные гости уже собрались ехать и, как их ни уговаривал Альберт, вышли в переднюю.

Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшие всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо.

Когда Делесов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делесову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» — подумал он.

Проехав с четверть часа, Альберт замолк, шляпа с него свалилась в ноги, он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу; слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна.

Делесов оглянулся на своего соседа. Длинное тело, прикрытое плащом, безжизненно лежало подле него. Делесову казалось, что длинная голова с большим темным носом качалась на этом туловище; но, взглядевшись ближе, он увидел, что то, что он принимал за нос и лицо, были волосы, а что настоящее лицо было ниже. Он нагнулся и разобрал черты лица Альберта. Тогда красота лба и спокойно сложенного рта снова поразили его.

Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки Делесов, глядя на это лицо, снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью; снова ему вспомнилось счастливое и великодушное время молодости, и он перестал раскаиваться в своем поступке. Он в эту минуту искренно, горячо любил Альберта и твердо решился сделать добро ему.

На другой день утром, когда его разбудили, чтобы идти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидел вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» — спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта; мотив «Меланхолии» и вся странная вчерашняя ночь пронеслись в его воображении.

Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день: взял бумаги, отдал необходимые приказания дома и торопясь надел шинель и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись, в грязной, изорванной рубахе, мертвым сном спал на сафьянном диване, куда его, бесчувственного, положили вчера вечером. Что-то не хорошо — невольно казалось Делесову.

— Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них, — сказал он своему человеку, — да когда они проснутся, напой их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще удовлетвори его хорошенько. Пожалуйста.

Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта.

— Где же он? — спросил он у человека.

— Тотчас после обеда ушли, — отвечал слуга, — взяли скрипку и ушли, обещались прийти через час, да вот до сей поры нету.

— Та! та! досадно, — проговорил Делесов. — Как же ты егопустил, Захар?

Захар был петербургский лакей, уже восемь лет служивший у Делесова. Делесов, как одинокий холостяк, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий.

— Как же я смел его не пустить, — отвечал Захар, играя печаткой своих часов, — ежели бы вы мне сказали, Дмитрий Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять. Но вы только насчет платья сказали.

— Та! досадно! Ну, а что он тут делал без меня? Захар усмехнулся.

— Уж точно, можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры, потом с кухаркой и с соседским человеком всё занимались. Смешные такие... Однако характера очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес, ничего не хотели одни есть, всё меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов у Излера мало. Такого человека можно держать. Как он «Вниз по матушке по Волге» нам сыграл, так точно как человек плачет. Слишком хорошо! Даже со всех этажей пришли люди к нам в сени слушать.

— Ну, а одел ты его? — перебил барин.

— Как же-с; я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этому человеку можно помогать, точно, милый человек. — Захар улыбнулся. — Всё спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли знакомства значительные? и сколько у вас душ крестьян?

— Ну, хорошо, только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить, а то ему еще хуже сделаешь.

— Это правда, — перебил Захар, — он, видно, слаб здоровьем, у нас такой же у барина был приказчик...

Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее докончить Захару и, велел приготовить себе все для ночи, послал его отыскать и привести Альберта.

Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, все думал об Альберте. «Хоть это все странным может показаться многим из моих знакомых, — думал Делесов, — но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить бога, когда представляется такой случай, и я не упущу его. Все сделаю, решительно все сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это мне будет совсем не дорого: где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, стащим его с мели, а там видно будет».



Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения.

«Право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, — подумал он. — Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими...»

Он уже засыпал, когда звуки отворяемых дверей и шагов в передней развлекли его.

«Ну, обращай с ним поостроже, — подумал он, — это лучше; и я должен это сделать».

Он позвонил.

— Что, привел? — спросил он у вошедшего Захара.

— Жалкой человек, Дмитрий Иванович, — сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза.

— Что, пьян?

— Очень слаб.

— А скрипка с ним?

— Принес, хозяйка отдала.

— Ну, пожалуйста, не пускай его теперь ко мне, уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома.

Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт.

## V

— Вы уж спать хотите? — сказал Альберт, улыбаясь. — А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер: музицировали, смеялись, приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, — прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике, — только не воды.

Альберт был такой же, как и вчера: та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый, вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз впору, и чистый, длинный, некрахмаленный воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть

строгим, ему захотелось, напротив, веселиться, слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку.

— Вот это отлично, — сказал Альберт, — еще рано, будем музицировать, я вам буду играть, сколько хотите.

Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закурив сигару, сел в соседнюю комнату.

— Поговоримте лучше, — сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку.

Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся.

— Ах да, — сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно-любопытное выражение. (Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить.) — Позвольте спросить... — он приостановился немного, — этот господин, который был с вами там, вчера вечером... вы его называли N., он не сын знаменитого N.?

— Родной сын, — отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту.

— То-то, — самодовольно улыбаясь, сказал он, — я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, — спросил он, — он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN.. кажется?

— Который? — спросил Делесов.

— Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцевали. Он славный должен быть человек.

— Нет, он пустой малый, — отвечал Делесов.

— Ах, нет! — горячо заступился Альберт, — в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант, — прибавил Альберт, — он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился.

— Да, он хорошо играет, но я не люблю его игры, — сказал Делесов, желая навести своего собеседника на

разговор о музыке, — он классической музыки не понимает; а ведь Доницетти и Беллини — ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения?

— О нет, нет, извините меня, — заговорил Альберт с мягким заступническим выражением, — старая музыка — музыка, и новая музыка — музыка. И в новой есть красоты необыкновенные: а «Сомнамбула»?! а финал «Лючии»?! а *Chopin*?! а Роберт?! Я часто думаю... — он приостановился, видимо собирая мысли, — что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая «Сомнамбулу». Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз «Сомнамбулу», когда здесь были Виардо и Рубини, — это было вот что, — сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. — Еще бы немного, то это невозможно бы было вынести.

— Ну, а теперь как вы находите оперу? — спросил Делесов.

— Бозио хороша, очень хороша, — отвечал он, — изящна необыкновенно, но тут не трогает, — сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. — Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радуется, но не мучает.

— Ну, а Лаблаш?

— Я его слышал еще в Париже, в «Севильском цирюльнике»; тогда он был единствен, а теперь он стар, — он не может быть артистом, он стар.

— Что ж, что стар, все-таки хорош в *motseaux d'ensemble*<sup>1</sup>, — сказал Делесов, всегда говоривший это о Лаблаше.

— Как что же, что стар? — возразил Альберт строго. — Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное — огонь! — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре.

— Ах, боже мой! — сказал он вдруг. — Вы не знаете Петрова — художника?

— Нет, не знаю, — улыбаясь, отвечал Делесов.

---

<sup>1</sup> ансамблях (франц.).

— Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой, большой талант.

— Что ж, он картины пишет? — спросил Делесов.

— Не знаю; нет, кажется, но он был художник академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую. Вот жалко, — улыбаясь, прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.

— Что, вы давно не были в опере? — спросил его Делесов.

Альберт оглянулся и вздохнул.

— Ах, я уж не могу, — сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. — Я вам скажу, — проговорил он почти шепотом, — я не могу туда ходить, я не могу там играть, у меня ничего нет, ничего — платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь! скверная жизнь! — повторял он несколько раз. — Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? не надо, — сказал он, улыбаясь. — Ах, «Дон-Жуан»!

И он ударил себя по голове.

— Так поедem когда-нибудь вместе, — сказал Делесов.

Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон-Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы.

У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.

— Нет, не могу играть нынче, — сказал он, кладя скрипку, — я много пил.

Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову.

Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов

чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.

— Вы были влюблены? — вдруг спросил он.

Альберт задумался на несколько секунд, потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глаза.

— Зачем вы это спросили у меня? — прогворил он шепотом. — Но я вам все расскажу, вы мне понравились, — продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. — Я не буду вас сбманывать, я вам расскажу все, как было, сначала. — Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. — Вы знаете, что я слаб рассудком, — сказал он вдруг. — Да, да, — продолжал он, — Анна Ивановна вам, верно, рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший! Это неправда, она из шутки говорит это, она добрая женщина, а я точно не совершенно здоров стал с некоторого времени.

Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь.

— Вы спрашивали, был ли я влюблен? Да, я был влюблен, — прошептал он, поднимая брови. — Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны.

Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.

— Нет, зачем называть ее, — сказал он. — Вы, верно, знаете ее, все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее; я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.

Альберт задумался, припсминая.

— Как это случилось, я не помню; но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну что я, бедный артист! — сказал он, покачивая головой и улыбаясь. — Но нет, я не умею рассказывать, не умею... — прибавил он, схватившись за голову. — Как я был счастлив!

— Что же, вы часто были у нее? — спросил Делесов.

— Один раз, один раз только... но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристокра-

тическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось. Петров правду сказал мне: лучше бы было видеть ее только в театре...

— Что же вы сделали? — спросил Делесов.

— Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого.

И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.

— Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу; на ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак; я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе, стою с ней и держу ее за руку, за это место. Что это такое? — спросил Альберт, помолчав.

— Это живость воображения, — сказал Делесов.

— Нет, нет... да я не умею рассказывать, — сморщившись, отвечал Альберт. — Я уже и тогда был беден, квартиры у меня не было, и когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там.

— Как? в театре? в темной пустой зале?

— Ах! я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходило, я шел к тому бенуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. — Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова. — Что это такое? — спросил он.

— Странно! — сказал Делесов.

— Нет, постойте, постойте! — Он на ухо шепотом продолжал: — Я целовал ее руку, плакал тут подле нее, я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я

отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю; но мне стало страшно за свою голову, — сказал он, любезно улыбаясь и дотрагиваясь рукою до лба, — за свой бедный ум мне стало страшно, мне казалось, что-то сделалось у меня в голове. Может быть, это и ничего? Как вы думаете?

Оба помолчали несколько минут.

Und wenn die Wolken sie verhüllen,  
Die Sonne bleibt doch ewig klar<sup>1</sup>, —

пропел Альберт, тихо улыбаясь. — Не правда ли? — прибавил он.

Ich auch habe gelebt und genossen<sup>2</sup>, —

Ах! старик Петров как бы все это растолковал вам.

Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.

— Вы знаете «Юристен-вальцер»? — вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет за ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.

— Э, будет веселиться! — сказал он, кончив и размахнув скрипкой.

— Я пойду, — сказал он, молча посидев немного, — а вы не пойдете?

— Куда? — с удивлением спросил Делесов.

— Пойдем опять к Анне Ивановне; там весело: шум, народ, музыка.

Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако, опомнившись, он стал угваривать Альберта не ходить нынче.

— Я бы на минуту.

— Право, не ходите.

Альберт вздохнул и положил скрипку.

— Так остаться?

---

<sup>1</sup> Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим (нем.).

<sup>2</sup> И я жил и наслаждался (нем.).

Он посмотрел еще на стол (вина не было) и, пожелав покойной ночи, вышел.

Делесов позвонил.

— Смотри, не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса, — сказал он Захару.

## VI

На другой день был праздник. Делесов, проснувшись, сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился.

Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую.

— Верите ль, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит! Ничего не хотел подостлать, ей-богу. Как дитя малое. Право, артист.

В двенадцатом часу за дверью послышалось кряхтение и кашель.

Захар снова пришел в столовую; и барин слышал ласковый голос Захара и слабый, просящий голос Альберта.

— Ну, что? — спросил барин у Захара, когда он вышел.

— Скучает, Дмитрий Иванович; умываться не хочет, пасмурный такой. Все просит выпить.

«Нет, уж если взялся, надо выдержать характер», — сказал себе Делесов.

И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плеванье. Прошло часа два. Делесов, одевшись, перед тем как выйти со двора, решил заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился.



— Если бы можно рюмочку простой водки, — сказал он с просящим выражением, — я так слаб... пожалуйста!

— Кофей вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал.

Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение; он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустился на стул.

— Или позавтракать не хотите ли?

— Нет, благодарю, не имею аппетита.

— Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать, — сказал Делесов, кладя скрипку на стол.

Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку.

— Нет; я слишком слаб, я не могу играть, — сказал он и отодвинул от себя инструмент.

После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан; но глаза его были тусклы, мертвы и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще большие, чем утром.

— Что, вы обедали, господин Альберт? — спросил Делесов.

Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза.

Делесову сделалось неловко.

— Я говорил нынче о вас директору, — сказал он, тоже опуская глаза, — он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать.

— Благодарю, я не могу играть, — проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь.

Через несколько минут замочная ручка так же тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся.

Делесов пожал плечами и улыбнулся.

«Что ж мне еще делать? в чем я виноват?» — подумал он.

— Ну, что музыкант? — был первый вопрос его, когда он поздно возвратился домой.

— Плох! — коротко и звучно отвечал Захар. — Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит, только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович. Так-то приказчик...

— А на скрипке не играет?

— Не дотрогивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два, — так возьмет ее потихоньку и вынесет, — отвечал Захар с улыбкой. — Так пить не прикажете давать?

— Нет, еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?

— Заперся в гостиной.

Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое евангелие.

— Положи это завтра ему в комнату, да смотри, не выпускай, — сказал он Захару.

На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь: все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все, по его старанию, было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками.

Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали.

На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе.

— Ну, бог с ним совсем! — отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. — Завтра добьюсь от него решительно: хочет ли он, или нет оставаться у меня и следовать моим советам? Нет — так и не надо. Кажется, что я сделал все, что мог.

«Вот делай добро людям, — думал он сам с собой. — Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное, сам для себя и шагу не хочет сделать. Так они и все (это «все» относилось вообще к людям и особенно к тем, до которых у него нынче было дело). И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь...»

«Нет, это был детский поступок, — решил сам с собою Делесов. — Куда мне браться других исправлять, когда только дай бог с самим собою сладить». Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра.

Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться...

— Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, — говорил Захар; голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечою выбежал в переднюю. Захар, в ночном костюме, стоял против двери, Альберт, в шляпе и альмавиве, отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него:

— Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!

— Позвольте, Дмитрий Иванович! — обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. — Они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь

уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их.

Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.

— Не может меня никто держать! не имеет права!— кричал он, все больше и больше возвышая голос.

— Отойди, Захар, — сказал Делесов. — Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра, — обратился он к Альберту.

— Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду! — все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. — Караул! — вдруг завопил он неистовым голосом.

— Да что же вы кричите так-то? ведь вас не держат, — сказал Захар, отворяя дверь.

Альберт перестал кричать. «Не удалось? Хотели уморить меня. Нет!» — бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся.

— И слава богу, Дмитрий Иванович! а то долго ли до греха, — сказал он барину, — и теперь серебро поверить надо.

Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом, вспомнились последние печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт, и главное, он вспомнил то сладкое смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек, и ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь? — подумал он. — Без денег, без теплого платья, один посреди ночи...» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно.

— А холодно на дворе? — спросил Делесов.

— Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, — отвечал Захар. — Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется.

— А как же ты говорил, что останутся?

На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода, — так он был разгорячен выпитым вином и спором.

Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями, на небе было ясно и звездно. «Что?» — сказал он, обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова; и, засунув руки под пальто в карманы панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть, в голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он все шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные, несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил; то вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет своей страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность: то, что он делал, или то, что он думал? Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему.

Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидел перед собой какое-то громадное, великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно. В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее выросло перед Альбертом. Но огни исчезли, как

только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» — подумал Альберт; но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы... Там стояло какое-то возвышение, и вокруг него молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» — спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь!» — подумал Альберт. «Нет, братья! — говорил Петров, указывая на кого-то. — Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и неоцененным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг; но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову.

«Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим, — продолжал голос, — но он исполнил все то, что было вложено в него богом; за то он и должен называться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать, — продолжал голос громче и громче, — а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно — красоту, единственно несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой! Ниц падайте все перед ним, на колена!» — закричал он громко.

Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колена, — говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. — Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их, как он унес скрипку у своего товарища артиста и заложил

ее?.. («Боже мой! как он это все знает!» — подумал Альберт, еще ниже опуская голову.) Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям, льстил из-за денег? — продолжал Делесов. — Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию послать его?» («Боже мой! это все правда, но заступись за меня, — проговорил Альберт, — ты один знаешь, почему я это делал».)

«Перестаньте, стыдитесь, — заговорил опять голос Петрова. — Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги? («Правда, правда!» — шептал Альберт). Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшие все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели».

Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! правда!» Но голос его замер без звука.

«Не до вас это дело, — строго обратился к нему художник Петров. — Да, унижайте, презирайте его, — продолжал он, — а из всех нас он лучший и счастливейший!»

Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его.

«Убирайся, я тебя не знаю, — отвечал Петров, — проходи своей дорогой, а то не дойдешь...»

— Вишь, тебя разобрало! не дойдешь, — прокричал будочник на перекрестке.

Альберт приостановился, собрал все силы, и, стараясь не шататься, повернул в переулок.

До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из сеней ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты.

Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил.

Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя! —

прокричала она, — не велено пускать», — и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» — невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший! В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «Да, он лучший и счастливейший». «Но пойду опять в залу, — подумал Альберт. — Петров еще много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышение стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди, для того чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слышал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых, он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово: «Да, — говорил колокол, далеко и высоко гудя где-то. — Он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте».

Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым.



Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышенье так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидел женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» — спросил он ее. Она еще раз долго, пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же, на полной белой шее была нитка жемчугу, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», — сказал Альберт; но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидел луну и воду. Но вода не была внизу, как сбывновенно бывает, а луна не была наверху: белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде — и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и пснял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете; он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» — спросил он себя; но нет! это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не воротится. «О чем же я плачу?» — спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив», — проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив», — с ужасом подумал он. «Боже мой! да я жив, поймите меня!» — шептал он. «Он лучший и счастливейший», — говорил голос. Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы — он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится.

Двое гостей, выходявшие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку.

— Ведь это безбожно, — сказал он, — вы могли этак заморозить человека.

— Ах, уж этот мне Альберт, — вот где сидит, — отвечала хозяйка. — Аннушка! полсжите его где-нибудь в комнате, — обратилась она к служанке.

— Да я жив, зачем же хоронить меня? — бормотал Альберт, в то время как его, бесчувственного, вносили в комнаты.

*28 февраля 1858.*

## ТРИ СМЕРТИ

*Рассказ*

### I

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая — горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волосы выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренне покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного

ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и беспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздражение и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ящик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ящика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

— Опять, — сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салоп горничной. чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее оказалось выражением бессильной, злой иронии. — Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! — Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню.

Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

— Что это? — спросила госпожа.

— Станция, сударыня.

— Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

— Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор, щупая пульс.

— Ну, как ты, мой друг, не устала? — спросил муж по-французски, — не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

— Ничего, то же самое, — отвечала больная. — Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

— Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать, — слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет, — прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. — Им хорошо, так и все равно. О! боже мой!»

— Ну что, Эдуард Иванович — сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки, — я велел погребцу принести, вы как думаете насчет этого?

— Можно, — отвечал доктор.

— Ну, что она? — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

— Я говорил: она не может доехать не только до Италии, — до Москвы дай бог. Особенно по этой погоде.

— Так что ж делать? Ах, боже мой! боже мой! — Муж закрыл глаза рукою. — Подай сюда, — прибавил он человеку, вносившему погребцу.

— Оставаться надо было, — пожав плечами, отвечал доктор.

— Да скажите, что же я мог сделать? — возразил муж, — ведь я употребил все, чтобы удержать ее, я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах, — она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении — ведь это значило бы убить ее.

— Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

— Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

— Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, — сказал доктор, значительно покачивая головой, — а то дорогой может быть худо...

— Аксюша, а Аксюша! — визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце, — пойдем ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

— Мм-а-тушки! — сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. — Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

— Да, какая худая! — поддакивала Аксюша. — Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

— Да и грязь же какая! — отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно, я страшна стала, — думала больная. — Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

— Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос, — подумала больная, — а сам ест!»

— Ничего, — пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иванович то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда по крайней мере дома.

— Что ж, что дома?.. Умереть дома? — вспыхливо отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду, — сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. — Боже мой! за что же? — говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же

осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

## II

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

— Дядя Хведор! а дядя Хведор, — сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

— Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? — отозвался один из ямщиков, — вишь, тебя в карету ждут.

— Хочу сапог попросить; свои избил, — отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. — Аль спит? А дядя Хведор? — повторил он, подходя к печи.

— Чаво? — слышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. — Дай испить, брат; ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

— Да что, Федя, — сказал он, переминаясь, — тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, собираясь с силами.



— Може, ты кому пообещал уже, — сказал парень, — так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать, я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

— Уж где надобны, — нежданно сердито на всю избу затрещала кухарка, — второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевести его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городе есть; а то разве дело — занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.

— Эй, Серега! иди садись, господа ждут, — крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

— Ты сапоги возьми, Серега, — сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. — Только, слышь, камень купи, как помру, — хрипя, прибавил он.

— Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

— Вот, ребята, слышали, — мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

— Ладно, слышали, — сказал один из ямщиков. — Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора прились как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

— Эх сапоги важные! дай помажу, — сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи. — Даром отдал?

— Аль завидно, — отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка. — Пушай! Эх вы, любезные! — крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатались по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали, — больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

— Ты на меня не сердчай, Настасья, — проговорил больной, — скоро опростаю угол-то твой.

— Ладно, ладно, что ж, ничаво, — пробормотала Настасья. — Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

— Нутро все изныло. Бог его знает что.

— Небось и глотка болит, как кашляешь?

— Везде больно. Смерть моя пришла — вот что. Ох, ох, ох! — простонал больной.

— Ты ноги-то укрой вот так, — сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

— Чудно что-то я нынче во сне видела, — говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. — Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликнулся.

— И то, не помер ли? Пойти посмотреть, — сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

— Пойти смотрителю сказать, кажись, помер, — сказал ямщик.

Родных у Федора не было — он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

### III

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка — мать больной — и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

— Ну, Христос с вами, мой друг, — говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери, — она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же. — Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

— Вот теперь, кажется, я не заплакана, — сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью борода тоже поднялась кверху и опустилась.

— Боже мой! Боже мой! — сказал муж.

— Что делать? — вздыхая, сказал священник, и снова брови и борода его поднялись кверху и опустились.

— И матушка тут! — почти с отчаяньем сказал муж. — Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

— Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, — сказал он, — однако бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

— Бог милосерд, — продолжал священник, когда она успокоилась немного. — Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу — можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для бога все возможно.

— Нет, уже ей не жить, — проговорила старушка, — чем бы меня, а ее бог берет. — И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

— Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? — спросила няня.

— Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подпрыгнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

— Это она будто бы ворона, папаша! — прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал пить.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

— Ах, мой друг, — сказала она, неожиданно перебивая ее, — не приговаривайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, — даже наверно, — была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно, богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь снять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страдания...

— Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись, — сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласия.

— Боже! прости меня грешную, — прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

— Это ангел! — сказала она мужу с слезами на глазах.

Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Через пять минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы.

— Слава богу, оне спокойнее теперь, — сказал он, — желают вас видеть.

Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг, — сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, — говорила

больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах. — Как бог милостив! Не правда ли, он милостив и всемогущ? — И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, — сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарики, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего не хочет понимать!.. — И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня, — говорила больная, — это отнимает у меня последнее спокойствие.

— Ты ангел! — сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрывала, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо твое — смущаются, — гласил псалтырь, — возмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

#### IV

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ящика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

— А грех тебе будет, Серега, — говорила раз кухарка на станции, — коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не удержишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить, не купишь, еще раз придет, душить станет.

— Да что, я разве отрекаюсь, — отвечал Серега, — я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

— Ты бы хошь крест поставил, вот что, — отозвался старый ящик, — а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Где его возьмешь, крест-то? из полена не вытешешь?

— Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рошу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я наемни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рошу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно ясел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще

дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск слышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.



## СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платице. В доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамаша была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вы-

возить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилось: зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на зачем не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желанья выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась во что бы то ни стало везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела.

В марте приехал опекун.

— Ну слава богу! — сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, — Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, — прибавила она, — а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больше всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили

его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамаша запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет и он говорил мне ты, играл со мной и прозвал меня *девочка-фиалка*, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, заслышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

— Ах! неужели это вы? — сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. — Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот те и фиалка! Вы целый розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменился; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей,

которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

— Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь! — сказал он, останавливаясь.

— Да, — сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

— Вы, я думаю, помните вашего отца? — обратился он ко мне.

— Мало, — отвечала я.

— А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! — проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. — Я очень любил вашего отца! — прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его стали блестящее.

— А тут ее бог взял! — проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

— Да, страшные перемены в этом доме, — повторил он, отвернувшись. — Соня, покажи игрушки, — прибавил он через несколько времени и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

— Это такой славный друг! — сказала она.

И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фор-

тепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

— Марья Александровна! — слышался его голос. — Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

— Вот это сыграйте, — сказал он, раскрывая тетрадь Бетховена на адажио сонаты *quasi una fantasia*. — Посмотрим, как-то вы играете, — прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но *скерцо* он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, — сказал он, подходя ко мне, — это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла наверх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была

приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажала лавалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.

— Самого-то главного она и не рассказала мне, — сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

— Что ж рассказывать! — сказала я, — это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла и что ее никогда не было.)

— Это нехорошо не уметь переносить одиночества, — сказал он, — неужели вы — барышня?

— Разумеется, барышня, — отвечала я, смеясь.

— Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любят, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; все только для показу, а для себя ничего.

— Хорошего вы мнения обо мне, — сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

— Нет! — проговорил он, помолчав немного, — недаром вы похожи на вашего отца, в вас есть, — и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня.

Только теперь я заметила из-за его на первое впечатление веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд — сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный.

— Вам не должно и нельзя скучать, — сказал он, — у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной, как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мною. Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим.

Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

— Ну, прощайте, любезные друзья, — сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

— Когда же увидимся опять? — спросила Катя.

— Весной, — отвечал он, продолжая держать меня за руку, — теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву — уж по своим делам, а лето будем видеться.

— Ну что ж это вы так надолго? — сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

— Да; побольше занимайтесь, не хандрите, — сказал он, как мне показалось, слишком холодно-простым тоном. — А весной я вас проэкзаменую, — прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! — подумала я. — Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший... но и только».

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и все говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? — уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом.

## II

Между тем пришла весна. Прежняя тоска моя прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи,

особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были странны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светловычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидела его.

— А! Сергей Михайлыч! — проговорила она, — а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

— Ну что за церемонии в деревне, — сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, — ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. — Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня



совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

— Я сейчас приду, — сказала я, уходя от него.

— Чем же это дурно! — прокричал он мне вслед, — точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, — думала я, торопливо переодеваясь наверху. — Ну слава богу, что он приехал, веселей будет!» И, посмотревшись в зеркало, весело сбегала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробить в деревне, а потом ехать или в Петербург, для воспитания Сони, или за границу.

— Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, — сказала Катя, — а то мы одни как в лесу там будем.

— Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, — сказал он полушутя, полусерьезно.

— Так что ж, — сказала я, — поедемте вокруг света.

Он улыбнулся и покачал головой.

— А матушка? А дела? — сказал он. — Ну да не в том дело, расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать ему все, что я делала хорошего, и признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

— Как я люблю ваше Покровское, — сказал он, прерывая разговор. — Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

— Ну что ж, и сидите, — сказала Катя.

— Да, сидите, — проговорил он, — жизнь не сидит.

— Что вы не женитесь? — сказала Катя. — Вы бы отличный муж были.

— Оттого, что я люблю сидеть, — засмеялся он. — Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.

Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.

— Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, — сказала Катя.

— Да еще как отжил, — продолжал он, — только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, — прибавил он, головой указывая на меня. — Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.

В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укрывшиеся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.

— Ну представьте себе, — продолжал он, повернувшись на стуле, — ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем, на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш... на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит... и это самый лучший пример.

Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад и что такое так выходит...

— Ну скажите по правде, руку на сердце, — сказал он, шутливо обращаясь ко мне, — разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым,

отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там бог знает что бродит, чего хочется.

Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.

— Ведь я не делаю вам предложенья, — сказал он, смеясь, — но по правде скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?

— Не несчастье... — начала я.

— Ну, а нехорошо, — закончил он.

— Да, но ведь я могу ошиба...

Но опять он перебил меня.

— Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастье, — прибавил он.

— Какой вы чудак, ничего не переменились, — сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин.

Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издав откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатой звонкою трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и все опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полхнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, доносилось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать, я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.

— Отлично жить на свете! — проговорил он.

Я вздохнула отчего-то.

— Что?

— Отлично жить на свете! — повторила я.

И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне все приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.

— Однако прощайте, — сказал он, вставая, — ма-тушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче.

— А я хотела сыграть вам новую сонату, — сказала я.

— В другой раз, — сказал он холодно, как мне показалось.

— Прощайте.

Мне еще больше показалось теперь, что я огорчила его, и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на дворе, глядя по дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад, и в росистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала все то, что хотела видеть и слышать.

Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что, когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на все его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которою он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от

него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «Полноте, пожалуйста, что вам до этого», — и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным.

Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, — было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша, а, напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он любит меня, — как ребенка или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью, и, чувствуя, что он считает меня самою лучшею девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я

ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, — он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже несколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шуточный тон:

— Да, да, в вас есть. Вы славная девушка, это я должен сказать вам.

И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григорья к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотвореньем или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шульгофу. И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда все то, что хорошо и что надо бы любить; хотя я тогда еще решительно не знала, что хорошо и что надо любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, какую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Совершенно незаметно для себя я на все стала смотреть другими глазами: и на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убавить скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни; и все только оттого,

что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе и он привозил мне их. Прежде занятия с Соней, уроки ей были для меня тяжелою обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга; он посидел за уроком — и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным; а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, я по сорока раз сряду проигрывала один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне все не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила, как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла все самоотвержение и преданность этого любящего созданья, поняла все, чем я обязана ей; и еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до семнадцати лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала; ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня. Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого; но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Все то же с детства безмолвно было вокруг меня, а стоило ему только прийти, чтобы все то же заговорило и наперерыв запросилось в душу, наполняя ее счастьем.

Часто в это лето я приходила наверх, в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски желаний и надежд в будущем тревога счастья в настоящем обхватывала меня. Я не могла засыпать,

вставала, садилась на постель к Кате и говорила ей, что я совершенно счастлива, чего, как теперь я вспоминаю, совсем не нужно было говорить ей: она сама могла видеть это. Но она говорила мне, что и ей ничего не нужно и что она тоже очень счастлива, и целовала меня. Я верила ей, мне казалось так необходимо и справедливо, чтобы все были счастливы. Но Катя могла тоже думать о сне и даже, притворяясь сердитою, прогоняла меня, бывало, с своей постели и засыпала; а я долго еще перебирала все то, чем я так счастлива. Иногда я вставала и молилась в другой раз, своими словами молилась, чтобы благодарить бога за все то счастье, которое он дал мне.

И в комнатке было тихо; только сонно и ровно дышала Катя, часы тикали подле нее, и я поворачивалась и шептала слова или крестилась и целовала крест на шее. Двери были закрыты, ставешки были в окнах, какая-нибудь муха или комар, колеблясь, жужжали на одном месте. И мне хотелось никогда не выходить из этой комнатки, не хотелось, чтобы приходило утро, не хотелось, чтобы разлетелась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы — живые существа, тут во мраке живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была его мысль, и каждое чувство — его чувство. Я тогда еще не знала, что это любовь, я думала, что это так всегда может быть, что так даром дается это чувство.

### III

Один день, во время уборки хлеба, мы с Катей и Соной после обеда пошли в сад на нашу любимую скамейку — в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлыч уже дня три не был у нас, и в этот день мы ожидали его, тем более что наш приказчик сказал, что он обещал приехать на поле. Часу во втором мы видели, как он верхом проехал на ржаное поле. Катя велела принести персиков и вишен, которые он очень любил, с улыбкой взглянув на меня,



прилегла на скамейку и задремала. Я оторвала кривую плоскую ветку липы с сочными листьями и сочной корой, обмочившею мне руку, и, обмахивая Катю, продолжала читать, беспрестанно отрываясь и глядя на полевою дорожку, по которой он должен был приехать. Соня у корня старой липы строила беседку для кукол. День был жаркий, безветренный, парило, тучи срастались и чернели, и с утра еще собиралась гроза. Я была взволнована, как всегда перед грозой. Но после полудня тучи стали разбираться по краям, солнце выплыло на чистое небо, и только на одном краю погромыхивало, и по тяжелой туче, стоявшей над горизонтом и сливавшейся с пылью на полях, изредка до земли прорезались бледные зигзаги молнии. Ясно было, что на нынешний день разойдется, у нас по крайней мере. По видневшейся местами дорожке за садом, не прерываясь, то медленно тянулись высокие скрипящие воза с снопами, то быстро, навстречу им, постукивали пустые телеги, дрожали ноги и развевались рубахи. Густая пыль не уносилась и не опускалась, а стояла за плетнем между прозрачною листвою деревьев сада. Подальше, на гумне, слышались те же голоса, тот же скрип колес, и те же желтые снопы, медленно продвигавшиеся мимо забора, там летали по воздуху, и на моих глазах росли овальные дома, выделялись их острые крыши, и фигуры мужиков копошились на них. Впереди, на пыльном поле, тоже двигались телеги, и те же виднелись желтые снопы, и так же звуки телег, голосов и песен доносились издали. С одного края все открытее и открытее становилось жнивьё с полосами полынью поросшей межи. Поправее, внизу, по некрасиво спутанному, скошенному полю виднелись яркие одежды вязавших баб, нагибающихся, размахивающих руками, и спутанное поле очищалось, и красивые снопы часто расставлялись по нем. Как будто вдруг на моих глазах из лета сделалась осень. Пыль и зной стояли везде, исключая нашего любимого местечка в саду. Со всех сторон в этой пыли и зное, на горячем солнце, говорил, шумел и двигался трудовой народ.

А Катя так сладко похрапывала под белым батистовым платочком на нашей прохладной скамейке, вишни так сочно-глянцеvито чернели на тарелке, платья наши

были так свежи и чисты, вода в кружке так радужно-светло играла на солнце, и мне так было хорошо! «Что же делать? — думала я. — Чем же я виновата, что я счастлива? Но как поделиться счастьем? как и кому отдать всю себя и все свое счастье?..»

Солнце уже зашло за макушки березовой аллеи, пыль укладывалась в поле, даль виднелась явственнее и светлее в боковом освещении, тучи совсем разошлись, на гумне из-за деревьев видны были три новые крыши скирд, и мужики сошли с них; телеги с громкими криками проскакали, видно, в последний раз; бабы с граблями на плечах и связлами на кушаках с громкою песнью прошли домой, а Сергей Михайлыч все не приезжал, несмотря на то, что я давно видела, как он съехал под гору. Вдруг по аллее, с той стороны, с которой я вовсе не ожидала его, показалась его фигура (он обошел оврагом). С веселым, сияющим лицом и сняв шляпу, он скорыми шагами шел ко мне. Увидав, что Катя спит, он закусил губу, закрыл глаза и пошел на цыпочках; я сейчас заметила, что он находился в том особенном настроении беспричинной веселости, которое я ужасно любила в нем и которое мы называли диким восторгом. Он был точно школьник, вырвавшийся от ученья; все существо его, от лица и до ног, дышало довольством, счастьем и детскою резвостию.

— Ну, здравствуйте, молодая фиалка, как вы? хорошо? — сказал он шепотом, подходя ко мне и пожимая мне руку... — А я отлично, — отвечал он на мой вопрос, — мне нынче тринадцать лет, хочется в лошадки играть и по деревьям лазить.

— В диком восторге? — сказала я, глядя на его смеющиеся глаза и чувствуя, что этот *дикий восторг* сообщался мне.

— Да, — отвечал он, подмигивая одним глазом и удерживая улыбку. — Только за что же Катерину Карловну по носу бить?

Я и не заметила, глядя на него и продолжая махать веткой, как я сбила платок с Кати и гладила ее по лицу листьями. Я засмеялась.

— А она скажет, что не спала, — проговорила я шепотом, будто бы для того, чтобы не разбудить Катю;

но совсем не затем: мне просто приятно было шепотом говорить с ним.

Он зашевелил губами, передразнивая меня, будто я говорила уже так тихо, что ничего нельзя было слышать. Увидев тарелку с вишнями, он как будто украдкой схватил ее, пошел к Соне под липу и сел на ее куклы. Соня рассердилась сначала, но он скоро помирился с ней, устроив игру, в которой он с ней наперегонки должен был съесть вишни.

— Хотите, я велю еще принести, — сказала я, — или пойдете сами.

Он взял тарелку, посадил на нее кукол, и мы втроем пошли к сараю. Соня, смеясь, бежала за нами, дергая его за пальто, чтоб он отдал кукол. Он отдал их и серьезно обратился ко мне.

— Ну, как же вы не фиалка, — сказал он мне все еще тихо, хотя некого уже было бояться разбудить, — как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиалкой. И не душистою фиалкой, а знаете, этою первою, темненькою, которая пахнет снежком талым и травую весеннею.

— Ну, а что, хорошо все идет по хозяйству? — спросила я его, чтобы скрыть радостное смущение, которое произвели во мне его слова.

— Отлично! этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.

— Да, — сказала я, — нынче перед вами я смотрела из сада на работы, и так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо, что...

— Не кокетничайте этим, мой друг, — перебил он меня, вдруг серьезно, но ласково взглянув мне в глаза, — это дело свято. Избави вас бог щеголять этим.

— Да я вам только говорю это.

— Ну да, я знаю. Ну, как же вишни?

Сарай был заперт, и садовников никого не было (он их всех усылал на работы). Соня побежала за ключом, но он, не дожидаясь ее, взлез на угол, поднял сетку и прыгнул на другую сторону.

— Хотите? — послышался мне оттуда его голос. — Давайте тарелку.

— Нет, я сама хочу рвать, я пойду за ключом, — сказала я, — Соня не найдет..

Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую кадку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Я окинула глазами внутренность сарая с его старыми изогнутыми деревьями и с зубчатыми широкими листьями, из-за которых тяжело и прямо висели черные сочные ягоды, и, подсунув голову под сетку, из-под корявого сука старой вишни увидела Сергея Михайлыча. Он, верно, думал, что я ушла, что никто его не видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! «Не может быть», — думала я. «Милая Маша!» — повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забилося у меня так сильно и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услышал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.

— Однако слезайте, ушибетесь, — сказал он. — Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.

«Зачем он притворяется? зачем хочет мне делать больно?» — с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу.

— Нет, я хочу сама рвать, — сказала я и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать меня, как я уж соскочила в сарай на землю.

— Какие вы глупости делаете! — проговорил он, снова краснея и под видом досады стараясь скрыть свое смущение, — ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?

Он был смущен еще больше, чем прежде, но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщило мне, я покраснела и, избегая его взгляда и не зная, что говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы ничего не говорили друг с другом, и оба обращались к Соне. Когда мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала, а все слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный, отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами.

Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.

— Мужчина может сказать, что он любит, а женщина — нет, — говорила она.

— А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит, — сказал он.

— Отчего? — спросила я.

— Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп — любит. Как

будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знаменья какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалют. Мне кажется, — продолжал он, — что люди, которые торжественно произносят эти слова: «Я вас люблю», — или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.

— Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? — спросила Катя.

— Этого я не знаю, — отвечал он, — у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: «Я люблю тебя, Элеонора!» — и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него, — те же самые глаза и нос, и все то же самое.

Я тогда уже в этой шутке чувствовала что-то серьезное, относящееся ко мне, но Катя не позволяла легко обращаться с героями романов.

— Вечно парадоксы, — сказала она. — Ну скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?

— Никогда не говорил и на колено на одно не становился, — отвечал он, смеясь, — и не буду.

«Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит, — думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. — Он любит меня, я это знаю. И все старание его казаться равнодушным не разуверит меня».

Весь этот вечер он мало говорил со мною, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко за него было, зачем он находит нужным еще таиться и притворяться холодным, когда все уже так ясно и когда так легко и просто можно бы было быть так невозможно счастливым. Но меня, как преступление, мучило то, что я спрыгнула к нему в сарай. Мне все казалось, что он перестанет уважать меня за это и сердит на меня.

После чаю я пошла к фортепьяно, и он пошел за мною.

— Сыграйте что-нибудь, давно я вас не слышал, — сказал он, догоняя меня в гостиной.

— Я и хотела... Сергей Михайлыч! — сказала я, вдруг глядя ему прямо в глаза. — Вы не сердитесь на меня?

— За что? — спросил он.

— Что я вас не послушала после обеда, — сказала я, краснея.

Он понял меня, покачал головою и усмехнулся. Взгляд его говорил, что следовало бы побранить, но что он не чувствует в себе силы на это.

— Ничего не было, мы опять друзья, — сказала я, садясь за фортепьяно.

— Еще бы! — сказал он.

В большой высокой зале было только две свечи на фортепьяно, остальное пространство было полутемно. В отворенные окна глядела свежая летняя ночь. Все было тихо, только Катины шаги с перемежечкой поскрипывали в темной гостиной и его лошадь, привязанная под окном, фыркала и била копытом по лопуху. Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было; но везде в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой и чувствовала его присутствие. Каждый взгляд, каждое движение его, которых я не видала, отзывались в моем сердце. Я играла сонату-фантазию Моцарта, которую он привез мне и которую я при нем и для него выучила. Я вовсе не думала о том, что играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, чувствовала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Совершенно невольно, продолжая бессознательно шевелить пальцами, я оглянулась на него. Голова его отделялась на светлевшем фоне ночи. Он сам сидел, облокотившись головою на руки, и пристально смотрел на меня блестящими глазами. Я улыбнулась, увидев этот взгляд, и перестала играть. Он улыбнулся тоже и укоризненно покачал головою на ноты, чтоб я продолжала. Когда я кончила, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой, серебристый свет, падавший на пол. Катя сказала, что ни на что не похоже, как

я остановилась на лучшем месте, и что я дурно играла; но он сказал, что, напротив, я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам, через залу в темную гостиную и опять в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась, мне даже смеяться хотелось без всякой причины, так я была рада чему-то, нынче только, сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю, с которою мы стояли у фортепьяно, и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок; как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и насилу удерживалась от смеха.

— Что с нею сделалось нынче? — говорила ему Катя.

Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что со мною сделалось.

— Посмотрите, что за ночь! — сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытою в сад балконною дверью...

Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, какой уж я никогда не видала после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна террасы наискоски еп гассоигсі<sup>1</sup> лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное все было светло и обито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная, блестя неровным щебнем, уходила в тумане и вдаль. Из-за деревьев виднелась светлая крыша оранжереи, и из-под оврага поднимался растущий туман. Уже несколько оголенные кусты сирени все до сучьев были светлы. Все увлажненные росой цветы можно было отличать один от другого. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома все было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо-раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно

---

<sup>1</sup> в ракурсе (франц.).



остановилась тут, недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улетела куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо.

— Пойдемте ходить, — сказала я.

Катя согласилась, но сказала, чтоб я надела калоши.

— Не надо Катя, — сказала я, — вот Сергей Михайлыч даст мне руку.

Как будто это могло помешать мне промочить ноги. Но тогда это всем нам троем было понятно и ничуть не странно. Он никогда не подавал мне руки, но теперь я сама взяла ее, и он не нашел этого странным. Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух были не те, которые я знала.

Когда я смотрела вперед по аллее, по которой мы шли, мне все казалось, что туда дальше нельзя было идти, что там кончился мир возможного, что все это навсегда должно быть заковано в своей красоте. Но мы подвигались, и волшебная стена красоты раздвигалась, впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья, дорожки, сухие листья. И мы точно ходили по дорожкам, наступали на круги света и тени, и точно сухой лист шуршал под ногою, и свежая ветка задевала меня по лицу. И это точно был он, который, ровно и тихо ступая подле меня, бережно нес мою руку, и это точно была Катя, которая, поскрипывая, шла рядом с нами. И, должно быть, это был месяц на небе, который светил на нас сквозь неподвижные ветви...

Но с каждым шагом сзади нас и спереди снова замыкалась волшебная стена, и я переставала верить в то, что можно еще идти дальше, переставала верить во все, что было.

— Ах! лягушка! — проговорила Катя.

«Кто и зачем это говорит?» — подумала я. Но потом я вспомнила, что это Катя, что она боится лягушек, и я посмотрела под ноги. Маленькая лягушонка прыгнула и замерла передо мной, и от нее маленькая тень виднелась на светлой глине дорожки.

— А вы не боитесь? — сказал он.

Я оглянулась на него. Одной липы в аллее не доставало в том месте, где мы проходили, мне ясно было видно его лицо. Оно было так прекрасно и счастливо...

Он сказал: «Вы не боитесь?» — а я слышала, что он говорил: «Люблю тебя, милая девушка!» — Люблю! люблю! — твердил его взгляд, его рука; и свет, и тень, и воздух, и все твердило то же самое.

Мы обошли весь сад. Катя ходила рядом с нами своими маленькими шажками и тяжело дышала от усталости. Она сказала, что время вернуться, и мне жалко, жалко стало ее, бедняжку. «Зачем она не чувствует того же, что мы? — думала я. — Зачем не все молоды, не все счастливы, как эта ночь и как мы с ним?»

Мы вернулись домой, но он еще долго не уезжал, несмотря на то, что прокричали петухи, что все в доме спали, и лошадь его все чаще и чаще била копытом по лопуху и фыркала под окном. Катя не напоминала нам, что поздно, и мы, разговаривая о самых пустых вещах, просидели, сами не зная того, до третьего часа утра. Уж кричали третьи петухи и заря начала заниматься, когда он уехал. Он простился, как обыкновенно, ничего не сказал особенного; но я знала, что с нынешнего дня он мой и я уже не потеряю его. Как только я призналась себе, что люблю его, я все рассказала и Кате. Она была рада и тронута тем, что я ей рассказала, но бедняжка могла заснуть в эту ночь, а я долго еще, долго ходила по террасе, сходила в сад и, припоминая каждое слово, каждое движение, прошла по тем аллеям, по которым мы прошли с ним. Я не спала всю эту ночь и в первый раз в жизни видела восход солнца и раннее утро. И ни такой ночи, ни такого утра я уже никогда не видала после. «Только зачем он не скажет мне просто, что любит меня? — думала я. — Зачем он выдумывает какие-то трудности, называет себя стариком, когда все так просто и прекрасно? Зачем он теряет золотое время, которое, может быть, уже никогда не возвратится? Пускай он скажет: люблю, словами скажет: люблю; пускай рукой возьмет мою руку, пригнет к ней голову и скажет: люблю. Пускай покраснеет и опустит глаза передо мной, и я тогда все скажу ему. И не скажу, а обниму, прижмусь к нему и заплачу. Но что, ежели

я ошибаюсь и ежели он не любит меня?» — вдруг пришло мне в голову.

Я испугалась своего чувства, — бог знает, куда оно могло повести меня; и его и мое смущение в сарае, когда я спрыгнула к нему, вспомнились мне, и мне стало тяжело, тяжело на сердце. Слезы полились из глаз, я стала молиться. И мне пришла странная, успокоившая меня мысль и надежда. Я решила говеть с нынешнего дня, причаститься в день моего рождения и в этот самый день сделаться его невестою.

Зачем? почему? как это должно случиться? — я ничего не знала, но я с той минуты верила и знала, что это так будет. Уже совсем рассвело, и народ стал подыматься, когда я вернулась в свою комнату.

#### IV

Был успенский пост, и потому никого в доме не удивило мое намерение — говеть в это время.

Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась и не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В продолжение этой недели я всякий день вставала рано и, покуда мне закладывали лошадь, одна, гуляя по саду, перебирала в уме грехи прошлого дня и обдумывала то, что мне нужно было делать нынче, чтобы быть довольно своим днем и не согрешить ни разу. Тогда мне казалось так легко быть совершенно безгрешною. Казалось, стоило только немножко постараться. Подъезжали лошади, я с Катей или с девушкой садилась в линейку, и мы ехали за три версты в церковь. Входя в церковь, я всякий раз вспоминала, что молятся за всех, «со страхом божиим входящих», и старалась именно с этим чувством всходить на две поросшие травой ступени паперти. В церкви бывало в это время не больше человек десяти говевших крестьянок и дворовых; и я с старательным смирением старалась отвечать на их поклоны и сама, что мне казалось подвигом, ходила к свечному ящику брать свечи у старого старосты, солдата, и ста-

вила их. Сквозь царские двери виднелся покров алтаря, вышитый мамашей, над иконостасом стояли два деревянные ангела с звездами, казавшиеся мне такими большими, когда я была маленькая, и голубок с желтым сиянием, тогда занимавший меня. Из-за клироса виднелась измятая купель, в которой столько раз я крестила детей наших дворовых и в которой и меня крестили. Старый священник выходил в ризе, сделанной из покрова гроба моего отца, и служил тем самым голосом, которым, с тех самых пор как помню себя, служилась церковная служба в нашем доме: и крестины Сони, и панихиды отца, и похороны матери. И тот же дребезжащий голос дьячка раздавался на клиросе, и та же старушка, которую я помню всегда в церкви, при каждой службе, согнувшись стояла у стены и плачущими глазами смотрела на икону в клиросе, и прижимала сложенные персты к полинялому платку, и беззубым ртом шептала что-то. И все это уже не любопытно, не по одним воспоминаниям близко мне было, — все это было теперь велико и свято в моих глазах и казалось мне полным глубокого значения. Я вслушивалась в каждое слово читаемой молитвы, чувством старалась отвечать на него и ежели не понимала, то мысленно просила бога просветить меня или придумывала на место нерасслышанной свою молитву. Когда читались молитвы раскаяния, я вспоминала свое прошедшее, и это детское невинное прошедшее казалось мне так черно в сравнении с светлым состоянием моей души, что я плакала и ужасалась над собой; но вместе с тем чувствовала, что все это простится и что ежели бы и еще больше грехов было на мне, то еще и еще слаще бы было для меня раскаяние. Когда священник в конце службы говорил: «Благословение господне на вас», — мне казалось, что я испытывала мгновенно сообщаемое мне физическое чувство благосостояния. Как будто какие-то свет и теплота вдруг входили мне в сердце. Служба кончалась, батюшка выходил ко мне и спрашивал, не нужно ли и когда приехать к нам служить всенощную; но я трогательно благодарила его за то, что он хотел, как я думала, для меня сделать, и говорила, что я сама приду или приеду.

— Сами потрудиться хотите? — говаривал он.

И я не знала, что отвечать, чтобы не согрешить против гордости.

От обедни я всегда отпускала лошадей, ежели была без Кати, возвращалась одна пешком, низко, со смиренным кланяясь всем встречавшимся мне и стараясь найти случай помочь, посоветовать, пожертвовать собой для кого-нибудь, пособить поднять воз, покачать ребенка, дать дорогу и загрязниться. Один раз вечером я слышала, что приказчик, докладывая Кате, сказал, что Семен, мужик, приходил просить тесину на гроб дочери и денег рубль на поминки и что он дал ему. «Разве они так бедны?» — спросила я. «Очень бедны, сударыня, без соли сидят», — отвечал приказчик. Что-то защемило мне в сердце, и вместе с тем я как будто обрадовалась, услышав это. Обманув Катю, что я пойду гулять, я побежала наверх, достала все свои деньги (их было очень мало, но все, что у меня было) и, перекрестившись, пошла одна через террасу и сад на деревню к избе Семена. Она была с края деревни, и я, никем не видимая, подошла к окну, положила на окно деньги и стукнула в него. Кто-то вышел из избы, скрипнул дверью и окликнул меня; я, дрожа и холодея от страха, как преступница, прибежала домой. Катя спросила меня, где я была? что со мною? но я не поняла даже того, что она мне говорила, и не ответила ей. Все так ничтожно и мелко вдруг показалось мне. Я заперлась в своей комнате и долго ходила одна взад и вперед, не в состоянии ничего делать, думать, не в состоянии дать себе отчета в своем чувстве. Я думала и о радости всего семейства, о словах, которыми они назовут того, кто положил деньги, и мне жалко становилось, что я не сама отдала их. Я думала и о том, что бы сказал Сергей Михайлыч, узнав этот поступок, и радовалась тому, что никто никогда не узнает его. И такая радость была во мне, и так дурны казались все и я сама, и так кротко я смотрела на себя и на всех, что мысль о смерти, как мечта о счастье, приходила мне. Я улыбалась, и молилась, и плакала, и всех на свете и себя так страстно, горячо любила в эту минуту. Между службами я читала евангелие, и все понятнее и понятнее мне становилась эта

книга, и трогательнее и проще история этой божественной жизни, и ужаснее и непроницаемее те глубины чувства и мысли, которые я находила в его учении. Но зато как ясно и просто мне казалось все, когда я, вставая от этой книги, опять вглядывалась и вдумывалась в жизнь, окружавшую меня. Казалось, так трудно жить нехорошо и так просто всех любить и быть любимой. Все так добры и кротки были со мной, даже Соня, которой я продолжала давать уроки, была совсем другая, старалась понимать, угождать и не огорчать меня. Какою я была, такими и все были со мною. Перебирая тогда своих врагов, у которых мне надо было просить прощения перед исповедью, я вспомнила вне нашего дома только одну барышню, соседку, над которою я посмеялась год тому назад при гостях и которая за это перестала к нам ездить. Я написала к ней письмо, признавая свою вину и прося ее прощения. Она отвечала мне письмом, в котором сама просила прощения и прощала меня. Я плакала от радости, читая эти простые строки, в которых тогда мне виделось такое глубокое и трогательное чувство. Няня расплакалась, когда я просила ее прощения. «За что они все так добры ко мне? чем я заслужила такую любовь?» — спрашивала я себя. И я невольно вспоминала Сергея Михайлыча и подолгу думала о нем. Я не могла делать иначе и даже не считала это грехом. Но я думала теперь о нем совсем не так, как в ту ночь, когда в первый раз узнала, что люблю его, я думала о нем — как о себе, невольно присоединяя его к каждой мысли о своем будущем. Подавляющее влияние, которое я испытывала в его присутствии, совершенно исчезло в моем воображении. Я чувствовала себя теперь равною ему и, с высоты духовного настроения, в котором находилась, совершенно понимала его. Мне теперь ясно было в нем то, что прежде мне казалось странным. Только теперь я понимала, почему он говорил, что счастье только в том, чтобы жить для другого, и я теперь совершенно была согласна с ним. Мне казалось, что мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы. И мне представлялись не поездки за границу, не свет, не блеск, а совсем другая, тихая семейная жизнь в деревне, с вечным самопожертвованием, с

вечную любовью друг ко другу и с вечным сознанием во всем кроткого и помогающего провидения.

Я причащалась, как и предполагала, в день моего рождения. В груди у меня было такое полное счастье, когда я возвращалась в этот день из церкви, что я боялась жизни, боялась всякого впечатления, всего того, что могло нарушить это счастье. Но только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загредел знакомый кабриолет, и я увидала Сергея Михайлыча. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я чувствовала, что во мне был целый новый мир, которого он не понимал и который был выше его. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения. Он понимал, должно быть, отчего это происходило, и был особенно нежно-кроток и набожно-уважителен со мной. Я подошла было к фортепьяно, но он запер его и спрятал ключ в карман.

— Не портите своего настроения, — сказал он, — у вас теперь в душе такая музыка, которая лучше всякой на свете.

Я благодарна была ему за это, и вместе с тем мне было немного неприятно, что он так слишком легко и ясно понимал все, что тайно для всех должно было быть в моей душе. За обедом он сказал, что приехал поздравить меня и вместе проститься, потому что завтра едет в Москву. Говоря это, он смотрел на Катю; но потом мельком взглянул на меня, и я видела, как он боялся, что заметит волнение на моем лице. Но я не удивилась, не встревожилась, даже не спросила, надолго ли. Я знала, что он это скажет, и знала, что он не уедет. Как я это знала? Я теперь никак не могу объяснить себе; но в этот памятный день мне казалось, что я все знала, что было и что будет. Я была как в счастливом сне, когда все, что ни случится, кажется, что уже было, и все это я давно знаю, и все это еще будет, и я знаю, что это будет.

Он хотел ехать сейчас после обеда, но Катя, уставшая от обедни, ушла полежать, и он должен был подождать, пока она проснется, чтобы проститься с ней. В зале было солнце, мы вышли на террасу. Только что

мы сели, как я совершенно спокойно начала говорить то, что должно было решить участь моей любви. И начала говорить ни раньше, ни позже, а в ту самую минуту, как мы сели, и ничего еще не было сказано, не было еще никакого тона и характера разговора, который бы мог помешать тому, что я хотела сказать. Я сама не понимаю, откуда брались у меня такое спокойствие, решимость и точность в выражениях. Как будто не я, а что-то такое независимо от моей воли говорило во мне. Он сидел против меня, облокотившись на перилы, и, притянув к себе ветку сирени, обрывал с нее листья. Когда я начала говорить, он отпустил ветку и головой оперся на руку. Это могло быть положение человека совершенно спокойного или очень взволнованного.

— Зачем вы едете? — спросила я значительно, с расстановкой и прямо глядя на него.

Он не вдруг ответил.

— Дела! — проговорил он, опуская глаза.

Я поняла, как трудно ему было лгать передо мной и на вопрос, сделанный так искренно.

— Послушайте, — сказала я, — вы знаете, какой день нынче для меня. По многому этот день очень важен. Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие (вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас), я спрашиваю потому, что мне нужно знать. Зачем вы едете?

— Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду, — сказал он. — В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем? и ежели любите меня, не будете больше спрашивать. — Он потер лоб рукою и закрыл ею глаза. — Это мне тяжело... А вам понятно.

Сердце начало сильно биться у меня.

— Я не могу понять, — сказала я, — не могу, а вы скажите мне, ради бога, ради нынешнего дня скажите мне, я все могу спокойно слышать, — сказала я.

Он переменял положение, взглянул на меня и снова притянул ветку.

— Впрочем, — сказал он, помолчав немного и голосом, который напрасно хотел казаться твердым, — хоть



и глупо и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам, — добавил он, морщась как будто от физической боли.

— Ну! — сказала я.

— Представьте себе, что был один господин А, положим, — сказал он, — старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не выдавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям, он полюбил ее, как дочь, и не боялся полюбить иначе.

Он замолчал, но я не прерывала его.

— Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для нее еще игрушка, — продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, — и что ее легко полюбить иначе, и что ей это весело будет. И он ошибся и вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое, как раскаянье, пробирается в его душу, и испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения, и решил уехать прежде, чем расстроятся эти отношения. — Говоря это, он опять, как будто небрежно, стал потирать глаза рукою и закрыл их.

— Отчего ж он боялся полюбить иначе? — чуть слышно сказала я, сдерживая свое волнение, и голос мой был ровен; но ему он, верно, показался шутливым. Он отвечал как будто оскорбленным тоном.

— Вы молоды, — сказал он, — я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной, а то я поверю, и мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал, — прибавил он, — ну, да это все вздор, но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом. Пожалуйста!

— Нет! нет! будем говорить! — сказала я, и слезы задрожали у меня в голосе. — Он любил ее или нет?

Он не отвечал.

— А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком? — проговорила я.

— Да, да, А виноват был, — отвечал он, торопливо перебивая меня, — но все было кончено, и они расстались... друзьями.

— Но это ужасно! и разве нет другого конца, — едва проговорила я и испугалась того, что сказала.

— Да, есть, — сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. — Есть два различные конца. Только, ради бога, не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, — начал он, вставая и улыбаясь болезненной, тяжелою улыбкой, — одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это... А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.

Я вздрогнула и хотела перебить его, сказать, чтоб он не смел говорить за меня, но он, удерживая меня, положил свою руку на мою.

— Поймите, — сказал он дрожащим голосом, — другие говорят, будто она сжалась над ним, вообразила себе, бедняжка, не выдавая людей, что она точно может любить его, и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил, поверил, что вся жизнь его начнется снова, но она сама увидела, что обманула его... и что он обманул ее... Не будем больше говорить про это, — заключил он, видимо не в силах говорить далее, и молча стал ходить против меня.

Он сказал: «Не будем говорить», — а я видела, что он всеми силами души ждал моего слова. Я хотела говорить, но не могла, что-то жало мне в груди. Я взглянула на него, он был бледен, и нижняя губа его дрожала. Мне стало жалко его. Я сделала усилие и вдруг, разорвав силу молчания, сковывавшую меня, заговорила голосом тихим, внутренним, который, я боялась, оборвется каждую секунду.

— А третий конец, — сказала я и остановилась, но он молчал, — а третий конец, что он не любил, а сделал ей больно, больно, и думал, что прав, уехал и еще гордился чем-то. Вам, а не мне, вам шутки, я с первого дня полюбила, полюбила вас, — повторила я, и на этом слове «полюбила» голос мой невольно из тихого, внутреннего перешел в дикий вскрик, испугавший меня самою.

Он бледный стоял против меня, губа его тряслась сильнее и сильнее, и две слезы выступили на щеки.

— Это дурно! — почти прокричала я, чувствуя, что задыхаюсь от злых, невыплаканных слез. — За что? — проговорила я и встала, чтоб уйти от него.

Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях, губы его целовали еще мои дрожавшие руки, и его слезы мочили их.

— Боже мой, ежели бы я знал, — проговорил он.

— За что? За что? — все еще твердила я, а в душе у меня было счастье, навеки ушедшее, невозвратившееся счастье.

Через пять минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче.

## V

Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Правда, Катя хотела было ехать в Москву и покупать и заказывать приданое, и его мать требовала было, чтоб он, прежде чем жениться, обзавелся новою каретой, мебелью и оклеил бы дом новыми обоями, но мы вдвоем настояли на том, чтобы сделать все это после, ежели уже это так необходимо, а венчаться две недели после моего рождения, тихо, без приданого, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Он рассказывал мне, как его мать была недовольна тем, что свадьба должна была сделаться без музыки, без гор сундуков и без переделки заново всего дома, не так, как ее свадьба, стоившая тридцать тысяч; и как она серьезно и тайно от него, перебирая в кладовой сундуки, совещалась с экономкой Марьюшкой о каких-то необходимейших для нашего счастья коврах, гардинах и подносах. С моей стороны Катя делала то же с няней Кузьминишной. И об этом с ней нельзя было говорить шутя. Она твердо была убеждена, что мы, говоря между собой о нашем будущем, только нежничаем, делаем пустяки, как и свойственно людям в таком положении; но что существенное-то наше будущее счастье будет зависеть только от правильной кройки и шитья сорочек и подрубки скатертей и салфеток. Между Покровским и Никольским каждый день по несколько раз сообщались тайные известия о том, что где заготавливалось, и хотя наружно между Катей и его

матерью казались самые нежные отношения, между ними чувствовалась уже несколько враждебная, но тончайшая дипломатия. Татьяна Семеновна, его мать, с которою я теперь познакомилась ближе, была чопорная, строгая хозяйка дома и старого века барыня. Он любил ее не только как сын по долгу, но как человек по чувству, считая ее самою лучшею, самою умною, доброю и любящею женщиной в мире. Татьяна Семеновна всегда была добра к нам и ко мне особенно и рада была, что сын ее женится, но когда я как невеста была у нее, мне показалось, что она хотела дать почувствовать мне, что, как партия для ее сына, я могла бы быть и лучше и что не мешало бы мне всегда помнить это. И я совершенно понимала ее и была согласна с ней.

Эти две последние недели мы виделись каждый день. Он приезжал к обеду и просиживал до полночи. Но, несмотря на то, что он говорил — и я знала, что говорил правду, — что без меня он не живет, си никогда не проводил целого дня со мной и старался продолжать заниматься своими делами. Внешние отношения наши до самой свадьбы оставались те же, как и прежде, мы продолжали говорить друг другу вы, он не целовал даже моей руки и не только не искал, но даже избегал случаев остаться наедине со мною. Как будто он боялся отдаться слишком большой, вредной нежности, которая была в нем. Не знаю, си или я изменились, но теперь я чувствовала себя совершенно равною ему, не находила в нем больше прежде не нравившегося мне притворства простоты и часто с наслаждением видела перед собой вместо внушающего уважения и страх мужчины крсткого и потерянного от счастья ребенка. «Так только-то и было в нем! — часто думала я, — он точно такой же человек, как и я, не больше». Теперь мне казалось, что он весь передо мной и что я вполне узнала его. И все, что я узнавала, было так просто и так согласно со мной. Даже его планы о том, как мы будем жить вместе, были те же мои планы, только яснее и лучше обозначившиеся в его словах.

Погода эти дни была дурная, и большую часть времени мы проводили в комнатах. Самые лучшие

задушевные беседы происходили в углу между фортепьяно и окошком. На черном окне близко отражался огонь свеч, по глянцевитому стеклу изредка ударяли и текли капли. По крыше стучало, в луже шлепала вода под желобом, из окна тянуло сыростью. И как-то еще светлее, теплее и радостнее казалось в нашем углу.

— А знаете, я давно хотел вам сказать одну вещь, — сказал он раз, когда мы поздно одни засиделись в этом углу. — Я, покуда вы играли, все думал об этом.

— Ничего не говорите, я все знаю, — сказала я.

Он улыбнулся.

— Да, правда, не будем говорить.

— Нет, скажите, что? — спросила я.

— А вот что. Помните, когда я вам рассказывал историю про А и Б?

— Еще бы не помнить эту глупую историю. Хорошо, что так кончилось...

— Да, еще бы немного, и все мое счастье погибло бы от меня самого. Вы спасли меня. Но главное, что я все лгал тогда, и мне совестно, я хочу досказать теперь.

— Ах, пожалуйста, не надо.

— Не бойтесь, — сказал он, улыбаясь. — Мне только оправдаться надо. Когда я начал говорить, я хотел рассуждать.

— Зачем рассуждать! — сказала я, — никогда не надо.

— Да, я рассуждал плохо. После всех моих разочарований, ошибок в жизни, когда я нынче приехал в деревню, я так себе сказал решительно, что любовь для меня кончена, что остаются для меня только обязанности доживанья, что я долго не отдавал себе отчета в том, что такое мое чувство к вам и к чему оно может повести меня. Я надеялся и не надеялся, то мне казалось, что вы кокетничаете, то верилось, и сам не знал, что я буду делать. Но после этого вечера, — помните, когда мы ночью ходили по саду, — я испугался, мое теперешнее счастье показалось мне слишком велико и невозможно. Ну, что бы было, ежели бы я позволил

себе надеяться, и напрасно? Но, разумеется, я думал только о себе; потому что я гадкий эгоист.

Он помолчал, глядя на меня.

— Однако ведь и не совсем вздор я говорил тогда. Ведь можно и должно было мне бояться. Я так много беру от вас и так мало могу дать. Вы еще дитя, вы бутон, который еще будет распускаться, вы в первый раз любите, а я...

— Да, скажите мне по правде, — сказала я, но вдруг мне страшно стало за его ответ. — Нет, не надо, — прибавила я.

— Любил ли я прежде? да? — сказал он, тотчас угадав мою мысль. — Это я могу сказать вам. Нет, не любил. Никогда ничего похожего на это чувство... — Но вдруг как будто какое-то тяжелое воспоминание мелькнуло в его воображении. — Нет, и тут мне нужно ваше сердце, чтоб иметь право любить вас, — сказал он грустно. — Так разве не нужно было задуматься, прежде чем сказать, что люблю вас? Что я вам даю? Любовь — правда.

— Разве это мало? — сказала я, глядя ему в глаза.

— Мало, мой друг, для вас мало, — продолжал он. — У вас красота и молодость! Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли; потом труд, — труд, который, кажется, что приносит пользу; потом отдых, природа, книга, музыка, любовь к близкому человеку, — вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут, сверх всего этого, такой друг, как вы, семья, может быть, и все, что только может желать человек.

— Да, — сказала я.

— Для меня, который прожил молодость, — да, но не для вас, — продолжал он. — Вы еще не жили, вы еще в другом, может быть, захотите искать счастья и, может быть, в другом найдете его. Вам кажется теперь, что это счастье, оттого что вы меня любите.

— Нет, я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь, — сказала я. — И вы только говорите то самое, что я думала.

Он улыбнулся.

— Это только вам кажется, мой друг. А вам мало этого. У вас красота и молодость, — повторил он задумчиво.

Но я рассердилась за то, что он не верил мне и как будто попрекал мою красотой и молодостью.

— Так за что же вы любите меня? — сказала я сердито, — за молодость или за меня самую?

— Не знаю, но люблю, — отвечал он, глядя на меня своим внимательным, притягивающим взглядом.

Я ничего не отвечала и невольно смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз, потом мне показалось, что глаза эти во мне, все помутилось, я ничего не видала и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха, которые производил во мне этот взгляд...

Накануне дня, назначенного для свадьбы, перед вечером погода разгулялась. И после дождей, начавшихся летом, прояснился первый холодный и блестящий осенний вечер. Все было мокро, холодно, светло, и в саду в первый раз замечался осенний простор, пестрота и оголенность. На небе было ясно, холодно и бледно. Я пошла спать, счастливая от мысли, что завтра, в день нашей свадьбы, будет хорошая погода.

В этот день я проснулась с солнцем, и мысль, что уже нынче... как будто испугала и удивила меня. Я вышла в сад. Солнце только что взошло и блестело раздробленно сквозь облетевшие желтеющие липы аллеи. Дорожка была устлана шуршавшими листьями. Сморщенные яркие кисти рябины краснелись на ветках с убитыми морозом редкими покоробившимися листьями, георгины сморщились и почернели. Мороз в первый раз серебром лежал на бледной зелени травы и на полсманных лопухах около дома. На ясном, холодном небе не было и не могло быть ни одного облака.

«Неужели нынче? — спрашивала я себя, не веря своему счастью. — Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом, николевском доме с колоннами? Неужели больше не буду ожидать и встречать его и по вечерам и ночам говорить о нем с Катей? Не буду с ним сидеть у фортепьяно в покровской зале? Не буду провожать и бояться за него в темные ночи?» Но я вспоминала, что вчера он сказал, что приезжает в последний раз, и Катя заставляла меня примеривать подвенечное платье и сказала: «К завтраму»; и я верила на мгновение и снова сомневалась. «Неужели с нынешнего же дня буду жить там с свекровью, без Надежи, без старика Григория, без Кати? Не буду целовать на ночь няню и слышать, как она по старой привычке, перекрестив меня, скажет: «Покойной ночи, барышня»? Не буду учить Соню и играть с нею и через стену стучать к ней утром и слышать ее звонкий хохот? Неужели нынче я сделаюсь чужою для себя самой и новая жизнь осуществления моих надежд и желаний открывается передо мною? Неужели навсегда эта новая жизнь?» Я с нетерпением ждала его, мне тяжело было одной с этими мыслями. Он приехал рано, и только с ним я вполне поверила тому, что нынче буду его женою, и мысль эта перестала быть для меня страшною.

Перед обедом мы ходили в нашу церковь служить панихиду по отце.

«Ежели бы он был жив теперь!» — думала я, когда мы возвращались домой, и я молча опиралась на руку человека, бывшего лучшим другом того, о ком я думала. Во время молитвы, припадая головою к холодному камню пола часовни, я так живо воображала моего отца, так верила в то, что его душа понимает меня и благословляет мой выбор, что и теперь мне казалось, что душа его тут, летает над нами и что я чувствую на себе его благословение. И воспоминания, и надежды, и счастье, и печаль сливались во мне в одно торжественное и приятное чувство, к которому шли этот неподвижный свежий воздух, тишина, оголенность полей и бледное небо, с которого на все падали блестящие, но бессильные лучи, пытавшиеся жечь мне щеку. Мне казалось, что тот, с кем я шла, понимал и разделял мое чувство.



Он шел тихо и молча, и в его лице, на которое я взглядывала изредка, выражалась та же важная не то печаль, не то радость, которые были и в природе и в моем сердце.

Вдруг он обернулся ко мне, я видела, что он хотел сказать что-то. «Что, ежели он заговорит не про то, про что я думаю?» — пришло мне в голову. Но он заговорил про отца, даже не называя его.

— А один раз он шутя сказал мне: «Женись на моей Маше!» — сказал он.

— Как бы он был счастлив теперь! — сказала я, крепче прижимая к себе руку, которая несла мою.

— Да, вы еще были дитя, — продолжал он, глядя в мои глаза, — я целовал тогда эти глаза и любил их только за то, что они на него похожи, и не думал, что они будут за себя так дороги мне. Я звал вас Машею тогда.

— Говорите мне «ты», — сказала я.

— Я только что хотел сказать тебе «ты», — проговорил он, — только теперь мне кажется, что ты совсем моя, — и спокойный, счастливый, притягивающий взгляд остановился на мне.

И мы все шли тихо по полевой непроторенной дорожке через стоптанное, сбитое жнивье; и только шаги и голоса наши были нам слышны. С одной стороны через овраг до далекой оголенной рощи тянулось буроватое жнивье, по которому в стороне от нас мужик с сохой беззвучно прокладывал все шире и шире черную полосу. Рассыпанный под горою табун казался близко. С другой стороны и впереди, до сада и нашего дома, видневшегося из-за него, чернело и кое-где полосами уже зеленело озимое оттаявшее поле. На всем блестело нежаркое солнце, на всем лежали длинные волокнистые паутины. Они летали в воздухе вокруг нас и ложились на обсыхающее от мороза жнивье, попадали нам в глаза, на волосы, на платья. Когда мы говорили, голоса наши звучали и останавливались над нами в неподвижном воздухе, как будто мы одни только и были посреди всего мира и одни под этим голубым сводом, на котором, вспыхивая и дрожа, играло нежаркое солнце.

Мне тоже хотелось назвать его ты, но совестно было. — Зачем ты идешь так скоро? — сказала я скороговоркою и почти шепотом и невольно покраснела.

Он пошел тише и еще ласкательнее, еще веселее и счастливее смотрел на меня.

Когда мы вернулись домой, уже там была его мать и гости, без которых мы не могли обойтись, и я до самого того времени, как мы из церкви сели в карету, чтоб ехать в Никольское, не была наедине с ним.

Церковь была почти пуста, я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут, подле себя, его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви — и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. Когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня и вот бог привел и венчать, Катя и его мать поцеловали нас, и послышался голос Григория, зовущего карету, я удивилась и испугалась, что все кончено уже, а ничего необыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мною таинству, не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. «И только-то», — подумала я. Мы вышли на паперть, звук колес густо раздался под сводом церкви, свежим воздухом пахнуло в лицо, он надел шляпу и за руку посадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительна мне показалась уверенность, с которою он это сделал. Катин голос прокричал, чтобы я закрыла голову, колеса застучали по камню, потом по мягкой дороге, и мы поехали. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегающую в холодном блеске месяца. И, не глядя на него, чувствовала его

тут, рядом со мною. «Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много?» — подумала я, и мне все как будто унизительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности, а чувства оскорбления и страха заменили его.

— Я до этой минуты все не верил, что это может быть, — тихо ответил он на мой взгляд.

— Да, но мне страшно почему-то, — сказала я.

— Меня страшно, мой друг? — сказал он, взяв мою руку и опуская к ней голову.

Моя рука безжизненно лежала в его руке, и в сердце становилось больно от холода.

— Да, — прошептала я.

Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку, мне стало жарко, глаза в полутьме искали его взгляда, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот — любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его и что я счастлива его властью надо мною.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### VI

Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда; а между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастья этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования и жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой; было, напротив, одно себялюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он

иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда по делам ездил в город и ходил по хозяйству; но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как все на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой; но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрение; но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее, себялюбивое чувство; но чувство это давало мне счастье и высоко поднимало меня над всем миром. Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире; поэтому я и не могла жить ни для чего другого, как для него, как для того, чтобы быть в его глазах тем, чем он считал меня. А он считал меня первую и прекраснейшую женщиной в мире, одаренною всеми возможными добродетелями; и я старалась быть этою женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире.

Один раз он вошел ко мне в комнату в то время, как я молилась богу. Я оглянулась на него и продолжала молиться. Он сел у стола, чтобы не мешать мне, и раскрыл книгу. Но мне показалось, что он смотрит на меня, и я оглянулась. Он улыбнулся, я рассмеялась и не могла молиться.

— А ты молился уже?— спросила я.

— Да. Да ты продолжай, я уйду.

— Да ты молишься, надеюсь?

Он, не отвечая, хотел уйти, но я остановила его.

— Душа моя, пожалуйста, для меня, прочти со мною молитвы.

Он стал рядом со мною и, неловко опустив руки, с серьезным лицом, запинаясь, стал читать. Изредка он оборачивался ко мне, искал одобрения и помощи на моем лице.

Когда он кончил, я засмеялась и обняла его.

— Все ты, все ты! Точно мне опять десять лет становится, — сказал он, краснея и целуя мои руки.

Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений. Ото всего пахло хорошими, честными семейными воспоминаниями, которые вдруг, как только я вошла в этот дом, сделались как будто и моими воспоминаниями. Убранство и порядок дома велись Татьяною Семеновной по-старинному. Нельзя сказать, чтобы все было изящно и красиво; но от прислуги до мебели и кушаньев всего было много, все было опрятно, прочно, аккуратно и внушало уважение. В гостиной симметрично стояла мебель, висели портреты, и на полу расстилались домашние ковры и полосухи. В диванной находились старый рояль, шифоньерки двух различных фасонов, диваны и столики с латуњью и инкрустациями. В моем кабинете, убранном старанием Татьяны Семеновны, стояла самая лучшая мебель различных веков и фасонов и, между прочим, старое трюмо, на которое я сначала никак не могла смотреть без застенчивости, но которое впоследствии, как старый друг, сделалось мне дорого. Татьяны Семеновны не слышно было, но все в доме шло как заведенные часы, хотя людей было много лишних. Но все эти люди, носившие мягкие без каблуков сапоги (Татьяна Семеновна считала скрип подошв и топот каблуков самую неприятную вещь на свете), все эти люди казались горды своим званием, трепетали перед старою барыней, на нас с мужем смотрели с покровительственной лаской и, казалось, с особенным удовольствием делали свое дело. Каждую субботу регулярно в доме мылись полы и выбивались ковры, каждое первое число служились молебны с водосвятием, каждое тезоименитство Татьяны Семеновны, ее сына (и мое — в первый раз в эту осень) задавались пиры на весь околоток. И все это неизменно делалось еще с тех пор, как помнила себя Татьяна Семеновна. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами, и занимался много. Он вставал даже и зимою очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. Он возвращался обыкновенно

к чаю, который мы пили одни, и почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли *диким восторгом*. Часто я требовала, чтоб он рассказал мне, что делал утром, и он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху; иногда я требовала серьезного рассказа, и он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала, только радовалась, что вижу его и слышу его голос.

— Ну что же я сказал? повтори, — спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мне рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не всё равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Татьяна Семеновна не выходила до обеда, пила чай одна и только через послов здоровалась с нами. В нашем особом, сумасбродно счастливом мирке так странно звучал голос из ее другого, степенного, порядочного уголка, что часто я не выдерживала и только хохотала в ответ горничной, которая, сложив руку на руку, мерно докладывала, что Татьяна Семеновна приказали узнать, как почивали после вчерашнего гулянья, а про себя приказали доложить, что у них всю ночь бочок болел и глупая собака на деревне лаяла, мешала почивать. «А еще приказали спросить, как понравилось нынешнее печенье, и просили заметить, что не Тарас нынче пек, а для пробы, в первый раз, Николаша, и очень, дескать, недурно, крендельки особенно, а сухари пережарил». До обеда мы были мало вместе. Я играла, читала одна, он писал, уходил еще; но к обеду, в четыре часа, мы сходились в гостиной, мамаша выплывала из своей комнаты, и являлись бедные дворянки, странницы, которых всегда человека два-три жило в доме. Регулярно каждый день муж, по старой привычке, подавал к обеду руку матери; но она требовала, чтоб он подавал мне другую, и регулярно каждый день мы теснились и путались в дверях. За обедом председательствовала матушка же, и разговор велся прилично-рассудительный и несколько торжественный. Наши простые слова с мужем приятно разрушали

торжественность этих обеденных заседаний. Между сыном и матерью иногда завязывались споры и насмешки друг над другом; я особенно любила эти споры и насмешки, потому что в них-то сильнее всего выражалась нежная и твердая любовь, которая связывала их. После обеда татап садилась в гостиную на большое кресло и растирала табак или разрезывала листы новополученных книг, а мы читали вслух или уходили в диванную к клавикордам. Мы много вместе читали это время, но музыка была нашим любимейшим и лучшим наслаждением, всякий раз вызывая новые струны в наших сердцах и как будто снова открывая нам друг друга. Когда я играла его любимые вещи, он садился на дальний диван, где мне почти не видно было его, и из стыдливости чувства старался скрывать впечатление, которое производила на него музыка; но часто, когда он не ожидал этого, я вставала от фортепьян, подходила к нему и старалась застать на его лице следы волнения, неестественный блеск и влажность в глазах, которые он напрасно старался скрыть от меня. Мамаше часто хотелось посмотреть на нас в диванной, но, верно, она боялась стеснить нас, и иногда, будто не глядя на нас, она проходила через диванную с мнимосерьезным и равнодушным лицом; но я знала, что ей незачем было ходить к себе и так скоро возвращаться. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание при зеркале самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне все казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать: «Петру Ивановичу, Марье Миничне», — спрашивать: «Сладко ли?» — и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям. «Славно, славно, — часто приговаривал муж, — точно большая», — и это еще больше смущало меня.

После чая татап раскладывала пасьянс или слушала гаданье Марьи Миничны; потом целовала и крестила нас обоих, и мы уходили к себе. Большею частью, однако, мы просиживали вдвоем за полночь, и это было самое лучшее и приятное время. Он рассказывал мне

про свое прошедшее, мы делали планы, философствовали иногда и старались говорить всё потихоньку, чтобы нас не услышали наверху и не донесли бы Татьяна Семеновне, которая требовала, чтобы мы ложились рано. Иногда мы, проголодавшись, потихоньку шли в буфет, доставали холодный ужин через протекцию Никиты и съедали его при одной свече в моем кабинете. Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только она, но люди, старые девушки, мебель, картины внушали мне уважение, некоторый страх и сознание того, что мы с ним здесь немножко не на своем месте и что нам надо жить здесь очень осторожно и внимательно. Как я вспоминаю теперь, то вижу, что многое — и этот связывающий неизменный порядок и эта бездна праздных и любопытных людей в нашем доме — было неудобно и тяжело; но тогда самая эта стесненность еще более оживляла нашу любовь. Не только я, но и он не показывал вида, что ему что-нибудь не нравится. Напротив, он даже как будто прятался сам от того, что было дурно. Маменькин лакей, Дмитрий Сидоров, большой охотник до трубки, регулярно каждый день после обеда, когда мы бывали в диванной, ходил в мужнин кабинет брать его табак из ящика; и надо было видеть, с каким веселым страхом Сергей Михайлыч на цыпочках подходил ко мне и, грозя пальцем и подмигивая, показывал на Дмитрия Сидоровича, который никак не предполагал, что его видят. И когда Дмитрий Сидоров уходил, не заметив нас, от радости, что все кончилось благополучно, как и при всяком другом случае, муж говорил, что я прелесть, и целовал меня. Иногда это спокойствие, всепрощение и как будто равнодушие ко всему не нравилось мне, — я не замечала того, что во мне было то же самое, и считала это слабостью. «Точно ребенок, который не смеет показать свою волю!» — думала я.

— Ах, мой друг, — отвечал он мне, когда я раз сказала ему, что меня удивляет его слабость, — разве можно быть чем-нибудь недовольну, когда так счастлив, как я? Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом я давно убедился; и нет того положения, в котором



бы нельзя было быть счастливым. А нам так хорошо! Я не могу сердиться; для меня теперь нет дурного, есть только жалкое и забавное. А главное — *le mieux est l'ennemi du bien*<sup>1</sup>. Поверишь ли, когда я слышу колокольчик, письмо получаю, просто когда проснусь — мне страшно становится. Страшно, что жить надо, что изменится что-нибудь; а лучше теперешнего быть не может.

Я верила, но не понимала его. Мне было хорошо, но казалось, что все это так, а не иначе должно быть и всегда со всеми бывает, а что есть там, где-то, еще другое, хотя не большее, но другое счастье.

Так прошло два месяца, пришла зима с своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому. Он начал заниматься делами без меня больше, чем прежде, и опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, чем прежде, и не меньше, чем прежде, была счастлива его любовью; но любовь моя остановилась и не росла больше, а кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне мало было любить после того, как я испытала счастье полюбить его. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски, которую я, как что-то дурное, старалась скрывать от него, и порывы неистовой нежности и веселости, пугавшие его. Он еще прежде меня заметил мое состояние и предложил ехать в город; но я просила его не ездить и не изменять нашего образа жизни, не нарушать нашего счастья. И точно, я была счастлива; но меня мучило то, что счастье это не стоило мне никакого труда, никакой жертвы, когда силы

---

<sup>1</sup> Лучшее — враг хорошего (франц.).

труда и жертвы томили меня. Я любила его и видела, что я все для него; но мне хотелось, чтобы видели все нашу любовь, чтобы мешали мне любить, и я все-таки любила бы его. Мой ум и даже чувство были заняты, но было другое чувство — молодости, потребности движения, не находившее удовлетворения в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор, вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут, передо мной, в подавлении этого чувства. Мысль, что я могу спастись от тоски, только переехав в город, невольно приходила мне в голову; и вместе с тем оторвать его от всего, что он любил, для себя — мне было совестно и жалко. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы всё были одни и одни, и всё те же были мы друг перед другом; а там где-то, в блеске, в шуме, волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходящем существовании. Хуже всего для меня было то, что я чувствовала, как с каждым днем привычки жизни заковывали нашу жизнь в одну определенную форму, как чувство наше становилось не свободно, а подчинялось ровному, бесстрастному течению времени. Утром мы бывали веселы, в обед почтительны, вечером нежны. «Добро!.. — говорила я себе. — Это хорошо делать добро и жить честно, как он говорит; но это мы успеем еще, а есть что-то, на что у меня только теперь есть силы». Мне не того нужно было, мне нужна была борьба; мне нужно было, чтобы чувство руководило нами в жизни, а не жизнь руководила чувством. Мне хотелось подойти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла, — и чтоб он, бледнея на краю пропасти, взял меня в свои сильные руки, подержал бы над ней, так что у меня бы в сердце захолонуло, и унес бы куда хочет.

Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного; он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила

это и спросила: что с ним? Но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и, по нерасположению к мужу, требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы все было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мною. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мною оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала и велела попросить к чаю Марью Миничну, которая гостила у нас. После чаю, который я кончила особенно скоро, я увела Марью Миничну в диванную и стала громко говорить с нею о каком-то вздоре, который для меня был вовсе не занимателен. Он ходил по комнате, изредка взглядывая на нас. Эти взгляды почему-то теперь так действовали на меня, что мне все больше и больше хотелось говорить и даже смеяться; мне казалось смешно все, что я сама говорила, и все, что говорила Марья Минична. Ничего не сказав мне, он ушел совсем в свой кабинет и затворил за собою дверь. Как только его не слышно стало, вся моя веселость вдруг исчезла, так что Марья Минична удивилась и стала спрашивать, что со мною. Я, не отвечая ей, села на диван, и мне захотелось плакать. «И что он это передумывает? — думала я. — Какой-нибудь вздор, который ему кажется важен, а попробуй сказать мне, я покажу ему, что все пустяки. Нет, ему нужно думать, что я не пойму, нужно унижать меня своим величавым спокойствием и всегда быть правым со мною. Зато и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться, — думала я, — а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня. Я хочу идти вперед и с каждым днем, с каждым часом хочу нового, а он хочет остановиться и меня остановить с собой. А как бы ему легко было! Для этого не нужно ему везти меня в город, для этого нужно только быть таким, как я, не ломать себя, не удерживаться, а жить просто. Это самое он советует мне, а сам он не прост. Вот что!»

Я чувствовала, что слезы подступают мне к сердцу и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздра-

жения и пошла к нему. Он сидел в кабинете и писал. Услышав мои шаги, он оглянулся на мгновение равнодушно, спокойно и продолжал писать. Этот взгляд мне не понравился; вместо того чтобы подойти к нему, я стала к столу, у которого он писал, и, раскрыв книгу, стала смотреть в нее. Он еще раз оторвался и поглядел на меня.

— Маша! ты не в духе? — сказал он.

Я ответила холодным взглядом, который говорил: «Нечего спрашивать! что за любезности?» Он покачал головой и робко, нежно улыбнулся, но в первый раз еще моя улыбка не ответила на его улыбку.

— Что у тебя было нынче? — спросила я, — отчего ты не сказал мне?

— Пустяки! маленькая неприятность, — отвечал он. — Однако теперь я могу рассказать тебе. Два мужика отправились в город...

Но я не дала ему досказать.

— Отчего ты не рассказал мне тогда еще, когда за чаем я спрашивала?

— Я бы тебе сказал глупость, я был сердит тогда.

— Тогда-то мне и нужно было.

— Зачем?

— Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?

— Как думаю? — сказал он, бросая перо. — Я думаю, что без тебя я жить не могу. Во всем, во всем не только ты мне помогаешь, но ты все делаешь. Вот хватилась! — засмеялся он. — Тобой я живу только. Мне кажется все хорошо только оттого, что ты тут, что тебя надо...

— Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокаивать, — сказала я таким тоном, что он удивленно, как будто в первый раз что увидел, посмотрел на меня. — Я не хочу спокойствия, довольно его в тебе, очень довольно, — прибавила я.

— Ну, вот видишь ли, в чем дело, — начал он топорливо, перебивая меня, видимо боясь дать мне все выговорить, — как бы ты рассудила его?

— Теперь не хочу, — отвечала я. Хотя мне и хотелось слушать его, но мне так приятно было разрушить

его спокойствие. — Я не хочу играть в жизнь, я хочу жить, — сказала я, — так же, как и ты.

На лице его, на котором все так быстро и живо отразилось, выразилась боль и усиленное внимание.

— Я хочу жить с тобой ровно, с тобой...

Но я не могла договорить: такая грусть, глубокая грусть выразилась на его лице. Он помолчал немного.

— Да чем же неровно ты живешь со мной? — сказал он. — Тем, что я, а не ты, вожусь с исправником и пьяными мужиками...

— Да не в одном этом, — сказала я.

— Ради бога, пойми меня, мой друг, — продолжал он, — я знаю, что от тревог нам бывает всегда больно, я жил и узнал это. Я тебя люблю и, следовательно, не могу не желать избавить тебя от тревог. В этом моя жизнь, в любви к тебе: стало быть, и мне не мешай жить.

— Ты всегда прав! — сказала я, не глядя на него.

Мне было досадно, что опять у него в душе все ясно и покойно, когда во мне была досада и чувство, похожее на раскаяние.

— Маша! Что с тобой? — сказал он. — Речь не о том, я ли прав, или ты права, а совсем о другом: что у тебя против меня? Не вдруг говори, подумай и скажи мне все, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты, верно, права, но дай мне понять, в чем я виноват.

Но как я могла сказать ему мою душу? То, что он так сразу понял меня, что опять я была ребенок перед ним, что ничего я не могла сделать, чего бы он не понимал и не предвидел, еще больше взволновало меня.

— Ничего я не имею против тебя, — сказала я. — Просто мне скучно и хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав!

Я сказала это и взглянула на него. Я достигла своей цели, спокойствие его исчезло, испуг и боль были на его лице.

— Маша, — заговорил он тихим, взволнованным голосом. — Это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?

Но я перебила его.

— Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав, — сказала я холодно, как будто не я, а какой-то злой дух говорил во мне.

— Если бы ты знала, что ты делаешь! — сказал он дрожащим голосом.

Я заплакала, и мне стало легче. Он сидел подле меня и молчал. Мне было и жалко его, и совестно за себя, и досадно за то, что я сделала. Я не глядела на него. Мне казалось, что он должен или строго, или недоумевающе смотреть на меня в эту минуту. Я оглянулась: кроткий, нежный взгляд, как бы просящий прощения, был устремлен на меня. Я взяла его за руку и сказала:

— Прости меня! Я сама не знаю, что я говорила.

— Да; но я знаю, что ты говорила, и ты правду говорила.

— Что? — спросила я.

— Что нам надо в Петербург ехать, — сказал он. — Нам тут теперь делать нечего.

— Как хочешь, — сказала я.

Он обнял меня и поцеловал.

— Ты прости меня, — сказал он. — Я виноват перед тобою.

В этот вечер я долго играла ему, а он ходил по комнате и шептал что-то. Он имел привычку шептать, и я часто спрашивала у него, что он шепчет, и он всегда, подумав, отвечал мне именно то, что он шептал: большею частью стихи и иногда ужасный вздор, но такой вздор, по которому я знала настроение его души.

— Что ты нынче шепчешь? — спросила я.

Он остановился, подумал и, улыбнувшись, отвечал два стиха Лермонтова:

...А он, безумный, просит бури,  
Как будто в бурях есть покой!

«Нет, он больше, чем человек; он все знает! — подумала я, — как не любить его!»

Я встала, взяла его за руку и вместе с ним начала ходить, стараясь попадать ногу в ногу.

— Да? — спросил он улыбаясь, глядя на меня.

— Да, — сказала я шепотом; и какое-то веселое расположение духа охватило нас обоих, глаза наши смеялись, и мы шаги делали все больше и больше, и все больше и больше становились на цыпочки. И тем же шагом, к великому негодованию Григория и удивлению мамыши, которая раскладывала пасьянс в гостиной, отправились через все комнаты в столовую, а там остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

Через две недели, перед праздником, мы были в Петербурге.

## VII

Наша поездка в Петербург, неделя в Москве, его, мои родные, устройство на новой квартире, дорога, новые города, лица — все это прошло как сон. Все это было так разнообразно, ново, весело, все это так тепло и ярко освещено было его присутствием, его любовью, что тихое деревенское житье показалось мне чем-то давнишним и ничтожным. К великому удивлению моему, вместо светской гордости и холодности, которую я ожидала найти в людях, все встречали меня так неподдельно-ласково и радостно (не только родные, но и незнакомые), что, казалось, они все только обо мне и думали, только меня ожидали, чтоб им самим было хорошо. Тоже неожиданно для меня, и в кругу светском и казавшемся мне самым лучшим; у мужа открылось много знакомых, о которых он никогда не говорил мне; и часто мне странно и неприятно было слышать от него строгие суждения о некоторых из этих людей, казавшихся мне такими добрыми. Я не могла понять, зачем он так сухо обращался с ними и старался избегать многих знакомств, казавшихся мне лестными. Мне казалось, чем больше знаешь добрых людей, тем лучше, а все были добрые.

— Вот видишь ли, как мы устроимся, — говорил он перед отъездом из деревни, — мы здесь маленькие Крезы, а там мы будем очень небогаты, а потому нам надо жить в городе только до святой и не ездить в свет, иначе запутаемся; да и для тебя я не хотел бы...

— Зачем свет? — отвечала я, — только посмотрим театры, родных, послушаем оперу и хорошую музыку и еще раньше святой вернемся в деревню.

Но как только мы приехали в Петербург, планы эти были забыты. Я очутилась вдруг в таком новом, счастливом мире, так много радостей охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отрекаюсь от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. «То было все так, шутки; еще не начиналось; а вот она, настоящая жизнь! Да еще что будет?» — думала я. Беспкойство и начало тоски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня? Да я и не могла сомневаться в его любви, всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любит меня. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренне дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: «Ай да девочка! славно! не робей. Право, хорошо!» И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. «Вы не узнаете Маши, — писал он, — и я сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, афальность, даже светский ум и любезность. И все это просто, мило, добродушно. Все от нее в восторге, да я и сам не налюбуюсь на нее, и ежели бы можно было, полюбил бы еще больше».

«А! так вот я какая!» — подумала я. И так мне весело и хорошо стало, показалось даже, что я еще больше люблю его. Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке, тут тетушка без ума от меня, тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге, та уверяет меня,



что мне стоит захотеть, чтобы быть самою *изысканною* женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Д., немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову. Когда в первый раз кузина пригласила меня ехать на бал и просила об этом мужа, он обратился ко мне и, чуть заметно, хитро улыбаясь, спросил: хочу ли я ехать? Я кивнула головою в знак согласия и почувствовала, что покраснела.

— Точно преступница признается, чего ей хочется, — сказал он, добродушно смеясь.

— Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет, да и ты не любишь, — отвечала я, улыбаясь и умоляющим взглядом глядя на него.

— Ежели очень хочется, то поедем, — сказал он.

— Право, лучше не надо.

— Хочется? очень? — снова спросил он.

Я не отвечала.

— Свет еще небольшое горе, — продолжал он, — а светские неосуществленные желания — это и дурно и некрасиво. Непременно надо ехать и поедем, — решительно заключил он.

— Правду тебе сказать, — сказала я, — мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала.

Мы поехали, и удовольствие, испытанное мною, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого все движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Все, начиная от парикмахера и горничной и до танцоров и стариков, проходивших через залу, казалось, говорили мне или давали чувствовать, что они любят меня. Общее суждение, составившееся обо мне на этом бале и переданное мне кузиной, состояло в том, что я совсем непохожа на других женщин, что во мне есть что-то особенное, деревенское, простое и прелестное. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на два, на три бала, «и с тем, чтобы хорошенько насытиться ими», прибавила я, покрывив душою.

Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам и, казалось, совершенно забыв или отрехшись от того, что говорил прежде.

Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того; ежели я и замечала иногда его внимательно-серьезный взгляд, вопросительно устремленный на меня, я не понимала его значения. Я так была отуманена этою, внезапно возбужденною, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствий и новизны, которым я дышала здесь в первый раз, так вдруг исчезло здесь его, подавлявшее меня, моральное влияние, так приятно мне было в этом мире не только сравняться с ним, но стать выше его, и за то любить его еще больше и самостоятельнее, чем прежде, что я не могла понять, что неприятного он мог видеть для меня в светской жизни. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня, а он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. «Постой! — часто думала я, отыскивая глазами в конце залы его незамеченную, иногда скучающую фигуру, — постой! — думала я, — приедем домой, и ты поймешь и увидишь, для кого я старалась быть хороша и блестяща и что я люблю из всего того, что окружает меня нынешний вечер». Мне самой искренно казалось, что успехи мои радовали меня только для него, только для того, чтобы быть в состоянии жертвовать ему ими. Одно, чем могла быть вредна для меня светская жизнь, думала я, была возможность увлечения одним из людей, встречаемых мною в свете, и ревность моего мужа; но он так верил в меня, казался так спокоен и равнодушен, и все эти молодые люди казались мне так ничтожны в сравнении с ним, что и единственная, по моим понятиям, опасность света не казалась страшна мне. Но, несмотря на то, внимание многих людей в свете доставляло мне удовольствие, льстило самолюбию, заставляло думать, что есть некоторая

заслуга в моей любви к мужу, и делало мое обращение с ним самоувереннее и как будто небрежнее.

— А я видела, как ты что-то очень оживленно разговаривал с Н. Н.,— однажды, возвращаясь с бала, сказала я, грозя ему пальцем и называя одну из известных дам Петербурга, с которою он действительно говорил в этот вечер. Я сказала это, чтобы расшевелить его; он был особенно молчалив и скучен.

— Ах, зачем так говорить? И говоришь ты, Маша! — пропустил он сквозь зубы и морщась, как будто от физической боли. — Как это нейдет тебе и мне! Оставьте это другим; эти ложные отношения могут испортить наши настоящие, а я еще надеюсь, что настоящие вернутся.

Мне стало стыдно, и я замолчала.

— Вернутся, Маша? Как тебе кажется? — спросил он.

— Они никогда не портились и не испортились, — сказала я, и тогда мне точно так казалось.

— Дай-то бог, — проговорил он, — а то пора бы нам в деревню.

Но это только один раз сказал он мне, остальное же время мне казалось, что ему было так же хорошо, как и мне, а мне было так радостно и весело. Если же ему и скучно иногда, — утешала я себя, — то и я поскучала для него в деревне; если же и изменились несколько наши отношения, то все это снова вернется, как только мы летом останемся одни с Татьяной Семеновной в нашем николевском доме.

Так незаметно для меня прошла зима, и мы, против наших планов, даже святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, все было уложено, и муж, делавший уже покупки подарков, вещей, цветов для деревенской жизни, был в особенно нежном и веселом расположении духа, кузина неожиданно приехала к нам и стала просить остаться до субботы, с тем чтоб ехать на раут к графине Р. Она говорила, что графиня Р. очень звала меня, что бывший тогда в Петербурге принц М. еще с прошлого бала желал познакомиться со мной, только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина

в России. Весь город должен был быть там, и, одним словом, ни на что бы не было похоже, ежели я бы не поехала.

Муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то.

— Так что ж, едете, Мари? — сказала кузина.

— Мы послезавтра хотели ехать в деревню, — не-решительно отвечала я, взглянув на мужа. Глаза наши встретились, он торопливо отвернулся.

— Я уговорю его остаться, — сказала кузина, — и мы едем в субботу кружить головы. Да?

— Это бы расстроило наши планы, а мы уложились, — отвечала я, начиная сдаваться.

— Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу, — с другого конца комнаты сказал муж раздраженно-сдержанным тоном, которого я еще не слыхала от него.

— Ах! он ревнует, вот в первый раз вижу, — засмеялась кузина. — Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас я уговариваю ее. Как графиня Р. просила ее приехать!

— Это от нее зависит, — холодно проговорил муж и вышел.

Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно; это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу. Он задумчиво ходил взад и вперед и не видал и не слышал, как я на цыпочках вошла в комнату.

«Ему уж представляется милый никольский дом, — думала я, глядя на него, — и утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. Нет! — решила я сама с собой, — все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку». Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко-задумчивое выражение своего лица. Опять пронизательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтоб я видела его простым

человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной.

— Что ты, мой друг? — спросил он, небрежно и спокойно оборачиваясь ко мне.

Я не отвечала. Мне было досадно, что он прячется от меня, не хочет оставаться тем, каким я любила его.

— Ты хочешь ехать в субботу на раут? — спросил он.

— Хотела, — отвечала я, — но тебе это не нравится. Да и все уложено, — прибавила я.

Никогда он так холодно не смотрел на меня, никогда так холодно не говорил со мной.

— Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, — проговорил он, — поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.

Как и всегда, когда он бывал взволнован, он неровно стал ходить по комнате и не глядел на меня.

— Я решительно тебя не понимаю, — сказала я, стоя на месте и глазами следя за ним, — ты согласишься, что ты всегда так спокоен (он никогда не говорил этого). Отчего ты так странно говоришь со мной? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтоб я ехала.

— Ну что ж! Ты *жертвуешь* (он особенно ударил на это слово), и я жертвую, чего же лучше. Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастья?

В первый раз еще я слышала от него такие ожесточенно-насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня, и ожесточение не испугало меня, а сообщило мне. Он ли, всегда боявшийся фразы в наших отношениях, всегда искренний и простой, говорил это? И за что? За то, что точно я хотела пожертвовать ему удовольствием, в котором не могла видеть ничего дурного, и за то, что за минуту перед этим я так понимала и любила его. Роли наши переменялись, он — избегал прямых и простых слов, а я искала их.

— Ты очень переменялся, — сказала я, вздохнув. — Чем я провинилась перед тобой? Не раут, а что-то другое, старое есть у тебя на сердце против меня. Зачем неискренность? Не сам ли ты так боялся ее прежде. Говори прямо, что ты имеешь против меня? — «Что-то он

скажет», — думала я, с самодовольством вспоминая, что нечем ему было упрекнуть меня за всю эту зиму.

Я вышла на середину комнаты, так что он должен был близко пройти мимо меня, и смотрела на него. «Он подойдет, обнимет меня, и все будет кончено», — пришло мне в голову, и даже жалко стало, что не придется доказать ему, как он не прав. Но он остановился на конце комнаты и поглядел на меня.

— Ты все не понимаешь? — сказал он.

— Нет.

— Ну так я скажу тебе. Мне мерзко, в первый раз мерзко, то, что я чувствую и что не могу не чувствовать. — Он остановился, видимо испугавшись грубого звука своего голоса.

— Да что ж? — с слезами негодования в глазах спросила я.

— Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькою и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства; напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты *жертвуешь*, то есть «показаться его высочеству для меня большое счастье, но я *жертвую* им».

Чем дальше он говорил, тем больше разгорался от звуков собственного голоса, и голос этот звучал ядовито, жестко и грубо. Я никогда не видала и не ожидала видеть его таким; кровь прилила мне к сердцу, я боялась, но вместе с тем чувство незаслуженного стыда и оскорбленного самолюбия волновало меня, и мне хотелось отомстить ему.

— Я давно ожидала этого, — сказала я, — говори, говори.

— Не знаю, чего ты ожидала, — продолжал он, — я мог ожидать всего худшего, видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши глупого общества; и дождался... Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда; больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности, моей ревности, к кому же? к человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты, как

нарочно, хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне, чем же?.. Стыдно за тебя, за твое унижение стыдно!.. Жертва! — повторил он.

«А! так вот она власть мужа, — подумала я. — Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Вот в чем права мужа, но я не подчинюсь им».

— Нет, я ничем не жертвую тебе, — проговорила я, чувствуя, как неестественно расширяются мои ноздри и кровь оставляет лицо. — Я поеду в субботу на раут, и непременно поеду.

— И дай бог тебе много удовольствия, только между нами все кончено! — прокричал он в порыве уже несдержанного бешенства. — Но больше уже ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что... — снова начал он, но губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал.

Я боялась и ненавидела его в эту минуту. Я хотела сказать ему многое и отомстить за все оскорбления; но ежели бы я открыла рот, я бы заплакала и уронила бы себя перед ним. Я молча вышла из комнаты. Но только что я перестала слышать его шаги, как вдруг ужаснулась перед тем, что мы сделали. Мне стало страшно, что точно навеки разорвется эта связь, составлявшая все мое счастье, и я хотела вернуться. «Но достаточно ли он успокоился, чтобы понять меня, когда я молча протяну ему руку и посмотрю на него? — подумала я. — Поймет ли он мое великодушие? Что, ежели он назовет притворством мое горе? Или с сознанием правоты и с гордым спокойствием примет мое раскаяние и простит меня? И за что, за что он, которого я так любила, так жестоко оскорбил меня?..»

Я пошла не к нему, а в свою комнату, где долго сидела одна и плакала, с ужасом вспоминая каждое слово бывшего между нами разговора, заменяя эти слова другими, прибавляя другие, добрые слова и снова с ужасом и чувством оскорбления вспоминая то, что было. Когда я вечером вышла к чаю и при С., который был у нас, встретила с мужем, я почувствовала, что с нынешнего

дня целая бездна открылась между нами. С. спросил меня, когда мы едем. Я не успела ответить.

— Во вторник, — отвечал муж, — мы еще едем на раут к графине Р. Ведь ты едешь? — обратился он ко мне.

Я испугалась звука этого простого голоса и робко оглянулась на мужа. Глаза его смотрели прямо на меня, взгляд их был зол и насмешлив, голос был ровен и холоден.

— Да, — отвечала я.

Вечером, когда мы остались одни, он подошел ко мне и протянул руку.

— Забудь, пожалуйста, что я наговорил тебе, — сказал он.

Я взяла его руку, дрожащая улыбка была у меня на лице, и слезы готовы были потечь из глаз, но он отнял руку и, как будто боясь чувствительной сцены, сел на кресло довольно далеко от меня. «Неужели он все считает себя правым?» — подумала я, и готовое объяснение и просьба не ехать на раут остановились на языке.

— Надо написать матушке, что мы отложили отъезд, — сказал он, — а то она будет беспокоиться.

— А когда ты думаешь ехать? — спросила я.

— Во вторник, после раута, — отвечал он.

— Надеюсь, что это не для меня, — сказала я, глядя ему в глаза, но глаза только смотрели, а ничего не говорили мне, как будто чем-то заволочены они были от меня. Лицо его вдруг мне показалось старо и неприятно.

Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие, дружелюбные отношения; но отношения эти были совсем другие, чем прежде.

На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я болезненно смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был недолго, ему негде было сесть подле



меня, и он, верно, почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о прошлом бале, о том, где я живу лето, и т. д. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц, верно, что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону.

Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. Я тоже покраснела, мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость в то время, как я говорила с принцем, заметили его странный поступок; бог знает, как они могли объяснять это; уж не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились с ней о муже. Я не утерпела и рассказала ей все, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокаивала меня, говоря, что это ничего не значащая, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов; объяснила мне с своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень несообщителен и горд стал; я согласилась с ней, и мне показалось, что я спокойнее и лучше сама теперь стала понимать его.

Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести, и я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга.

## VIII

С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Как только речь заходила о жизни в деревне или о бале, у нас как будто мальчишки бегали в глазах, и неловко было смотреть друг на друга. Как будто мы оба чувствовали, в каком месте была пропасть, отделявшая нас, и боялись подходить к ней. Я была убеждена, что

он горд и вспыльчив и надо быть осторожнее, чтобы не задевать его слабости. Он был уверен, что я не могу жить без света, что деревня не по мне и что надо покоряться этому несчастному вкусу. И мы оба избегали прямых разговоров об этих предметах, и оба ложно судили друг друга. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире, а делали сравнения с другими и втайне судили один другого. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один поехал к матери. Когда он уезжал, я уже достаточно оправилась, чтоб ехать с ним, но он уговаривал меня остаться, как будто боясь за мое здоровье. Я чувствовала, что он боялся не за мое здоровье, а за то, что нам нехорошо будет в деревне; я не очень настаивала и осталась. Без него мне было пусто, одиноко, но когда он приехал, я увидела, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. Прежние наши отношения, когда, бывало, всякая не переданная ему мысль, впечатление, как преступление, тяготили меня, когда всякий его поступок, слово казались мне образцом совершенства, когда нам от радости смеяться чему-то хотелось, глядя друг на друга, — эти отношения так незаметно перешли в другие, что мы и не хватились, как их не стало. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Мы привыкли к этой мысли, и через год мальчики даже перестали бегать в глазах, когда мы смотрели друг на друга. Исчезли совершенно его припадки веселия со мной, ребячество, исчезло его всепрощение и равнодушные ко всему, прежде возмущавшие меня, не стало больше этого глубокого взгляда, который прежде смущал и радовал меня, не стало молитв, восторгов вместе, мы даже не часто виделись, он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну; я была постоянно в свете, где мне не нужно было его.

Сцен и размолвок больше не бывало между нами, я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга.

Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства, как будто я сама с собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это был муж мой, не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, — муж мой, которого я знала, как самое себя. Я была уверена, что знала все, что он сделает, что скажет, как посмотрит; и ежели он делал или смотрел не так, как я ожидала, то мне уже казалось, что это он ошибся. Я ничего не ждала от него. Одним словом, это был мой муж и больше ничего. Мне казалось, что это так и должно быть, что не бывает других и между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне становилось одиноко, страшно, я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры; когда он приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя и через два часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, которые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне в сердце, и в его глазах, мне казалось, я читала то же. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было, и я старалась забыть эту грусть неясно чувствуемой перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбия, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе все то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Все время мое от позднего утра и до поздней ночи было занято и принадлежало не мне, даже ежели бы я не выезжала. Мне это было уже не весело и не скучно, а казалось, что так, а не иначе, всегда должно было быть.

Так прошло три года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше. В эти

три года в нашей семейной жизни случились два важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставляла мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя: «Неужели я хуже других женщин? Но что ж делать? — думала я. — Я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни, мне скучно; а притворяться я ни за что не стану». Смерть его матери была для него большим горем; ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском, а хотя мне и жалко было ее и я сочувствовала горю мужа, мне было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти три года мы провели большею частью в городе, в деревню я ездила только раз на два месяца, и на третий год мы поехали за границу.

Мы проживали лето на водах.

Мне было тогда двадцать один год, состояние наше, я думала, было в цветущем положении, от семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала; все, кого я знала, мне казалось, любили меня; здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах, я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Я не так была весела, как бывала в Никольском, когда я чувствовала, что я счастлива сама в себе, что я счастлива потому, что заслужила это счастье, что счастье мое велико, но должно быть еще больше, что все хочется еще

и еще счастья. Тогда было другое; но и в это лето мне было хорошо. Мне ничего не хотелось, я ничего не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалась мне, была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других или даже от старого князя К., нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый англичанин, другой француз с бородкой, все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были все одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д., больше других обратил мое внимание своею смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, танцевать, ездить верхом, быть в казино и т. д., и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен и, главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соболезованием иногда думала о нем. Я иногда хотела успокоить его, перевести его в тон полудружеской тихой доверенности, но он резко отклонял от себя эти попытки и продолжал неприятно смущать меня своею невыражавшеюся, но всякую минуту готовою выразиться страстью. Хотя и не признаваясь себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и две недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня при-

ехала давно ожидаемая и известная своею красотой леди С. Около меня составиля круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей дьвицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и, действительно, она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне этот день показалось скучно все, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и все окончательно переменилось в моих глазах. Всё и все мне показались глупы и скучны, мне хотелось плакать, скорей кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я сказалаь слабсю и перестала показываться в большом обществе, только утром выходила изредка одна пить воды или с Л. М., русскою знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время; он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтоб ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне.

Однажды леди С. увлекла все общество на охоту, а мы с Л. М. после обеда поехали в замок. Покуда мы шагом въезжали в коляске по извилистому шоссе между вековыми каштанами, сквозь которые дальше и дальше открывались эти хорошенькие элегантные баденские окрестности, освещенные заходящими лучами солнца, мы разговорились серьезно, как мы не говорили никогда. Л. М., которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошою, умною женщиною, с которою можно гсворить все и с которою приятно быть другсм. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни, нам захотелось в Россию, в деревню, и как-то грустно и хорошо стало. Под влиянием этого же серьезного чувства мы вошли в замок. В стенах было тенисто, свежо, вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас, русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса слышались явственнее, и мне показалось, что

назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые: это был маркиз Д. и француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я расслышала его слова. Он подробно объяснял, что было хорошего во мне и что хорошего в леди С. У меня уж был ребенок, а леди С. было девятнадцать лет; у меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее; леди большая дама, тогда как «ваша, — сказал он, — так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь». Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаюсь бороться с леди С., и что я окончательно похоронена в Бадене.

— Мне ее жаль.

— Ежели только она не захочет утешиться с вами, — прибавил он с веселым и жестоким смехом.

— Ежели она уедет, я поеду за ней, — грубо проговорил голос с итальянским акцентом.

— Счастливый смертный! он еще может любить! — засмеялся француз.

— Любить! — сказал голос и помолчал. — Я не могу не любить! без этого нет жизни. Делать роман из жизни одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца.

— *Воппе chance, топ ами*<sup>1</sup>, — проговорил француз.

Дальше уже мы не слышали, потому что они зашли за угол, и мы с другой стороны услышали их шаги. Они сходили с лестницы и через несколько минут вышли из боковой двери и весьма удивились, увидав нас. Я покраснела, когда маркиз Д. подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Я не могла отказаться, и мы сзади Л. М., которая шла с его другом, пошли к коляске. Я была оскорблена тем, что сказал про меня француз, хотя

---

<sup>1</sup> Желаю успеха, друг мой (франц.).

втайне сознавала, что он только назвал то, что я сама чувствовала; но слова маркиза удивили и возмутили меня своею грубостью. Меня мучила мысль, что я слышала его слова, и, несмотря на то, он не боится меня. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя; и, не глядя на него, не отвечая ему и стараясь держать руку так, чтобы не слышать его, я торопливо шла за Л. М. и французом. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня и еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России; чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось, и я торопилась скорей домой, в свою одинокую комнату в Hôtel de Bade, чтобы на просторе обдумать все то, что только сейчас поднялось у меня в душе. Но Л. М. шла тихо, до коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаюсь остановить меня. «Не может быть!» — подумала я и решительно пошла скорее. Но положительно он удерживал меня и даже прижимал мою руку. Л. М. завернула за угол дороги, и мы были совершенно одни. Мне стало страшно.

— Извините, — сказала я холодно и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство не то ужаса, не то удовольствия морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить все презрение, которое я к нему чувствую; но взгляд мой выразил не то, он выразил испуг и волнение. Его горящие, влажные глаза, подле самого моего лица, страстно смотрели на меня, на мою шею, на мою грудь, его обе руки перебирали мою руку выше кисти, его открытые губы говорили что-то, говорили, что спит меня любит, что я все для него, и губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои и жгли меня. Огонь пробежал по моим жилам, в глазах темнело, я дрожала, и слова, которыми я хотела остановить его, пересыхали в моем горле. Вдруг я почувствовала поцелуй на своей щеке и, вся дрожа и холодея, остановилась и смотрела на него. Не в силах ни говорить, ни



двигаться, я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Все это продолжалось одно мгновение. Но это мгновение было ужасно! Я так видела его всего в это мгновение. Так понятно мне было его лицо: этот видневшийся из-под соломенной шляпы крутой низкий лоб, похожий на лоб моего мужа, этот красивый прямой нос с раздутыми ноздрями, эти длинные остро-припомаженные усы и борода, эти гладко выбритые щеки и загорелая шея. Я ненавидела, я боялась его, такой чужой он был мне; но в эту минуту так сильно отзывались во мне волнение и страсть этого ненавистного, чужого человека! Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуям этого грубого и красивого рта, объятиям этих белых рук с тонкими жилами и с перстнями на пальцах. Так тянуло меня броситься очертя голову в открывшуюся вдруг, притягивающую бездну запрещенных наслаждений...

«Я так несчастна, — думала я, — пускай же еще больше и больше несчастий собирается на мою голову».

Он обнял меня одною рукой и наклонился к моему лицу. «Пускай, пускай еще и еще накапливается стыд и грех на мою голову».

— *Je vous aime*<sup>1</sup>, — прошептал он голосом, который был так похож на голос моего мужа. Мой муж и ребенок вспомнились мне, как давно бывшие дорогие существа, с которыми у меня все кончено. Но вдруг в это время из-за поворота послышался голос Л. М., которая звала меня. Я спомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала за Л. М. Мы сели в коляску, и я тут только взглянула на него. Он снял шляпу и спросил что-то, улыбаясь. Он не понимал того невыразимого отвращения, которое я испытывала к нему в эту минуту.

Жизнь моя показалась мне так несчастна, будущее так безнадежно, прошедшее так черно! Л. М. говорила со мной, но я не понимала ее слов. Мне казалось, что она говорит со мной только из жалости, чтобы скрыть презрение, которое я возбуждаю в ней. Во всяком слове, во всяком взгляде мне чудилось это презрение и ос-

---

<sup>1</sup> Я люблю вас (франц.).

корбительная жалость. Поцелуй стыдом жег мне щеку, и мысль о муже и ребенке была мне невыносима. Оставшись одна в своей комнате, я надеялась обдумать свое положение, но мне страшно было одной. Я не допила чаю, который мне подали, и, сама не зная зачем, с горячею поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу.

Когда мы сели с девушкой в пустой вагон, машина тронулась и свежий воздух пахнул на меня в окно, я стала опоминаться и яснее представлять себе свое прошлое и будущее. Вся моя замужняя жизнь со дня переезда нашего в Петербург вдруг представилась мне в новом свете и укором легла мне на совесть. Я в первый раз живо вспомнила наше первое время в деревне, наши планы, в первый раз мне пришел в голову вопрос: какие же были его радости во все это время? И я почувствовала себя виноватою перед ним. «Но зачем он не остановил меня, зачем лицемерил передо мной, зачем избегал объяснений, зачем оскорбил? — спрашивала я себя. — Зачем не употребил свою власть любви надо мной? Или он не любил меня?» Но как бы он ни был виноват, поцелуй чужого человека вот тут стоял на моей щеке, и я чувствовала его. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. «Я все, все скажу ему, все выплачу перед ним слезами раскаяния, — думала я, — и он простит меня». Но я сама не знала, что такое «всё» я скажу ему, и сама не верила, что он простит меня.

Но только что я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему, не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.

— Как это ты вздумала? — сказал он, — а я завтра хотел к тебе ехать. — Но, всмотревшись ближе в мое лицо, он как будто испугался. — Что ты? что с тобой? — проговорил он.

— Ничего, — отвечала я, едва удерживаясь от слез. — Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой в Россию.

Он довольно долго молча и внимательно посмотрел на меня.

— Да расскажи же, что с тобой случилось? — сказал он.

Я невольно покраснела и опустила глаза. В глазах его блеснуло чувство оскорбления и гнева. Я испугалась мыслей, которые могли прийти ему, и с силой притворства, которой я сама не ожидала в себе, я сказала:

— Ничего не случилось, просто скучно и грустно стало одной, и я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой! За что ты едешь со мной туда, куда тебе не хочется? Давно уж я виновата перед тобой, — повторила я, и опять слезы мне навернулись на глаза. — Поедем в деревню, и навсегда.

— Ах! мой друг, уволь от чувствительных сцен, — сказал он холодно, — что ты в деревню хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало; а что навсегда, то это мечта. Я знаю, что ты не уживешь. А вот чаю напейся, это лучше будет, — заключил он, вставая, чтобы позвонить человека.

Мне представлялось все, что он мог думать обо мне, и я оскорбилась теми страшными мыслями, которые приписывала ему, встретив неверный и как будто пристыженный взгляд, устремленный на меня. Нет! он не хочет и не может понять меня! Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, плакать, плакать...

## IX

Давно не топлённый пустой никольский дом снова ожил, но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно-дружелюбные, как и во время нашей городской жизни, но в деревне каждая половица, каждая

стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Как будто непрощенная обида была между нами, как будто он наказывал меня за что-то и делал вид, что сам того не замечает. Просить прощения было не за что, просить помилования не отчего: он наказывал меня только тем, что не отдавал мне всего себя, всей своей души, как прежде; но и никому и ничему он не отдавал ее, как будто у него ее уже не было. Иногда мне приходило в голову, что он притворяется только таким, чтобы мучить меня, а что в нем еще живо прежнее чувство, и я старалась вызвать его. Но он всякий раз как будто избегал откровенности, как будто подозревал меня в притворстве и боялся, как смешного, всякой чувствительности. Взгляд и тон его говорили: все знаю, все знаю, нечего говорить; все, что ты хочешь сказать, и то знаю. Знаю и то, что ты скажешь одно, а сделаешь другое. Сначала я оскорблялась этим страхом перед откровенностию, но потом привыкла к мысли о том, что это не неоткровенность, а отсутствие потребности в откровенности. У меня язык не повернулся бы теперь вдруг сказать ему, что я люблю его, или попросить его прочесть молитвы со мной, или позвать его слушать, как я играю. Между нами чувствовались уже известные условия приличия. Мы жили каждый порознь. Он с своими занятиями, в которых мне не нужно было и не хотелось теперь участвовать, я с своею праздностию, которая не оскорбляла и не печалила его, как прежде. Дети еще были слишком малы и не могли еще соединять нас.

Но пришла весна, Катя с Соней приехали на лето в деревню, дом наш в Никольском стали перестраивать, мы переехали в Покровское. Тот же был старый покровский дом с своею террасой, с сдвижным столом и фортепьянами в светлой зале и моею бывшею комнатою с белыми занавесками, и моими, как будто забытыми там, девичьими мечтами. В этой комнатке были две кровати — одна бывшая моя, в которой я по вечерам крестила раскидавшегося пухлого Кокошу, а другая маленькая, в которой из пеленок выглядывало личико Вани. Перекрестив их, я часто останавливалась посередине тихой комнатки, и вдруг изо всех углов, от стен,

от занавесок поднимались старые, забытые молодые видения. Начинали петь старые глоса девические песни. И где эти видения? где эти милые, сладкие песни? Сбылось все то, чего я едва смела надеяться. Неясные, сливляющиеся мечты стали действительностию; а действительность стала тяжелою, трудною и безрадостною жизнью. А все то же: тот же сад виден в окно, та же площадка, та же дорожка, та же скамейка вон там над оврагом, те же соловьиные песни несутся от пруда, те же сирени во всем цвѣту, и тот же месяц стоит над домом; а все так страшно, так невозможно изменилось! Так холодно все то, что могло быть так дорого и близко! Так же, как и в старину, мы тихо вдвѣсем, сидя в гостиной, гсворим с Катей, и говорим о нем. Но Катя сморщилась, пожелтела, глаза ее не блестят радостию и надеждой, а выражают сочувствующую грусть и сожаление. Мы не восхищаемся им по-старому, мы судим его, мы не удивляемся, зачем и за что мы так счастливы и не по-старому всему свету хотим рассказать то, что мы думаем; мы, как заговорщицы, шепчем друг с другом и сотый раз спрашиваем друг друга, зачем все так грустно переменялось? И си все тот же, только глубже морщина между его бровей, больше седых волос в его висках, но глубокий внимательный взгляд постоянно заволочен от меня тучей. Все та же и я, но нет во мне ни любви, ни желанія любви. Нет потребности труда, нет довольства собой. И так далеки и невозможны мне кажутся прежние религиозные восторги и прежняя любовь к нему, прежняя полнота жизни. Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо: счастье жить для другого. Зачем для другого? когда и для себя жить не хочется?

Я совершенно бросила музыку с тех самых пор, как переехала в Петербург; но теперь старое фортепяно, старые ноты снова приохотили меня.

Один день мне нездоровилось, я осталась одна дома; Катя и Соня поехали с ним вместе в Никольское смотреть новую постройку. Чайный стол был накрыт, я сошла вниз и, ожидая их, села за фортепяно. Я открыла сонату *quasi una fantasia* и стала играть ее. Никого не видно и не слышно было, окна были открыты в сад; и

знакомые, грустно торжественные звуки раздавались в комнате. Я кончила первую часть и совершенно бессознательно, по старой привычке, сглянула в тот угол, в котором он сидел, бывало, слушая меня. Но его не было; стул, давно не сдвинутый, стоял в своем углу; а в окно виднелся куст сирени на светлом закате, и свежесть вечера вливалась в открытые окна. Я облокотилась на фортепьяно обеими руками, закрыла ими лицо и задумалась. Я долго сидела так, с болью вспоминая старое, невсвратимое и робко придумывая новое. Но впереди как будто уже ничего не было, как будто я ничего не желала и не надеялась. «Неужели я отжила!» — подумала я, с ужасом приподняла голову и, чтобы забыть и не думать, спать стала играть, и все то же *andante*. «Боже мой! — подумала я, — прости меня, ежели я виновна, или возврати мне все, что было так прекрасно в моей душе, или научи, что мне делать? как мне жить теперь?» Шум колес послышался по траве, и перед крыльцом, и на террасе послышались осторожные знакомые шаги и затихли. Но уже не прежнее чувство отозвалось на звук этих знакомых шагсв. Когда я скончила, шаги послышались за мною, и рука легла на мое плечо.

— Какая ты умница, что сыграла эту сонату, — сказал он.

Я молчала.

— Ты не пила чай?

Я строгательно покачала головой и не оглядывалась на него, чтобы не выдать следов волнения, оставшихся на моем лице.

— Они сейчас приедут; лошадь зашалаила, и они сошли пешком от большой дорсги, — сказал он.

— Подождем их, — сказала я и вышла на террасу, надеясь, что и он пойдет за мною; но он спросил про детей и пошел к ним. Опять его присутствие, его простой, добрый голос разуберил меня в том, что что-то утрачено мною. Чего же еще желать? Он добр, кроток, он хороший муж, хороший отец, я сама не знаю, чего еще недостает мне. Я вышла на балкон и села под полотно террасы, на ту самую скамейку, на которой я сидела в день нашего объяснения. Уж солнце зашло,

начинало смеркаться, и весенняя темная тучка висела над домом и садом, только из-за деревьев виднелся чистый край неба с потухавшею зарей и только что вспыхнувшею вечернею звездочкой. Надо всем стояла тень легкой тучки, и все ждало тихого весеннего дождика. Ветер замер, ни один лист, ни одна травка не шевелилась, запах сирени и черемухи так сильно, как будто весь воздух цвел, стоял в саду и на террасе и наплывами то вдруг ослабевал, то усиливался, так что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать, кроме этого сладкого запаха. Георгины и кусты розанов, еще без цвета, неподвижно вытянувшись на своей вскопанной черной рабатке, как будто медленно росли вверх по своим белым обструганным подставкам; лягушки изо всех сил, как будто напоследках перед дождем, который их загонит в воду, дружно и пронзительно трещали из-под оврага. Один какой-то тонкий непрерывный водяной звук стоял над этим криком. Соловьи перекликались вперемежку, и слышно было, как тревожно перелетали с места на место. Опять нынешнюю весну один соловей пытался поселиться в кусте под окном, и когда я вышла, слышала, как он переместился за аллею и оттуда щелкнул один раз и затих, тоже ожидая.

Напрасно я себя успокаивала; я и ждала и жалела чего-то.

Он вернулся сверху и сел подле меня.

— Кажется, помочит наших, — сказал он.

— Да, — проговорила я, и мы оба долго молчали.

А туча без ветра все опускалась ниже и ниже; все становилось тише, пахучее и неподвижнее, и вдруг капля упала и как будто подпрыгнула на парусинном навесе террасы, другая разбилась на щебне дорожки; по лопуху шлепнуло, и закапал крупный, свежий, усиливающийся дождик. Соловьи и лягушки совсем затихли, только тонкий водяной звук хотя и казался дальше из-за дождя, но все стоял в воздухе, и какая-то птица, должно быть забившись в сухие листья недалеко от террасы, равномерно выводила свои две однообразные ноты. Он встал и хотел уйти.

— Куда ты? — спросила я, удерживая его. — Здесь так хорошо.

— Послать зонтик и калоши надо, — отвечал он.

— Не нужно, сейчас пройдет.

Он согласился со мной, и мы вместе остались у перил террасы. Я оперлась рукою на склизкую, мокрую перекладину и выставила голову. Свежий дождик неовно кропил мне волосы и шею. Тучка, светлея и редая, проливалась над нами; ровный звук дождя заменился редкими каплями, падавшими сверху и с листьев. Опять внизу затрещали лягушки, опять встрепенулись соловьи и из мокрых кустов стали отзываться то с той, то с другой стороны. Все просветлело перед нами.

— Как хорошо! — проговорил он, присаживаясь на перилы и рукою проводя по моим мокрым волосам.

Эта простая ласка, как упрек, подействовала на меня, мне захотелось плакать.

— И чего еще нужно человеку? — сказал он. — Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно, совершенно счастлив!

«Не так ты говорил мне когда-то про свое счастье, — подумала я. — Как ни велико оно было, ты говорил, что все еще и еще чего-то хотелось тебе. А теперь ты спокоен и доволен, когда у меня в душе как будто невысказанное раскаяние и невыплаканные слезы».

— И мне хорошо, — сказала я, — но грустно именно оттого, что все так хорошо передо мной. Во мне так несвязно, неполно, все хочется чего-то; а тут так прекрасно и спокойно. Неужели и у тебя не примешивается какая-то тоска к наслаждению природой, как будто хочется чего-то невозможного и жаль чего-то прошедшего.

Он принял руку с моей головы и смолчал немного.

— Да, прежде и со мной это бывало, особенно весной, — сказал он, как будто припоминая. — И я тоже ночи просиживал, желая и надеясь, и хорошие ночи!.. Но тогда все было впереди, а теперь все сзади; теперь с меня довольно того, что есть, и мне славно, — заключил он так уверенно небрежно, что, как мне ни больно было слышать это, мне поверилось, что он говорит правду.

— И ничего тебе не хочется? — спросила я.

— Ничего невозможного, — отвечал он, угадывая мое чувство. — Ты вот мочишь голову, — прибавил он,



как ребенка лаская меня, еще раз проводя рукой по моим волосам, — ты завидуешь и листьям, и траве за то, что их мочит дождик, тебе бы хотелось быть и травой, и листьями, и дождиком. А я только радуюсь на них, как на все на свете, что хорошо, молодо и счастливо.

— И не жаль тебе ничего прошлого? — продолжала я спрашивать, чувствуя, что все тяжеле и тяжеле становится у меня на сердце.

Он задумался и опять замолчал. Я видела, что он хотел ответить совершенно искренно.

— Нет! — отвечал он коротко.

— Неправда! неправда! — заговорила я, оборачиваясь к нему и глядя в его глаза. — Ты не жалеешь прошлого?

— Нет! — повторил он еще раз, — я благодарен за него, но не жалею прошлого.

— Но разве ты не желал бы воротить его? — сказала я.

Он отвернулся и стал смотреть в сад.

— Не желаю, как не желаю того, чтоб у меня выросли крылья, — сказал он. — Нельзя!

— И не поправляешь ты прошедшего? не упрекаешь себя или меня?

— Никогда! Все было к лучшему.

— Послушай! — сказала я, дотрогиваясь до его руки, чтоб он оглянулся на меня. — Послушай, отчего ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел, зачем ты давал мне волю, которою я не умела пользоваться, зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего, ничего бы не было, — сказала я голосом, в котором сильней и сильней выражалась холодная досада и упрек, а не прежняя любовь.

— Чего бы не было? — сказал он удивленно, обращившись ко мне. — И так ничего нет. Все хорошо. Очень хорошо, — прибавил он, улыбаясь.

«Неужели он не понимает или, еще хуже, не хочет понимать?» — подумала я, и слезы выступили мне на глаза.

— Не было бы того, что, ничем не виноватая перед тобой, я наказана твоим равнодушием, презрением даже, — вдруг высказалась я. — Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня все, что мне было дорого.

— Что ты, душа моя! — сказал он, как бы не понимая того, что я говорила.

— Нет, дай мне договорить... Ты отнял от меня свое доверие, любовь, уважение даже; потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде. Нет, мне надо сразу высказать все, что давно мучит меня, — опять перебила я его. — Разве я виновата в том, что не знала жизни, а ты меня оставил одну отыскивать... Разве я виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я, скоро год, бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня, как будто не понимая, чего я хочу, и всё так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а что я и виновата и несчастна! Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое и твое несчастие.

— Да чем же я показал тебе это? — с искренним испугом и удивлением спросил он.

— Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь и что нам спять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне? — продолжала я. — Чем бы поддержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого искреннего, нежного слова со мной. И потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.

— Постой, постой, — сказал он строго и холодно, — это нехорошо, что ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня, что ты не...

— Что я не люблю тебя? говори! говори! — досказала я, и слезы полились у меня из глаз. Я села на скамейку и закрыла платком лицо.

«Вот как он понял меня!» — думала я, стараясь удерживать рыдания, давившие меня. «Кончена, кончена наша прежняя любовь», — говорил какой-то голос в моем сердце. Он не подошел ко мне, не утешил меня.

Он был оскорблен тем, что я сказала. Голос его был спокоен и сух.

— Не знаю, в чем ты упрекаешь меня, — начал он, — ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде...

— Любил! — прогворила я в платок, и горькие слезы еще обильнее полились на него.

— То в этом виновато время и мы сами. В каждой поре есть своя любовь... — Он помолчал. — И сказать тебе всю правду? ежели уже ты хочешь откровенности. Как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночи проводил без сна, думая о тебе, и делал сам свою любовь, и любовь эта росла и росла в моем сердце, так точно и в Петербурге и за границей я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня, успокоился и все-таки люблю, но другою любовью.

— Да, ты называешь это любовью, а это мука, — проговорила я. — Зачем ты мне позволил жить в свете, ежели он так вреден тебе казался, что ты меня разлюбил за него?

— Не свет, мой друг, — сказал он.

— Зачем не употребил ты свою власть, — продолжала я, — не связал, не убил меня? Мне бы лучше было теперь, чем лишиться всего, что составляло мое счастье, мне бы хорошо, не стыдно было.

Я опять зарыдала и закрыла лицо.

В это время Катя с Соней, веселые и мокрые, с громким говором и смехом вошли на террасу; но, увидав нас, затихли и тотчас же вышли.

Мы долго молчали, когда они ушли; я выплакала свои слезы, и мне стало легче. Я взглянула на него. Он сидел, облокотившись на руку, и хотел что-то сказать в ответ на мой взгляд, но только тяжело вздохнул и опять облокотился.

Я подошла к нему и отвела его руку. Взгляд его задумчиво обратился на меня.

— Да, — заговорил он, как будто продолжая свои мысли. — Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни, для того чтобы вер-

нуться к самой жизни; а другому верить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе; и я сставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время.

— Зачем же ты проживал со мною и давал мне проживать этот вздор, ежели ты любишь меня? — сказала я.

— Затем, что ты и хотела бы, но не могла бы поверить мне; ты сама должна была узнать, и узнала.

— Ты рассуждал, ты рассуждал много, — сказала я. — Ты мало любил.

Мы опять помолчали.

— Это жестоко, что ты сейчас сказала, но это правда, — проговорил он, вдруг приподнимаясь и начиная ходить по террасе, — да, это правда. Я виноват был! — прибавил он, останавливаясь против меня. — Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя, или любить проще, да.

— Забудем все, — сказала я робко.

— Нет, что прошло, то уж не воротится, никогда не воротись, — и голос его смягчился, когда он говорил это.

— Все вернулось уже, — сказала я, на плечо кладя ему руку.

Он отвел мою руку и пожал ее.

— Нет, я неправду говорил, что не жалею прошлого; нет, я жалею, я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? не знаю. Осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела, нет уж в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность, но...

— Не говори так... — перебила я. — Опять пусть будет все, как прежде... Ведь может быть? да? — спросила я, глядя в его глаза. Но глаза его были ясны, спокойны и не глубоко смотрели в мои.

В то время как я говорила, я чувствовала уже, что невозможно то, чего я желала и о чем просила его. Он улыбнулся спокойно, кроткою, как мне показалось, старческою улыбкой.

— Как еще ты молода, а как я стар, — сказал он. — Во мне уже нет того, чего ты ищешь; зачем сбманывать себя? — прибавил он, продолжая так же улыбаться.

Я молча стала подле него, и на душе у меня становилось спокойнее.

— Не будем стараться повторять жизнь, — продолжал он, — не будем лгать сами перед собою. А что нет старых тревог и волнений, и слава богу! Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастья. Теперь нам уж нужно стираться и давать дорогу вст кому, — сказал он, указывая на кормилицу, которая с Ваней подошла и остановилась у дверей террасы. — Так-то, милый друг, — заключил он, пригибая к себе мсю голову и целуя ее. Не любовник, а старый друг целовал меня.

А из саду все сильнее и слаще поднималась пахучая свежесть ночи, все торжественнее становились звуки и тишина, и на небе чаще зажигались звезды. Я посмотрела на него, и мне вдруг стало легко на душе; как будто сняли у меня тот больной нравственный нерв, который заставлял страдать меня. Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невозвратно прошло, как и самое время, и что вернуть его теперь не только невозможно, но тяжело и стеснительно бы было. Да и полно, так ли хорошо было это время, которое казалось мне таким счастливым? И так давно, давно уже все это было!

— Однако пора чай пить! — сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне опять встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он как во сне зашевелил ручонкою с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то; вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них, пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. «Мой, мой, мой!» — подумала я, с счастливым напряженьем во всех членах прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. И я стала целовать его холодные но-

жонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне, я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.

— Иван Сергеич! — проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа, глаза его смеялись, глядя в мои, и мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них.

С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту...

## КАЗАКИ

*Кавказская повесть*  
1852 года

### I

Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огня уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и сжавшись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. — И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнаты слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котсром

стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь



и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что накснец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виню в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. — Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченным. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреевич, ящик ждать не хочет! — сказал всшедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прсдай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бскал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да, — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйста, свечи тушить приказано, — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. — Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной, — сказал высокий. — Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. — Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо, — сказал высокий, надевая перчатки. — Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем», — и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин, — сказал один из провожавших. — Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взьерошенная тройка потащила из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез...

## II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю», — и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молча-

ния, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* — когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые

речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чувствовать приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, — что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там

уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустил на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я еще не любил в самом деле? — представился ему вопрос. — Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: *не то, не то*, и точно вышло *не то*. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит, не вяжет меня по рукам и по ногам?» — думал он. — Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне, и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*. И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» — приходит ему в голову. Но кто это они? — он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произ-

носить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублях, которые он остался должен портному, — и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, боже мой, боже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня, несмотря на то, любила, — думает он о девушке, про которую шла речь при прощанье. — Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье», — вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б\*\*\*, флигель-адъютант, и князь Д\*\*\*, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа, — подумал он, — и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что несколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей-управляющий очень был озадачен, что я на ты с таким господином, как Сашка Б\*\*\*, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек», — думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, — где деньги и сколько

их, где вид и подорожная и шоссейная расписка, — и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось  $\frac{7}{11}$  всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на  $\frac{1}{8}$  всего состояния, — и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Аматаббеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б\*\*\* тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косою и покорными глубокими глазами.



Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога она, дожидаящаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она несбразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris»<sup>1</sup>, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостинной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезть из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютанство, прелестная жена. «Но ведь любви нет, — говорит он сам себе. — Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое — те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

---

<sup>1</sup> «Собор Парижской богородицы» (франц.).

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество, — приходило ему иногда в голову. — А эти люди, которых я здесь вижу, — не люди, никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих, — больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых», — и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и сверх того красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно стносились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна — нежданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станций и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель

рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю, — сказал Ванюша, — вот хорошо-то! Дóма не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания,

стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...

#### IV

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подростка. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину большая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и райны, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков<sup>1</sup>, зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы

---

<sup>1</sup> волков. (Прим. Л. Н. Толстого.)

идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Терек — Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Терек, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгошах и переселенцах мало-





россиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высшей степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или празднично говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на



руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чукяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славилась своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Те-река, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, — река; с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фронт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все, ежели не новы, то прямые, чистые, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно

расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородами, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветками, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечками, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

## V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и

буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник шутя кричит: «Выше подними, срамница», — и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в *сапетке*<sup>1</sup> еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изю всех труб поднимается душистый дым кизняка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плегня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворо-

---

<sup>1</sup> наметка. (Прим. Л. Н. Толстого.)

стину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка, — кричит мать, — чувяки-то<sup>1</sup> все истоптала». Марьяна нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаша и зеленый бешмет. Она скрывается под набесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клетки ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку*<sup>2</sup>, и обе несут два большие горшка молока — подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворог и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда слышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабушке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

— Что, бабука, убрались? — говорит она.

— Девка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

---

<sup>1</sup> Чувяки — обувь. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>2</sup> Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет, — говорит хорунжиха.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают, — говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжезой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

— Ну и слава богу, — говорит хорунжиха. — Урван — одно слово.

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют, — говорит Лукашкина мать, — только бы женить его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станице? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много, — замечает Лукашкина мать и качает головой, — твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет, — говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем, — говорит Лукашкина мать. — Илье Васильевичу кланяться придем.

— Что Иляс! — гордо говорит хорунжиха, — со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: — Не оставь, мать, помни эти слова. Пойду, топить надо, — прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Крала девка, работница девка, — думает она, глядя на красавицу. — Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

## VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка *Урван*, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурясь поглядывал то на даль за Тереком, то вниз на товарищей-казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливей отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо

против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издалика видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*<sup>1</sup> с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть чрез него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал*<sup>2</sup> от полкового командира казак с *цидулкой*<sup>3</sup>, в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность, — на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой-казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете, сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватою черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразный, бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто ле-

---

<sup>1</sup> Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>2</sup> Прибегал — значит на казачьем наречье — приезжал верхом. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>3</sup> Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. Л. Н. Толстого.)

жал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был собран в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел эгот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть, — сказал Лукашка посмеиваясь, — то-то бы переполошились!

— Не донесет.



— Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу<sup>1</sup> пить, — сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи поршни<sup>2</sup> и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо кобылку<sup>3</sup> и мешок с курочкой и кобчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким залившимся басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков флинтгой, приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

---

<sup>1</sup> Татарское пиво из пшена. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>2</sup> Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>3</sup> Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Что видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерощка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб во тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется, — сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

— Ну, ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*<sup>1</sup>, — подтвердил Назарка посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерощку всякий раз, как он приходил к ним.

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть*. *Посижу*, — отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. — А свиней видали?

— Легко ли! Свиней смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину. — Тут абреков ловить, а не свиней, надо. Ты ничего не слышал, дядя, а? — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик. — Не, не слышал. А что, чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси, — прибавил он.

— Ты что ж, *посидеть*, что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел ночку *посидеть*, — отвечал дядя Ерощка. — може, к празднику и даст бог, *замордую* что; тогда и тебе дам, право!

— Дядя! Ау! Дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. — Ты к верхнему протоку сходи, там табун

---

<sup>1</sup> *Посидеть* — значит караулить зверя. (Прим. Л. Н. Толстого.)

гажный ходит. Я не вру. Пра! Намеднись наш казак одного стрелил. Правду говорю, — прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка Урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху. — Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький, видно, — сказал Лукашка. — У самой у канавы, дядя, — прибавил он серьезно, встряхивая головой. — Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет*...<sup>1</sup> Да я тебе покажу, дядя, кое место, — недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, — пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказа, стал сходить с вышки.

— Сходи! — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. — Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то, ловок стал Лукашка твой, — прибавил урядник, обращаясь к старику. — Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

## VI

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро на-двигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу кобчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

— Гей, Лука! — послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки. — Казаки ужинать пошли.

<sup>1</sup> Лопнет — выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

— О! — сказал Лукашка замолкая. — Где петуха-то взял? Должно, мой пружок...<sup>1</sup>

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

— Не знаю чей. Должно, твой.

— За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

— Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ошпи.

— Что ж, сами съедим или уряднику отдать?

— Будет с него.

— Боюсь я их резать, — сказал Назарка.

— Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

— Вот так-то делай! — проговорил Лукашка, бросая петуха. — Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

— А слышь, Лука, опять нас в секрет пошлет черт-то, — прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника. — Фомушкина за чихирем усрал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел по кордону.

— Захвати бечевку-то! — крикнул он.

Назарка повиновался.

— Я ему нынче скажу, право, скажу, — продолжал

---

<sup>1</sup> Снаки, которые ставят для ловли фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Назарка.— Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

— Вó нашел о чем толковать!— сказал Лукашка, видимо думая о другом,— дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты...

— А в станицу придешь?

— На праздник пойду.

— Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет,— вдруг сказал Назарка.

— А черт с ней!— отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь.— Разве я другой не найду.

— Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он пошел, да и пошел; под окном, слышит, она и говорит: «Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «Славно».

— Врешь!

— Право, ей-богу.

Лукашка помолчал.

— А другого нашла, черт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

— Вот ты черт какой!— сказал Назарка.— Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что, она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

— Что Марьянка! все одно!— сказал он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

— То-то шомпол будет,— сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казачки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о чередѣ в секрет.

— Кому ж нынче идти? — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

— Да кому идти? — отозвался урядник. — Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил, — сказал он не совсем уверенно. — Идите вы, что ли? Ты да Назар, — обратился он к Луке, — да Ергушов пойдет; авось проспался.

— Ты-то не просыпаешься, так ему как же! — сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

— Да скорей идите; поужинайте и идите, — сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков. — Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

— Что ж, идти надо, — говорил Ергушов, — порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

— Ну, ребята, — загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса, — вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду.

## VIII

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько

шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

— Здесь, что ль, сидеть? — сказал Назарка.

— А то чего ж! — сказал Лукашка, — садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

— Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно, — сказал Ергушов, — тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

— Вот тут недалече, дядя, — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика, — я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

— Укажь; ты молодец, Урван, — так же шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.

— Вот где пить прошли, видишь, что ль? — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

— Спаси тебя Христос, — отвечал старик, — *карга* за канавой в *котлубани*<sup>1</sup> будет, — прибавил он. — Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево — на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», — подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глянцевиной поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить: кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостано-

---

<sup>1</sup> Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую кожу. (Прим. Л. Н. Толстого.)

вился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее, — сказал он. — Проводил?

— Указал, — отвечал Лукашка, расстилая бурку. — А сейчас какого здорового кабана у самой воды строил. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

— Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, — сказал Ергушов, завертываясь в бурку. — Я теперь засну, — прибавил он, — ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу; так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу, — ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и большая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевиная движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча — все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, сбозначала черту прогивоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и течение воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем



отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую голову казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла бóльшая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его душенька, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить», — подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось,

что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убью!» — подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придерживая, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану», — думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» — подумал он, и вот, при слабом свете месяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек», — подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, рассмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: «Отцу и сыну», — пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, черт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука. — Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка, — кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей карчой. Неподалеку останови-

лась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не сказываешь? — повторили казаки.

— Абреки! сказывают тебе, — повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?..

— Абрека убил! Вот что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. — Человек плыл... — сказал он, указывая на отмель. — Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то, — повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот, гляди! Гляди сюда, — сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменял тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю, — сказал он тихо и стал осматривать ружье. — Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов, — сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! Ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи: убьют, верно говорю.

— Так я один и пошел! Ступай сам, — сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

— Не лазяй, говорят, — проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. — Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар; эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лука, а Лука! — говорил Назарка, — да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

— Я говорю, уйдут, — сказал Ергушов, поднимаясь, — ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломаясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лука, не шелохнись, — проговорил Ергушов, — а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

— Иди, знаю, — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слышать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и, приладив подсѣшки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

## IX

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг недалеко от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

— Гей, казаки! Дядю не убей, — послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерощка вплоть подошел к нему.

— Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! — сказал Лукашка.

— Что стрелил? — спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

— Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя, — сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевщуюся спину, около которой рябил Терек.

— С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? — говорил Лука.

— Чего не видать! — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. — Джигита убил, — сказал он как будто с сожалением.

— Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услышал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. «Отцу и сыну и святому духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик. — Далече, брат, теперь... — И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев слышались по берегу.

— Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука.

— Молодец, Лука! Тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведет, — кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, — прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминяя траву, легло на берег.

— Да и желтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкой должно, вперед всех выискался. Самый, видно, джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. — Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, — сказал кто-то.

— Слышь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. — Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три монета дам. Вишь, оно и с свищом, — прибавил он, пуская дух в дуло, — так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, черт какой! — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун, — хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

— Годится за дровами ходить, — сказал другой казак.

— Мосев! я домой схожу, — сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята, — обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. — Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Может, из гор выкупать будут.

— Еще не жарко, — сказал кто-то.

— А чакалка изорвет? Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

— Ну, Лукашка, как хочешь: ведро ребятам поставишь, — прибавил урядник весело.

— Уж как водится, — подхватили казаки. — Вишь, счастье бог дал: ничего не видавши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой, — говорил Лука. — Мне не налезут: поджарый черт был.

Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю, — сказал Лука, — сам из станицы привезу.

— А портки девкам на платки изрежь, — сказал Назарка.

Казаки захохотали.

— Будет вам смеяться, — повторил урядник, — оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

— Что стали? Тащи его сюда, ребята! — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.

— Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги! — проговорил он, — не пропадет, хозяеза узнают.

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку в проснувшемся лесу; встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежевыбритая круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

— Тоже человек был! — проговорил он, видимо любясь мертвецом.

— Да, попался бы ему, спуска бы не дал, — отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.



— А я к Ямке зайду, — погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не ныне, — отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

## Х

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Ново-млинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и пригашив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновязи. Квартирберы, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фронт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут был и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трою, с веселым говором и позвякывая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатки, поглядывая то на дым, незаметно поднимающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны

ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями не виданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

— А что, Иван Васильич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирает вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и борода. Вместо истасканного ночью жизнью желтоватого лица — на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канаусового бешмета, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкески, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно, — сказал Ванюша, — а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься. — Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. — Не русские какие-то.

— Да ты бы станичного начальника спросил?

— Да ведь я их местоположения не знаю, — обиженно отвечал Ванюша.

— Кто ж тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего негу, на какую-то *кригу*<sup>1</sup>, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси господи! — отвечал Ванюша, хватаясь за голову. — Как тут жить будет, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. «На кригу пошел!» Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что, не так, как у нас на дворне? — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте, — сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? А, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смеетесь тут! Вам смешно! — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильич, — отвечал Оленин, продолжая улыбаться. — Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри — все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищутив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

---

<sup>1</sup> Кригой называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она!» — подумал Оленин. «Да еще много таких будет», — вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубахе, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел... — начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

— Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленное твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!.. — пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин. — Татарин благороднее», — и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время, как он выходил, Марьяна, как была, в одной розовой рубахе, но уже до

самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она», — подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая, — сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся, — ровно кобылка табунная! *Лафам!*<sup>1</sup> — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

## XI

Вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закулив папироску, сел у окна, выходящего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Терекон, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы, — в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На

---

<sup>1</sup> От франц. *La femme!* — Женщина!

умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! Дядя Ерошка сучку поцеловал! — закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. — Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дядя Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хаг по обе стороны улицы. — Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему. — Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек, — сказал он, приподнимая над коротко обстриженною головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек, — отвечал Оленин. — Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну.

— А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей, — сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. — Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал, — отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. — Али ты не видишь? — спросил он. — Коли хочешь, возьми себе парочку. На! — И он подал в окно двух фазанов. — А что, ты охотник? — спросил он.

— Охотник. Я в походе сам убил четырех.

— Четырех? Много! — насмешливо сказал старик. — А пьяница ты? Чихирь пьешь?

— Отчего ж? и выпить люблю.

— Э, да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем, — сказал дядя Ерошка.

— Заходи, — сказал Оленин. — Вот и чихирю выпьем.

— И то зайти, — сказал старик. — Фазанов-то возьми.

По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистой бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только







у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилитая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

— *Кошкильды!* — сказал он. — Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

— *Кошкильды!* Я знаю, — отвечал Оленин, подавая ему руку.

— Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. — Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи: *алла рази бо сун*, спаси бог. Так-то отец мой, а не *кошкильды*. Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосенч, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек. Я шутник! — И старик засмеялся. — Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо*, по-грузински. А я так говорю; поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю*. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднести. Солдат, драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик. — Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то, Иван, Ванюша! Возьми, пожалуйста, у хозяев чихиря и принеси сюда!

— Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! — повторил старик. — Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ, — продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел, — они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хоть ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

## XII

Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рога стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезненькие, — сказал он, решившись быть особенно кротким. — Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные, — сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. — Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше, — прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им, — сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. — Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой, — проговорил он и высунулся в окно. — Кхм! Кхм! — закашлял и замычал он. — Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник, — прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватую, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. — Я молодец, я шутник, — прибавил он. — Королева девка? А?

— Красавица, — сказал Оленин. — Позови ее сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик. — Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Таковую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь! — сказал Оленин. — Ведь это грех!

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик. — На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и подпернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не порусски и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «*Ла филь ком се тре бье*<sup>1</sup>, для разнообразия, — думал он, — скажу теперь барину».

— Что застал-то, черт! — вдруг крикнула девка. — Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

— Мамуке деньги отдай, — сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые, — убедительно отвечал Ванюша. — Мы такие добрые, что, где ни жили, везде нам хозяйева наши благодарны оставались. Поэтому благородный человек.

Девка приостановилась слушая.

— А что, он женатый, твой пан-то? — спросила она.

— Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут, — поучительно возразил Ванюша.

— Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит — еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала — большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает, — гордо объяснил Ванюша. — Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по

---

<sup>1</sup> Эта девушка очень хороша (искаж. франц.).

тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

— Иди, запру, — прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули*<sup>1</sup>, — и тотчас же с глупым хохотом ушел.

### XIII

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки и бабы засуегились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над погемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы спрашивали.

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Бают, крест вышлют.

— Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

— То-то подлая душа, Мосев-то!

— Сказывали, пришел Лукашка-то, — сказала одна девка.

— У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назарксы гуляют. Сказывают, полведра выпили.

— Эко Урвану счастье! — сказал кто-то. — Прямо, что Урван! Да что! малый хорош! Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в

---

<sup>1</sup> двушка очень красивая (искаж. франц.).

отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла... Вон они идут, никак, — продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице. — Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бока Назарку.

— Что, скурехи, песен не играете? — крикнул он на девок. — Я говорю, играйте на наше гулянье.

— Здорово дневали? Здорово дневали? — слышались приветствия.

— Что играть? разве праздник? — сказала баба. — Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку:

— Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

— Что, красавицы, заснули? — сказал Назарка. — Мы с кордона помолить<sup>1</sup> пришли. Вот Лукашку помолтили.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не

---

<sup>1</sup> Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья; вообще употребляется в смысле выпить. (Прим. А. Н. Толстого.)

спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, плевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра, — степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай бог тебе интерес хороший, — сказал казак, — я рад, сейчас говорил.

— И я говорю, — подхватил пьяный Ергушов, смеясь. — Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата. — Водка хороша солдатская, люблю!

— Трех дьяволов к нам пригнали, — сказала одна из казачек: — Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка. — Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чертов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить, — сказал Назарка, отставляя ногу, как Лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему.

— Верно, говорю.

— Ну, смола, — запищала девка, — бабе скажу!

— Говори! — закричал он. — И впрямь Назарка правду баит; цидула была, ведь он грамотный. Верно. — И он принялся обнимать другую девку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь, запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

— Ну, смола, черт тебя принес с кордону! — проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. — Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.



— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завою!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? — говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

— Да, им хорошо, как две хаты есть, — вмешалась за Марьяну старуха, — а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать! — сказала она. — И какую черную немочь они тут работать будут!

— Сказывают, мост на Тереку строить будут, — сказала одна девка.

— А мне сказывали, — промолвил Назарка, подходя к Устенке, — яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят. — И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку, — сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще, — кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задушит! — кричала она, смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

— Люди стоят, обойди, — проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

— Эки нарядные ребята! — сказал Назарка. — Ровно уставщики длиннополые, — и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

— А начальник у вас где стоит? — спросил он.

Марьяна подумала.

— В новую хату пустили, — сказала она.

— Что он, старый или молодой? — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

— А я разве спрашивала, — отвечала девка. — За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полную привезли.

И она опустила глаза.

— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.

— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

— До утра. Дай семечек, — прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

— Все не бери, — сказала она.

— Право, все о тебе скучился, ей-богу, — сказал сдержанно-спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не приду, сказано, — вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотел, — прошептал Лукашка, — ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А нянюка! Мамука ужинать зовет, — прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас приду, — отвечала девка, — ты иди, ба-тюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет, — сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на за-валинке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел на-земь в тени забора. «Ишь, хорунжиха, — думал он про Марьяну, — и не пошутит, черт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой, — сказала она и громко засмеялась.

Лукашка сбнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо.

— Что я тебе сказать хотел... ей-богу!.. — Голос его дрожал и прерывался.

— Каки разговоры нашел по ночам, — отвечала Марьяна. — Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остано-вилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.

— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми!

Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погромел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай, — вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова, — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. — Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься, — сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, — говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она. — Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.

«Хорунжиха, — думал себе Лукашка, — замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, черт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаксв, про своего батюшку *Широкого*, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего няню<sup>1</sup> Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

— Так-то, отец ты мой, — говорил он, — не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда<sup>2</sup>, к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал,

<sup>1</sup> Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном «няней» называется друг. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>2</sup> Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда. (Прим. Л. Н. Толстого.)

песенник; на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам, — в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка, еодат — солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татаринном не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь, — прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленой, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет ка могилке, вот и все. (Старик засмеялся.) Отчаянный был!

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты еще молодец.

— Что же, благодарю бога, я здоров, всем здоров; только баба, ведьма, испортила...

-- Как?

— Да так испортила...

— Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин.

Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.

## XV

— Так о чем, бишь, я говорил? — продолжал он, припоминая. — Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб, — все есть, благодарю бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду, — уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик<sup>1</sup> сделаю и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагресишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаясь. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь — лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся, или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И все это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его, или так только, испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «Может, абрек какого казачонка глупого убил». Все это в голове у тебя ходит. А то раз сидел я на воде, смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул

---

<sup>1</sup> Лопазик — называется место для сиденья на столбах или деревьях. (Прим. Л. Н. Толстого.)

пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе: сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! Так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» — уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «Беда, мол, детки: человек сидит», — и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

— Как же это свинья поросьятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь божия. Эхма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот



за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак, в темной черкеске и белом курпее на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина, в белом платке, прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», — казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины — все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян, — сказал он, вставая. — Завтра на охоту приходите?

— Приходи.

— Смотри, раньше вставать, а проспичь — штраф.

— Небось раньше тебя встану, — отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» — подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

## XVI

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Бóльшая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все просты и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной заботливости казаков о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ошипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадучке с грязною, вонючею водой, размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых

фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал кобчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колу-пал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

— *Уйде-ма, дядя?* (то есть: дома, дядя?) — послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

— *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! — закричал старик. — Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. «Что ж? люди достаточные, — говорил он сам себе. — Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз...»

— Здорово, Марка! Я тебе рад, — весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал *выходку*. — Ловко, что ль? — спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся. — Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос, — проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. — Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

— Будь здоров! Отцу и сыну! — сказал старик, с торжественностью принимая вино. — Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня все есть, и закуска есть, благодарю бога, — сказал он гордо. — Ну, что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо желая знать мнение старика.

— За ружьем не стой, — сказал старик, — ружья не дашь — награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку?<sup>1</sup> А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

— Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжии представляю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а, бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

— Эх! мы не тужили, — сказал старик, — когда дядя Ерощка в твои года был, он уж табуны у ногайцев воровал да за Терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

— Что же дешево отдавали? — сказал Лукашка.

---

<sup>1</sup> Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы, (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик. — Нельзя, — на то воруеть, чтсбы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

— Да что говорить, дядя? — сказал Лукашка. — Не такие мы, видно, люди.

— Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! — отвечал старик, передразнивая молодого казака. — Не тот я был казак в твои годы.

— Да что же? — спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

— Дядя Ерощка *прост* был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, *пешкеш*, свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют, — презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

— Это я знаю, — сказал Лукашка. — Это так!

— Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

— Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

— А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

— Что пустое говорить? — сказал Лука, — ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено.

— Гирей-хану верить можно, его весь род — люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него про-

сил по десяти монетов за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть, — молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то.

— Как не знать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

— Да ты пытал, что ль, дядя?

— Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуйтя», как на коня садиться. Никто не убил.

— Какая такая «здравствуйтя», дядя?

— А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуйтя живучи в Сиони.

Се царь твой.

Мы сядем на кони.

Софоние вопие,

Захарие глаголе.

Отче Мандрыче

Человеко-веко-любче.

Веко-веко-любче, — повторил старик. — Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

— Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Может так.

— Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав, — и старик сам засмеялся. — А ты в Ногаи, Лука, не езди, вот что!

— А что?

— Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком, бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

— Вовсе светло, дядя, — перебил он его. — Пора, заходи когда.

— Спаси Христос, а я к армейскому пойду: пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись,

## XVII

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаше и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

— Что, Лукаша, нагулялся? — сказала мать тихо. — Где был ночь-то?

— В станице был, — неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Пovýдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? — сказал он.

— Как же! Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

— Вот только уберусь, и идти надо, — отвечал Лукашка, увязывая порох. — А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки: жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

— Позови, — сказал Лукашка. — Да сало там у меня было, принеси сюда. Шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатках; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошо, хорошо! Молодец, Степка! — отвечал брат, кивая головой. — Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! — И достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрее стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» — показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

— Я Улите говорила наемни, что сватать пришлю, — сказала мать, — приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.



— Да что, матушка? Вино надо взять. Коня нужно.

— Повезу, когда время будет; бочки справлю, — сказала мать, видимо не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. — Ты как пойдешь, — сказала старуха сыну, — так возьми в сених мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в саквы<sup>1</sup> положить?

— Ладно, — отвечал Лукашка. — А коли из-за реки Гирей-хан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

— Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, стало? — сказала старуха. — То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка, — сказал он матери, припирая за собой ворота. — Ты бочонок с Назаркой пришли, — ребятам обещался; он пойдет.

— Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю, — отвечала старуха, подходя к забору. — Да слушай что, — прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

— Ты здесь погулял, ну, слава богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю.

— Ладно, ладно! — отвечал сын хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

---

<sup>1</sup> Саквами называются переметные сумки, которые казаки берут за седлами. (Прим. А. Н. Толстого.)

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

## XVIII

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерощка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерощка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом. — Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик. — Так-то у нас, добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на соблаку. — Ружье-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Штраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?*<sup>1</sup> — говорил Ванюша, ухмыляясь.

— Ты не наш! не по-нашему лопочешь, черт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

— Для первого раза прощается, — шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

---

<sup>1</sup> Хотите чаю? (франц.)

— Прощается для первого раза, — отвечал Ерощка, — а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафа. Как обогрется, не застанешь оленя-то.

— Да хоть и застанешь, так он умней нас, — сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером, — его не обманешь.

— Да, ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет, — сказал Ерощка, глядевший в окно. — Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

— *Ларжан*<sup>1</sup>, — сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед за тем сам хорунжий, в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищенных сапогах — редкость у казаков, — с улыбкой на лице, раскачиваясь вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, *благородный*. Он хотел казаться *благородным*; но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерощка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

— Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! — сказал Ерощка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

— Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал хорунжий, небрежно кивая ему голсвой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

---

<sup>1</sup> Деньги (*франц.*).

— Это наш *Нимрод египетский*, — сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика. — *Ловец пред господином*. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: «*Нимрод иццкий!* Чего не выдумает?»

— Да вот на охоту хотим идти, — сказал Оленин.

— Так-с точно, — заметил хорунжий. — А у меня дельце есть к вам.

— Что прикажете?

— Как вы есть благородный человек, — начал хорунжий, — и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда стратоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов, — а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

— Чисто говорит, — пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Из всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

— По нашему глупому обряду, — сказал он, — мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию мсему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

— Что ж, прикажете чаю?

— Ежели позволите, я свой стакан принесу, особый, — отвечал хорунжий и вышел на крыльцо. — Стакан подай! — крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в особый, Ерощке в мирской стакан.

— Однако не желаю вас задерживать, — сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. — Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекреации от должности. Также имею желание испытать счастье, не попадутся ли и на мою долю дары Терека. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить родительского, по нашему станичному обычаю, — прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

— Плут же, — сказал дядя Ерощка, дспивавший свой чай из мирского стакана. — Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь, — сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! — отвечал старик. — Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быксв за привязанную к их рогам веревку.

— Мамушка! — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

— Ну, идем, идем! — сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

— Ги! Ги! — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

— Да за что же ты так сердисься на него? — спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю, — отвечал старик. — Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит, — сказал Оленин.

— Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покланялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А всё Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, — сказал Оленин.

— Хвастаешь, — крикнул старик, останаеливаясь.

— Ей-бсгу! — сказал Оленин.

— Баба черт, — раздумывая, сказал Ерошка. — А какой казак?

— Я не видал какой.

— Ну, курпей какой на шапке? белый?

— Да.

— А зипун красный? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть. — Ерошка захохотал. — Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, шутю. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало, с матерью, с невесткой спит

душенька-то моя, а я все влезу. Бывало — жила она высоко; мать ведьма была, черт, страсть не любила меня, — приду, бывало, с няней (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул; так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе и винограду, всего натащит, — прибавил Ерошка, объяснявший все практически. — Да не одна была. Житье бывало.

— А теперь что ж?

— А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу, — сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь? — сказал он. — Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги да молитву прочти: «Отцу и сыну и святому духу», — и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

— Ну, что за вздор! — сказал Оленин. — Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Ши! Теперь молчи, — опять шепотом прервал старик этот разговор, — только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими

сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цепляя за ветки деревьев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

## ХІХ

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажняя дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц — кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерощка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла



травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чашу леса. Сила растительности этого не пробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину.

— Фазана посадил, — прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку. — Мурло-то закрой: фазан, — он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках, — мурла человеческого не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух торчокнул с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидел фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здорового ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чашу.

— Молодец! — смеясь, прокричал старик, не умевший стрелять влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

— Стой! Сюда пойдем, — перебил его старик, — вчера тут оленин след видал.

Свернув в чашу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него,





Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж? — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее. — Человека след.

Невольно в голосе его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

— Не, это мой след, — просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чашу, к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

— Утром тут был, — вздохнув, сказал старик, — видеть, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщательно всматривался в зеленую чашу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

— Рогаль, — проговорил он. И, отчаянно бросив на землю ружье, стал дергать себя за седую бороду. — Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! — И он злобно ухватил себя за бороду. — Дурак! Свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна-красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

## XX

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел стодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазая за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удерживать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему,

даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькиющей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не выдавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер теплоокровавленную руку о черкеску. «Чуют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые

кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Все надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастья. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества — все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? — подумал он. — Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что, — сказал он сам себе, — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания

всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно, — все думал он, — отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами деревьев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменялось — и погода и характер леса: небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах деревьев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о боге и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя, — думал он, — когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решил пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канавка. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя; зарывшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее.



Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ошупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся — что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

## XXI

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услышал звуки русского говора, услышал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурным мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижне-Протоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых за то,

что он курил папироску, во-вторых оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженной и выкрашенной красною бородой, несмотря на то, что был в оборванной черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

— Их пять братьев, — рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке, — вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит, — говорил лазутчик, указывая на чеченца. — Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон в тех горах, — отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье. — Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо гордясь этим знакомством. — Кунак мне.

— сосед мне, — отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо очень заинтересованный, загворил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станичный со свитой двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваше благородие», — и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука который у вас? — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю, я написал к кресту, — в урядники рано. Ты грамотен?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника. — Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник, — отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им, — обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-

то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

— Что он сказал? — спросил Оленин у вертлявого переводчика.

— Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Всё одна хурда-мурда, — сказал лазутчик, видимо обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, переноса весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело; несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

— Что это вы курите? — сказал он, как будто с любопытством. — Разве хорошо?

Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

— Так, привык, — отвечал Оленин, — а что?

— Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь недалеко горы-то, — сказал Лукашка, указывая в ущелье, — а не доедешь!.. Как же вы домой одни пойдете: темно. Я вас провожу, коли хотите, — сказал Лукашка, — вы попросите у урядника.

«Какой молодец», — подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало

жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он. — Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат, — сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке. — Слышал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то? — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

— Пускай бога молит, что сам цел ушел, — сказал Лукашка, смеясь.

— Чему ж ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке. — Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

## XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин, для того чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну, — думал себе Оленин, — а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми

людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебе в какие ворота? — спросил Оленин.

— В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

— Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один дойду.

— Ничего! А мне что ж делать? Как вам не бояться? И мы боимся, — сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.

— Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

— Разве я места не найду, где ночку ночевать, — засмеялся Лукашка, — да урядник просил прийти.

— Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

— Все люди... — И Лука покачал головой.

— Что, ты женишься — правда? — спросил Оленин.

— Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

— Ты нестройной?

— Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят,

— А сколько конь стоит?

— Торговали наемни одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.

— Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопчу и коня тебе подарю, — вдруг сказал Оленин. — Право. У меня два, мне не нужно.

— Как не нужно? — смеясь, сказал Лукашка. — Что вам дарить? Мы разживемся, бог даст.

— Право! Или не пойдешь в драбанты? — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Лукашка первый прервал молчание.

— Что, у вас в России дом есть свой? — спросил он.

Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.

— Хороший дом? больше наших? — добродушно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз, в три яруса, — рассказывал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь... А все я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь. — Вот вы где заплутались, — прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили, — вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте, — отвечал Оленин, — хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче, — сказал Лука. — Ишь чакалки воют, — прибавил он, прислушиваясь.

— Да что, тебе не страшно, что ты человека убил? — спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход! — повторил Лукашка. — Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?

— Да. Очень хорошо, — сказал Оленин.

Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастье и что никогда нигде он не жил и жить не бу-

дет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клетки купленную им в Грозной — не ту, на которой он всегда ездил, но другую, недурную, хотя и немолодую лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка. — Я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит, — отвечал Оленин, — возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдем.

Лука смутился.

— Ну, что ж это? Разве конь малого стоит, — говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствуй. Вот, недуманно-негаданно...

Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихрию. Пойдем в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.

— Бог даст, и я вам отслужу, — сказал он, допивая вино. — Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андреич.

— Ну, Митрий Андреич, спаси тебя бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а всё кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно: каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намерен не знал: какго кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.

— Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездил.

— Как коня запрягать! А вот еще я тебе скажу, — понизив голос, сказал Лукашка, — коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.



— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношения Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что *ларжан ильньяпа*<sup>1</sup>, и потому все это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она, как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.

Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был по его мнению, однако стоил по крайней мере сорок монетов, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил

---

<sup>1</sup> денег нет (искаж. франц.).

ему лошадь в сорок монетов, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! — думал Лукашка. — Конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделялся уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил юнкерь-то, что у Ильи Васильича стоит, — говорил один. — Богач!

— Слышал, — отвечал другой глубокомысленно. — Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкерей, беда! — говорил третий, — как раз подожжет или что,

### XXIII

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на учение его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он, с своей стороны, тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно

уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочитя за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.

Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове, — бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застает себя или казаком, работающим в садах с казачкою-женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.

Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерощка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. На завтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха, он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца.

Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждение созерцанием на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ах, топ cher, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. — Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался... Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?

И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.

— Служа здесь, в этой трущобе, надо по крайней мере сделать карьеру... крест... чин... в гвардию переводят. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек, — говорил Белецкий не умолкая. — За экспедицию представлен к Анне. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан — знаете, Старцев: доброе, глупое существо... он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видите. Я понимаю, что вам не хочется

сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенка! Я вам скажу — прелесть!

И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахло от него всею тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.

Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

#### XXIV

Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тереке лошадь). Хозяйка

была в своей *избушке*, из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клетке доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин *охлепью* на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клетки и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал на двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клетки; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «*Се пре!*»<sup>1</sup> — отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клетки, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клетку, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доения.

Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на

---

<sup>1</sup> Готово! (франц.)

крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень, — он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под ее стянутую рубахой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевички, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито брссали лопатой и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белецкий! — отозвался Оленин, протягивая руку. — Как вы так рано?

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устенке? — обратился он к девке.

Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слышав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится, — проговорил ей вслед Белецкий, — вас стыдится, — и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как, бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устенки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на *избушку*, в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.

— Да как же, помилуйте, — сказал он, — живете в одном доме... и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин, — сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.

— Оно, может быть, странно, — отвечал Оленин, — но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хоршо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерощка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охста.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. *A la guerre, comme à la guerre!*<sup>1</sup>

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться, — отвечал Оленин. — Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил

---

<sup>1</sup> На войне — как на войне! (*франц.*)



по-вашему. И потом, я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы.

Белецкий недоверчиво поднял брови.

— Все-таки приходите ко мне вечером, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?

— Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белецкий. — Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?

— Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придете?

— Да, приду, может быть, — сказал Оленин.

— Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?

— Едва ли! Мне говорили, что восьмая рота пойдет, — сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, что в набег скоро.

— Не слыхал, а слыхал, что Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика, — сказал Белецкий, смеясь. — Вот попался-то. Он в штаб поехал...

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и

с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно, — думал он. — Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.

Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли, и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, выючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «*Les trois mousquetaires*»<sup>1</sup>.

Белецкий вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свиной и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит!

Действительно, выглянув в окно, они увидели обыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белецкий.

— Сейчас! Аль проголодался, дедушка? — И из хаты послышался звонкий хохот.

Устенка, пухленькая, румянькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками.

— Ну, ты! Вот тарелки разобью, — завизжала она на Белецкого. — Ты бы шел подсоблять, — прокричала

---

<sup>1</sup> «Три мушкетера» (франц.).

она, смеясь, на Оленина. — Да закусок-то<sup>1</sup> девкам припаси.

— А Марьянка пришла? — спросил Белецкий.

— А то как же! Она теста принесла.

— Вы знаете ли, — сказал Белецкий, — что, ежели бы одеть эту Устенку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая dignité!<sup>2</sup> Откуда что взялось...

— Я не видал Борщевой, а по мне — лучше этого наряда ничего быть не может.

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! — сказал Белецкий, весело вздыхая. — Пойду посмотрю, что у них.

Он накинул халат и побежал.

— А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?»

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат. — Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все, — сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.

— Выгнали, — сказал он.

Через несколько минут Устенка вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.

Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенка опраивала пуховики в стене. На

---

<sup>1</sup> Закусками называются пряники и конфеты. (Прим. Л. Н. Толстого.)

<sup>2</sup> осанка! (франц.)

столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

— Просим покорно мсего ангела помолить, — сказала Устенка, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устенки и пригласил других сделать то же. Устенка объявила, что девки не пьют.

— С медом бы можно, — сказал чей-то голос из толпы девок.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев гулявших, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче, но Белецкий прогнал его.

Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устенки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег, — думал он. — Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

— Как же ты своего постояльца не знаешь! — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал:

— Я твоей матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашел к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянула на него и отвернулась.

Тут в первый раз Оленин увидел все лицо красавицы, а прежде он видал ее обвязанною до глаз платком. Недаром она считалась первою красавицей в станице. Устенка была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечною улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не хорошенькая, но красавица. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное — ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственною силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, — все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими.

Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставляя девок подносить чихирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша», *la vôtre*, и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжеле и тяжеле. Он придумал предлог, чтобы выйти и убе-

жать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенка должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И черт меня занес на эту отвратительную пирушку!» — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу, — сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку.

— У меня есть деньги, — сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить, — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. — Неужели я не могу то же делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствия. Надо пить по-казацки», — и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себе стаканов восемь), налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенка поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими.

— Вот, девки, загуляем, — сказала она, встряхивая на тарелке четыре монета, которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем, — сказал Белецкий, схватывая ее за руку.

— Да я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замахиваясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно, — подхватила другая девка.

— Вот умница! — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку. — Нет, ты поднеси, — настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне. — Постояльцу поднеси.

И, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Лениным.

— Какова красавица! — сказал он, поворачивая ее голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами.

— Красавица девка, — повторил Белецкий.

«Какова я красавица!» — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь? — спросил Оленин.

— А так, не хочу, и все, — отвечала она, вздергивая нижнюю губой и бровью. — Он дедушка, — прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее. — Что заперлись, черти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь, — сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее.

— Белецкий, отойдите! Что за глупые шутки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом.

— Ай боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ерошкой сидел, так тебя девки за это и любить бы стали. — И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить.

— А если б я к вам ходил?.. — сказал он нечаянно.

— Другое бы было, — проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударила о его ногу.

«Все пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав», — мелькнуло в голове Оленина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рас-

сердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенкина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.

## XXVI

«Да, — думал Оленин, возвращаясь домой, — стоило бы мне немного дать себе повода, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерешкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они спрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движения, пощелкиванье семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же



пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям и снова дожидался ее взгляда. При других она была большею частию весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы: вдруг слышатся ее сильные шаги, и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его, — и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимою.

Оленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев, — думал он, — люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве,

зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке, — только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке, — и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде, — быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье, — его удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастье.

## XXVII

Лукашка, перед уборкой винограда, верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну, что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня вашего променял за рекой! Уж и конь Кабардинский лов-тавро<sup>1</sup>. Я охотник.

Они осмотрели нового коня, проджиговали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош: гнедой, широкий и длинный мерин с гляцевитою шерстью, пушистым хвостом и нежною, тонкою, породистою гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его только спать ложись, как выразился Лукашка. Копыты, глаз, оскал — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца.

— А езда-то, — говорил Лукашка, трепля его по шее. — Проезд какой! А умный! Так и бегаёт за хозяином.

— Много ли придачи дал? — спрашивал Оленин.

— Да не считал, — улыбаясь, отвечал Лукашка. — От кунака достал.

— Чудо, красавица лошадь! Что возьмешь за нее? — спросил Оленин.

— Давали полтораста монетов, а вам так отдам, — сказал Лукашка весело. — Только скажите, отдам. Расседлаю, и бери. Мне какого-нибудь давай служить.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам пешкеш привез, — и Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне. — За рекой достал.

— Ну, спасибо.

— А виноград магушка обещала сама принесть.

— Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал.

— Как можно, — кунаки! Меня так-то за рекой Гирей-хан привел в саклю, говорит: выбирай любое. Вот я эту шашку и взял. Такой у нас закон.

Они вошли в хату и выпили.

— Что ж, ты поживешь здесь? — спросил Оленин.

— Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кор-

---

<sup>1</sup> Тавро завода кабардинских лошадей Лова считается одним из лучших на Кавказе. (Прим. Л. Н. Толстого.)





дона услали в сотню за Терекком. Нынче еду с Назаром, с товарищем.

— А свадьба когда же?

— Вот скоро приеду, сговор будет, да и опять на службу, — неохотно отвечал Лука.

— Как же так, невесту не увидишь?

— Да так же! Что на нее смотреть-то? Вы как в походе будете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал, джигитуя, на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка. — На, веди к ней коня, а коли я долго не приду, ты коню сена дай. К утру все в сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего еще?

— Не! Спасибо отдал ему кинжалом, а то коня было просить стал, — сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая ее Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уж совсем темно. Марьянка в одной рубашке чесала косу, собираясь спать.

— Это я, — прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно; но оно вдруг ожило, как только она услышала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложи, — проговорил Лукашка. — Пусти меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял ее голову и поцеловал.

— Право, отложи.

— Что говоришь пустое! Сказано, не пушу. Что ж, кадолго?

Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше.

— Вишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько, — сказал Лукашка.

— Марьянушка! — слышался голос старухи. — С кем ты?

Лукашка скинул шапку, чтобы по ней не заметили его, и присел под окно.

— Иди скорей, — прошептала Марьяна.

— Лукашка заходил, — отвечала она матери, — батяку спрашивал.

— Что ж, пошли его сюда.

— Ушел, говорит, некогда.

Действительно, Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к Ямке; только один Оленин и видел его. Выпив чапуры две чихиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, только слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке.

— Ведь не пустила, — сказал он.

— О! — отозвался Назарка. — Я знал, что не пустит. Что мне Ямка сказывала: юнкирь к ним ходить стал. Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкиря флинту за Марьянку взял.

— Брешет он, черт! — сердито сказал Лукашка, — не такая девка. А то я ему, старому черту, бока-то отомну. — И он запел свою любимую песню:

Из села было Измайлова,  
Из любимого садочка сударева,  
Там ясен сокол из садичка вылетывал,  
За ним скоро выезживал млад охотничек,  
Манил он ясного сокола на праву руку.  
Ответ держит ясен сокол:  
«Не умел ты меня держать в золотой клетке  
И на правой руке не умел держать,  
Теперь я полечу на сине море;  
Убью я себе белого лебедя,  
Наклююся я мяса сладкого, «лебедикого».

## XXVIII

У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению хорунжего. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в ста-

нице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукашка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменился в это последнее время, — писал Оленин, — и дошел до того, что написано в азбучке. Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадетя, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка.

Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко свеживал маленьким ножичком. Собаки, и между ними любимец Лям, лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и даже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему — кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клети весь в крови и отпускал по фунтам свежину — кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «Бог дал счастье, убил зверя; теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы, пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре.

Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой, — сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал



пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленич оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному; ему хотелось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи! Не хочу! Пришел к тебе.

— А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленич и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал, — сказал он так же тихо. — Я мастер играть: татарскую, казакскую, господскую, солдатскую. какую хошь.

Оленич еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика:

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно. — Ну, обидели тебя — брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не уместалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе.

Оленич расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню с припляскою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли  
А где его видели?  
На базаре в лавке,  
Продает булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель:

В понедельник я влюбился,  
Весь овторник прострадал,  
В среду в любви открылся,  
В четверток ответу ждал.

В пятницу пришло решение,  
Чтоб не ждать мне утешенья.  
А во светлую субботу  
Жизнь окончить предпринял;  
Но, храня души спасенье,  
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,  
А где его видели?

Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,  
Алой лентой перевью,  
Надеженькой назову.  
Надеженька ты моя,  
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские*, он спел только для Оленина; но потом, выпив еще стакана три чихиря, он вспомнил старину и запел настоящие казачьи и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бренчать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказал он.

Оленин оглянулся на странный звук его голоса: старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.

— Прошло ты, мое времечко, не воротишься, — всхлипывая, проговорил он и замолк. — Пей, что не пьешь! — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.

Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! дай! далалай!» Ерощка перевел слова песни: «Молодец погнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел

из гор: где был аул, там пустое место; матеря нет, братьев нет, дома нет; одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: ай, дай! далалай!» И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз.

Допевая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье, торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел: «Ай! дай! далалай а-а!» — и замолк.

Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон и перебегали из *избушки* в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелам дяди Ерошки.

— Что ж ты не на сговоре? — спросил Оленин.

— Бог с ними, бог с ними! — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели. — Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдем в хату! Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.

Оленин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебе девку подвожу, — сказал старик шепотом. — А что девка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше — и наша! Я тебе сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой, сироты! — вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал.

Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив», — думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на шол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.

Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревьях были покрыты пылью; дороги и солончаки были сбнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девок и мальчишек. В степи уже засыхали буруны и камыши, и скотина, мыча, днем убегала в поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Комары и мошки тучами стояли над низами и станицами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. Абреки, слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по сю сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли выющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, верхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками мамуки вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу взлезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая,

лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши *избушек* были сплошь уложены черными янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, в тени персикового дерева, и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разостланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил пролады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Хорунжий, еще раз помолвившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Хорунжий был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за *лапазом* край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберемся, — отвечала старуха, — только бы погода не задержала. Демкины еще половины не убра-

ли, — прибавила она. — Одна Устенка работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— На́, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке. — Вот, бог даст, будет чем свадьбу сыграть, — сказала старуха.

— Дело впереди, — сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говоришь? — сказала старуха. — Дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай, — опять сказал хорунжий. — Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила старуха. — Что Митрий-то Андреич подарил, того уж нет: он выменял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче, — сказал хорунжий, — говорит, опять получил тысячу рублей.

— Богач, одно слово, — подтвердила старуха.

Все семейство было весело и довольное.

Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали.

Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная сорочка, то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаша; но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко.

Рабочая пора уже началась две недели тому назад, и тяжелая, непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и не усталая, таща быков за веревку и погоняя их длинною хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину

сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной *избушке* с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.

### XXX

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенька, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! спать! — говорила Устенька, укладываясь под арбой. — Стой, — сказала она, вскакивая, — так не ладно.

Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бешметом.

— Ты пусти, — закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу, — разве казакам место с девками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенька вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею.

— Миленький! братец, — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчетливым смехом.

— Видишь, у *дедушки* научилась, — отвечала Марьяна, отбиваясь. — Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шепотом сказала Устенька.

— Что врешь! Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенка не унималась:

— А что я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок.

— Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что знаю.

— Нечего знать, — отвечала Марьяна.

— Ах ты, плут-девка! — сказала Устенка, толкая ее локтем и смеясь. — Ничего не расскажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться, — говорила Устенка, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение. — Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут да работа.

— Что ж, другим и замужем жить хорошо. Все равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, чай. А он какой теперь молодец стал! Первый джигит. Все и в сотне гуляет. Намеднишь приезжал наш Кирка, говорил: коня какого выменял! А все, чай, по тебе скучает. А еще что он говорил? — спросила Марьяну Устенка.

— Все тебе знать надо, — засмеялась Марьяна. — Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.



— Что ж, не пустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень, — серьезно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит, — гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его?

— Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенка вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха.

— Глупая ты дура! — проговорила она, запыхавшись, — счастья себе не хочешь, — и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось! — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. — Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, — слышался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь, — повторила Устенка шепотом и привставая. — А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоём месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка — и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопы есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Что он мне раз сказал, постоялец-то, — проговорила она, перекусывая травинку. — Говорит: я бы хотел казаком Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так, врет, что на ум взбрело, — отвечала Устенка. — Мой чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устенке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал, — проговорила она, помолчав немного, и заснула.

Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенкой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидела за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толкнула Устенку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.

— Вчера я ходил, ни одного не нашел, — говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.

— А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся, — сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы, — весело сказала старуха. — Ну, девки, вставать! — крикнула она.

Марьяна и Устенка шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят монетов Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать, — сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок дам, — сказала старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, — сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи, — в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин. — Я схожу, — и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарывшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» — хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь, — сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?

— А тебе что?

— Мне завидно.

— Легко ли!

— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

— Я не знаю, что готов для тебя сделать...

— Отстань, смола!

Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать, — думал он, — когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать», — думал он.

— Ау! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устенки и ее тонкий смех. — Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высывая из-за листьев свое круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из сада.

### XXXII

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устенки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской *избушке* и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать

знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки*, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать, слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло. Хорунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Чего мне нужно?» — и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжелого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги, взмахивала хвостом, и равномерно шлепало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «Что мне делать?» — и решительно собирался идти спать; но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, вышедшей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросился к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно слышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые, осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались

к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахнуло запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновение при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка, ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину. — Я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назарка говорил очень громко, видимо, нарочно.

— Вишь, ловкий юнкирь какой!

Оленин дрожал и бледнел.

— Поди сюда, сюда! — Он сильно ухватил его за руку и отвел его к своей хате. — Ведь ничего не было, она меня не пустила, и я ничего... Она честная...

— Ну там, разбирать... — сказал Назарка.

— Да я все равно тебе дам... Вот постой!..

Назарка замолчал. Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей.

— Ведь ничего не было, да все равно, я виноват, вот я и даю! Только, ради бога, чтобы никто не знал. Да ничего не было...

— Счастливо оставаться, — смеясь, сказал Назарка и вышел.

Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки — приготовить место для краденной лошади — и, проходя домой по улице, слышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять монетов. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять

провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу.

Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходило. Он без okazji проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

### XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соблезнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и еще, чего доброго, женится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы

выпасть великое счастье стать мужем графини Б\*\*\*, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, — мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света», — воображаю, говорят они обо мне с искренним состраданием. А я только одного и желаю: совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастья, которого я недостоин.

Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидел казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину.



Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее? Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этою женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет душевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь: но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было

в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я? и зачем я? Тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. Восемнадцатого числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче

вернулся домой, увидел ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящей любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньшее желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливают любовь эту в мою душу и говорят: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидел новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнью. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе,

что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей».

#### XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка, — сказала мать.

— Не, я простоголовая. — И она вскочила на печь.

Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым послала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.

— Да что бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце нервно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы, — отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. — Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно: Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался, — сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.

— Да, я его раза два видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал, — сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает, — вдруг сказала Марьяна. — На свои деньги гуляет, — и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, куда она была в хате, потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости: старик, брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенской.

— Здорово дневали? — пропищала Устенка. — Все гуляешь? — обратилась Устенка к Оленину.

— Да, гуляю, — отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко.

Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему: он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой. Потом еще с другим казаком. Потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжеле становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукали, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали. Старуха выгоняла их вон и не давала больше чихиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо.

Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенка побежала домой. Ерощка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибираться в избушке. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату: Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.

— Марьяна! — сказал он. — Неужели ты никогда не жалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь, вино-то что говорит. Ничего тебе не будет!

— Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе. — «Что же это я говорю? — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. — Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу и теперь повторю», — ответил ему внутренний голос. — Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.

— Марьяна! Я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю. — И безумно-нежные слова говорились сами собой.

— Ну, что брешешь, — прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами. — Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? Я все...

— А Лукашку куда денем? — сказала она, смеясь.

Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она, как лань, вскочила, прыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо.

Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадов в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

### XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц собирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами, — больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо их, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками, в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и глаза, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пещали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята, в нарядных белых и новых красных черкесках,

обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостью восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплеывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде в пыли под ногами валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно, бело-матовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидеть Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалине с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услышал за собою девичий хохот.



Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услышал голос Белецкого: «Заходите», — и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка, — говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь. — И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белецкий, выглядывая из окна. — Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устенъке. Надо им бал задать.

— И я приду к Устенъке, — сказал Оленин решительно. — Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белецкий, несколько не удивляясь. — А ведь очень красиво, — прибавил он, указывая на пестрые толпы.

— Да, очень! — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным. — На таких праздниках, — прибавил он, — меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце — все праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да, — сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений. — А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерошке.

Ерошка мигнул Оленину на Белецкого:

— Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белецкий поднял стакан.

— Алла бирды, — сказал он и выпил. (*Алла бирды*, значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— Сау бул (будь здоров), — сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан. — Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно. — Это что за праздник! Ты бы посмотрел, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два

ряда обвешают. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подыметя. Каждая баба как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут, бывало, казаки или верхом сядут, скажут: пойдём хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! королевны!

### XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головой с глянцевиною тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным

набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головой.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь, — отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь, — проговорил старик еще мрачнее.

— Вишь, черт, все знает! — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение; но, взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово дневали, девки! — крикнул он сильным, залившимся голосом, вдруг останавливая лошадь. — Состарились без меня, ведьмы. — И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка! Здорово, батяка! — слышались веселые голоса. — Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видели.

— С Назаркой на ночку погулять прилетели, — отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем, — пропищала Устенка, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и радостью. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и

джигитую между девок. Он нагнулся к Марьяне. — Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

— Ну тебя совсем! Ноги отдавишь, — сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным гауном.

Лукашка обратился к Устенке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жертвую, — сказал он, передавая узелок Устенке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что душишь парнишку-то? — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди. — Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем, — сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорей приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезая у соседнего двора и осторожно проводя коня в плетеные ворота своего двора. — Здорово, Степка! — обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха мать отворила ему дверь.

— Вот не ждала, не гадала, — сказала старуха, — а Кирка сказывал, ты не будешь.

— Принеси чихирьку поди, матушка. Ко мне Назарка придет, *праздник помолим*.

— Сейчас, Лукаша, сейчас, — отвечала старуха. — Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И, захватив ключи, она торопливо пошла в *избушку*.

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

### XXXVII

— Будь здоров, — говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

— Вишь, дело-то, — сказал Назарка, — дедука Бурлак что сказал: «Много ли коней украл?» Видно, знает.

— Колдун! — коротко ответил Лукашка. — Да это что? — прибавил он, встряхнув головой. — Уж они за рекой. Ищи.

— Все неладно.

— А что неладно! Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! — крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово. — На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

— Что ж, долго побудем? — сказал он.

— Дай погуляем! Беги за водкой! На деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.





— Давай еще полведра! — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

— Ну, сказывай, черт, где украл? — прокричал дядя Ерощка. — Молодец! Люблю!

— То-то люблю! — отвечал, смеясь, Лукашка. — Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

— Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! (Старик расхохотался). Уж как просил меня черт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был? — И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

— Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю, — поддакивал он.

— Поехали мы с Гирейкой, — рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) — За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завывали.

— Дураки, — сказал дядя Ерощка. — Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет! Выеду, бывало, на бугор, завою по-бирючиному, вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну что ж, нашли?

— Живо обротали. Назарку было поймали ногайки-бабы, пра!

— Да, поймали, — обиженно сказал вернувшийся Назарка.

— Выехали; опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажется, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

— А ты по звездам бы смотрел, — сказал дядя Ерощка.

— И я говорю, — подхватил Ергушов.

— Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился!



Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю, выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земли... Выскакал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней скоронить. Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой.

— Я и говорю: ловко! А много ль?

— Все тут, — сказал Лукашка, хлопая по карману.

Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

— Пей! — прокричал он.

— Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали... — начал Ерошка.

— Ну, тебя не переслушаешь! — сказал Лукашка. — А, я пойду. — И, допив вино из чапурки и затянув ту же ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

### XXXVIII

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб *избушек* шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худошавая и самая некрасивая из девок запекает:

Из-за лесику, лесу темного,

Ай-да-люли!

Из-за садику, саду зеленого

Вот и шли-прошли два молодца,

Два молодца, да оба холосты.  
Они шли-прошли да становилися,  
Они становилися, разобралися.  
Выходила к ним красна девица,  
Выходила к ним, говорила им:  
Вот кому-нибудь из вас достануся.  
Доставалася да парню белому,  
Парню белому, белокурому.  
Он бере, берет за праву руку.  
Он веде, ведет да вдоль по кругу.  
Всем товарищам порасхвастался:  
«Какова, братцы, хозяюшка!»

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенькая Устенюкка в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенюккой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

— Что вы мне раньше не сказали, — говорил Белецкий, — я бы вам устроил через Устенюку. Вы такой странный!

— Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради бога, устройте, чтоб она пришла к Устенюке.

— Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? — сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождавись ответа, он подошел к Устенюке и

начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели:

Как за садом, за садом  
Ходил, гулял молодец  
Вдоль улицы в конец.  
Он во первый раз иде,  
Машет правою рукой,  
Во другой он раз иде,  
Машет шляпой пуховой,  
А во третий раз иде,  
Останавливаются,  
Останавливаются, переправляются.  
«Я хотел к тебе пойти,  
Тебе, милой, попенять:  
Отчего же, моя милая,  
Ты нейдешь во сад гулять?  
Али ты, моя милая,  
Мною чванишься?  
Опосля, моя милая,  
Успокоишься.  
Зашлю сватать,  
Буду сватать.  
Беру замуж за себя,  
Будешь плакать от меня».  
Уж я знала, что сказать,  
И не смела отвечать.  
Я не смела отвечать,  
Выходила в сад гулять.  
Прихожу я в зелен сад,  
Дружку кланялась.  
«А я, девица, поклон,  
И платочек из рук вон.  
Изволь, милая, принять,  
Во белые руки взять.  
Во белы руки бери,  
Меня, девица, люби.  
Я не знаю, как мне быть,  
Чем мне милую дарить,  
Подарю своей милой  
Большой шалевой платок.  
Я за этот за платок  
Поцелую раз пяток».

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода.

— Что же, выходи какая! — проговорил он.

Девки толкали Марьянку; она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот.

Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

— Митрий Андреич! И ты пришел посмотреть? — сказал он.

— Да, — решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устенке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

— Хорошо, придем.

— И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне.

— Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

— Девки придут, и я приду.

— Скажешь мне, что я просил? — спросил он опять, нагибаясь к ней. — Ты нынче весела.

Она уж уходила от него. Он пошел за ней.

— Скажешь?

— Чего сказать?

— Что я третьего дня спрашивал, — сказал Оленин, нагибаясь к ее уху. — Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

— Скажу, — ответила она, — нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: «Приходи же к Устенке», — отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток», — говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движение и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок закусками.

— На всех жертвую, — говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством. — А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон, — прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устенке.

— *Али ты, моя милая, мною чванишься?* — повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке, — *мною чванишься?* — еще повторил он сердито. — *Пойдешь замуж, будешь плакать от меня,* — прибавил он, обнимая вместе Устенку и Марьяну.

Устенка вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

— Что ж, станете еще водить? — спросил он.

— Как девки хотят, — отвечала Устенка, — а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.

— Не ходи, Машенька, — сказал он, — последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устенке пойду, — сказала Марьяна.

— Ведь все равно женюсь.

— Ладно, — сказала Марьяна, — там видно будет.

— Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет, — укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой. — *Будешь плакать от меня,* — и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: — *Играй, что ль!*

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

— Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка. — Помни ж! — Он подошел к лавке. — Девки! — крикнул он — что стали? Еще хоровод играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белецкого.

— Сейчас придут, — отвечал Белецкий. — Пойдемте, надо приготовить бал.

### XXXIX

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенкой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел: в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удаляющуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному; он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

— Ну тебя! Увидит кто! — сказала Устенка.

— Ничего!

Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались, — сказала Устенка. — Женнисься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенка ни на минуту не

выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.

— Пойдешь за меня? — спрашивал он ее.

— Обманешь, не возьмешь, — отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи ради бога!

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. — Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак, — сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст?

— Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась.

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. «Да, — говорил он сам себе, — только тогда мы пойдем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице...»

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостью вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живее, — говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут, — кричал Лукашка, — в средние ворота ехать надо.

— И то, оттуда ближе, — говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади.

Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки; папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

— Что такое? Куда? — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью



казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большею частью молча. Оружие на казаке всегда приложено так, чтоб оно не звенело и не брэнчало. Брэнчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее осо-

бенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец за-семенил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий — и кабардинец, оскалив зубы и распутив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра лошадь, а не конь, это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь, — подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— Ай, ай, коп абрек! — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».

Никогда не выдавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дядя Ерешки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку

и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдалеке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед.

— Вон конный едет, — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей в их глазах. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька, никак, — сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. — Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

## ХЛІ

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит, — сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидели Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье.

Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Еще застрелят тебя, Андреич, — сказал он. — Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидел он шагах в двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

— Надо арбу взять с сеном, — сказал Лука, — а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы, — их было девять человек, — сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на *ай-да-ла-лай* дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг

песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него оказалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороною. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

— Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! Ана сени! — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки толпились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно: Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

— Марьяна! — сказал он, — а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

— Марьяна! Я пришел...

— Оставь, — сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

— О чем ты? Что ты?

— Что? — повторила она грубым и жестким голосом. — Казаков перебили, вот что.

— Лукашку? — сказал Оленин.

— Уйди, чего тебе надо!

— Марьяна! — сказал Оленин, подходя к ней.

— Никогда ничего тебе от меня не будет.

— Марьяна, не говори, — умолял Оленин.

— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

— Ну, прощай, отец мой, — говорил дядя Ерошка. — Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то всё, как ваш брат оробеет, так к народу и жметя: думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и гелят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

— А в спине-то у тебя пуля сидит, — сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.

— Это казаки баловались, — отвечал Ерошка.

— Как казаки? — спросил Оленин.

— Да так! Пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

— Что ж, больно было? — спросил Оленин. — Ванюша, скоро ли? — прибавил он.

— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак







и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...

— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.

— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай. — И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается, — говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. — Вот к заду перекатилась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить, — сказал Оленин. — Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик. — Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальшь, одна все фальшь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальшь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он *миршился*, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в *избушке* в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что, бишь, я говорил, — продолжал он, — ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно *холком* бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой. — Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеним.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он. — Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:

Мудрено, родимый братец,  
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю, прощай!

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша. — Все мало! Попрошайка старый. Все обстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь. — Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клетки, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!*<sup>1</sup> — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерощка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерощка разговаривал с Марьянкой, видимо о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

<sup>1</sup> Девушка! (франц.)

## ПОЛИКУШКА

### I

— Как изволите приказать, сударыня! Только Дутовых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставит, не миновать ихнему идти, — говорил приказчик, — и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах, в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «Хорошо, хорошо», — на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были, несомненно, назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшего в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то сна никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых», — говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута», — вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович устоялся спокойно, даже прислонился незаметно к притолоке, но храня на лице подобострашие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крякнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время, как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовую речь отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

— Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему все равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, всё в бедности жили. Только-только дождался старик меньшего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности, как о своей, забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

— Да я и не думала, Егор, — прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

— ...А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей несобстоятельности, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала, — не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «добродетель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня.

— Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов, — сказала она, — я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб из-

бавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что, для того чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать всем, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликея я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: апельсиновое или лимонное? «Должно быть, с горечью», — подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня запила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

— Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

— Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не бог: «Ну да все равно, не в том дело», — подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила, — она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

— Что ты, Дуняша?



— Мужик пришел, велел спросить у Егора Михайлыча, прикажут ли дожидаться сходке? — сказала Дуныша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик, — подумала она, — растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

— Так поди, Егор, — сказала барыня, — делай, как лучше.

— Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.)

А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

— Петруша разве не приезжал из города?

— Никак нет-с.

— А Николай не может ли съездить?

— Тятенька от поясницы лежит, — сказала Дуныша.

— Не прикажете ли мне самому завтра съездить? — спросил приказчик.

— Нет, ты здесь нужен, Егср. (Барыня задумалась.) Сколько денег?

— Четыреста шестьдесят два рубля-с.

— Поликее пошли, — сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.

— Слушаю-с.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с, — и Егор Михайлович пошел в контору.

## II

Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и угол у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. Углы еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом

и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим — взлезая на печку, где было до сорока градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к этим пустыкам привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что, — все у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как

говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и нетрудно все достается и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за все разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работающая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей все своего промысла не оставлял, и все шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем все навыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, говорит, человек, что мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять», — рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! — говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала невеселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшнем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то, что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спускать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легкости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом под брюхом дворниковой лошади передернул покровку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купорссом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на

голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликеея и его тонкие, засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, — мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликеея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю* и т. п., разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? *Wage du zu irren und zu träumen!*<sup>1</sup> — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

### III

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликеей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликеей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати. один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликеея пустым коновалом и пустым человеком. Дру-

<sup>1</sup> Дерзай заблуждаться и мечтать! (нем.)

гне, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то, что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его, несомненно, первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это, — говорил он, — не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет», — сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказа; но, увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами: «Вишь, дошлый! Откуда берется!» — подумала она и опять принялась пряхсть. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

— Анютка, — крикнула она, — видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

— Натe, тятенька, — сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

— Сто толкается, — пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

— Я вас! — проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

— Три целковых даст, — проговорил Поликей, затыкая бутылку, — вылечу лошадь. Еще дешево, — прибавил он. — Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью

человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка — так звали девочку — всегда летала, как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались, как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

— Барыня велела Поликее Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупу ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обычною быстротой замотались поперек линии ее бега.

Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

— Ильич, рубаху переменять не станешь?

— Не, — сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плакси-

вое, покорное и глубоко несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

— Что, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? — раздался голос столярной жены из-за перегородки.

Столярная жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней разлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликею зовут к барыне: должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так по крайней мере она сама про себя думала.

— Должно быть, в город за покупками хотят послать, — продолжала она. — Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, столярной жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярную жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

— Мамуска, ты меня сплюсила, — проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

— Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! — прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столярной жене, не забывшей еще про утренний щелок.

#### IV

Прошло полчаса. Ребенок закричал. Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла



замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столярной жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

— Ну что? Зачем звала?

— Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

— Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

— К купцу за деньгами велела ехать.

— Деньги везть? — спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

— Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечанье, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит, вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу все изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я все могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаслю, что шелковый станет.

— И много денег? — спросила еще Акулина.

— Три полтысячи рублей, — небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

— Когда ехать?

— Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь какую хочешь, зайди в контору и ступай с богом.

— Слава тебе, господи! — сказала Акулина, вставая и крестясь. — Помоги тебе бог, Ильич, — прибавила она шепотом, чтобы не слышали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи. — Ильич, слушай меня, Христом-богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

— А то пить стану, с такими деньгами ехамши! — фыркнул он. — Уж как там в фортепьян играл кто-то ловко, беда! — прибавил он, помолчав и усмехаясь. — Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

## V

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все сделать тихо, мирно, без спору, без крику, — думала она, — по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и напал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он выступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и, захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре в *коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачили и его бы сравнивали с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова, но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, все время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный; был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен и со всей высоты своего роста, всею силой своего звучного голоса и ораторского таланта да-

вил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четверугольной головой и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один с добродушнойшею рожей и окладистою русою бородой, Храпков, все приговаривавший: «Друг ты мой любезный», — и другой, маленький, с птичьей рожницей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «Выходит, братцы мои», — обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чеканения языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роше вырезки накладывать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцевитым лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого

не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывал на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

— Так-то и мой дед в солдатах был, — говорил Резун, — так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михенчева забрали, а его дядя еще домой не приходил.

— У тебя ни отец, ни дядя царю не служили, — в одно и то же время говорил Дутлов, — да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделались. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по-божьему, мир православный, а не так, что пьяный сбрешет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

— Ты на брата указываешь, а его не миром сдали, а за его беспутство господи отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

— То-то господи отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот те и закон, — сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: «Вот так так!» — и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.

— И точно, мир православный, — говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова, — надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

— Надо по совести судить, друг ты мой любезный, — говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп, — на то господская воля была, а не мирское решение.

— Верно! Вон оно что! — говорили другие.

— Кто пьяный брешет? — возражал Резун. — Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что, братцы, надо решенье сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

— Дутлову идти! Что говорить!

— Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать, — заговорили голоса.

— Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели, — сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро он опять загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе и стал спрашивать:

— Кто украл?

— Ты украл, — смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

— Кто украл? не ты ли? — кричал Резун.

— Нет, ты! — кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденной лошади, до мешка с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать по крайней мере на поселенье.

Дутлов-старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят», — а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделились. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив борсду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не хсдят, что теперь не одиноких же отдавать статью.

— Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить вконец? — слышались голоса деленных, и болтуны пристали к этим голосам.

— А ты купи рекрута, коли не любс. Осилишь! — сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков.

— Ты мои деньги сосчитал, видно, — проговорил он злобно. — Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

## VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и по-

немногу, понемногу, затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командуя над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

— Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему, два с половиной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.

— Известно! Это дело! — сказали голоса.

— По моему суждению, — продолжал Егор Михайлович, — Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти, — это уж сам бог велел.

— Так точно, верно, — сказали голоса.

— Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

— Дутлову, — заговорили голоса, — Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу — начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора вередей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрепанной шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

— Мой, что ль? Покажь сюда, — сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принести к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что все кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на



уходивших. Когда молодежь Дутловы прошли за угол, он подозвал к себе старика, который сам остановился и вошел с ним в контору.

— Жалко мне тебя, старик, — сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом, — на тебе черед. Не купишь за племянника или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

— Не миновать, — ответил Егор Михайлович на его взгляд.

— И ради бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

— Эх, старый, не грехи, — сказал он, — а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких чептыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

— В губернии? — спросил Дутлов, под губерней разумея город.

— Что ж, купишь?

— И рад бы, вот перед богом, да...

Егор Михайлович строго перервал его:

— Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришлю, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели что, избави бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

— Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно, — сказал он, помолчав, — как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? — заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

— Ну, ступай, ступай, — сказал Егор Михайлович, — ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигера» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик ездил), запряженная ширококостым гнедым меринном, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издавела, с видимым страхом, держа его одною рукою за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В углу происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время и стряпню в печи и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери, — Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надевая ей на голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе — той иголок, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку, и сахарцу столяровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальной иглой дыру,

хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана, — кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти все одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и тухли, и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «пlokатили и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятился.

Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже, — он едет теперь получать *сумму* денег, и большую сумму, и барыня ему

доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременной упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный челсвек, как только бы поглядел вблизи на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, ни от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублей. Но Ильич так не думал, он заблуждался, и приятно заблуждался. Три полтысячи рублей повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поравнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то, что у него были деньги, данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпрег, приставил к сему лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру.

Ни полпивная, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, шапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее и, наконец, со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублей уступил», — сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «Со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже построгал острые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и щупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно, — так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

## VIII

Около полуночи и купцовы работники и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского.

Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

— Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? — спросил староста.

— Ужинать, — отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке. — Посылай за водкой.

— Будет те водки-то, — отвечал староста мельком и снова обратился к другим. — Так хлеба закусите, ребята. Что народ будить?

— Водки дай, — повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». Вдруг он увидел Поликея.

— Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты уекли. Поставь водки.

— Денег нет, — отвечал Поликей. — Еще, бог даст, затылок, — прибавил Поликей, утешая.

— Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж каксй мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дехтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился:

— Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу оста-

ваться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так, ни за что погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра придут.

— Да что же вас так рано привезли? — спросил Поликей. — То ничего не слышать было, а то вдруг...

— Вишь, бояться, чтоб я над собой чего не сделал, — отвечал Илюшка, улыбаясь. — Небошь, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили? — говорил он тихо и грустно.

Дверь отворилась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

— Афанасий, — сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику, — нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк аккуратно подпоясан; точно он с обозом приехал: так обычно просто, мирно и озабоченно хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

— Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

— Какое теперь вино? — отвечал староста, хлебая из чашки. — Видишь, люди поели, да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

— Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

— Хоть бы ты его урезонил, — обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболезнаванием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

— Вина дай, беду наделаю.

— Брось, Илья! — сказал староста кротко, — право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

— Не хотите слушать, вот вам! — и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясался, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, казалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатым кулаком к Дутлову.

— Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты с своими сыновьями-разбойниками, ты загубил меня. Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; все его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него.

— Братнину кровь пьешь, кровопийца!

Что-то сверкнуло на вечно-спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед.

— Не хотел добром, — проговорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился, — встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.

— Говорил, хуже будет, — сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясок рубахи, — что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк, — прибавил он, обращаясь к дворнику, — а то голова затечет, —



и сам взял фонарь, подпоясался веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутою рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекол и утыкал в окно полушубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

— Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже женатый; не миновать, видно.

— От злодея дяди погибаю, — повторил Илья с сухою злобой. — Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?.. Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

— Разе не жалко? Брата рóдного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним изделали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малого-то!..

— Ох, малый хорош! — сказал староста.

— Да мочи мсей с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

— Присылай-ка, ладно, — сказал староста, встал и полез на печку. — Что деньги? Деньги прах.

— Были бы деньги, кто бы пожалел? — проговорил купеческий работник, поднимая голову.

— Эх, деньги, деньги! Много греха от них, — отзывался Дутлов. — Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в писании сказано.

— Все сказано, — повторил дворник. — Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собой в гроб положить. Не догадались так.

Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что, должно, в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушечке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно, что деньги-то делают.

— Известно, греха много, — сказал Дутлов, встал и начал молиться богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

## IX

Как только все затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уж перекалились чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запряг его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то все почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха мороз пробежал у него по спине, и он все потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога; Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху? — думал он, — еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху, а вниз из подкладки не выскочит. И сымать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте навывнос выскочил в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Все было в порядке; по крайней мере ему так казалось, и он

предался мечтаниям о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовывать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стучаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове; он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигер», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «Ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...», а может, и пять, а может, и десять целковых, и велит еще чаю поднести ему, а може, и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал.. Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнул еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрее, еще быстрее, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь.. Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

— Батюшки! Да что же это?! Что все это будет! — заревел он, схватив себя за волосы.

Но, тут же вспомнив, что его могут увидеть, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем, — должен был думать Барабан. — Один раз в жизни он накормил и напоил меня вовремя, и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня. Как я старался бежать домой! Устал, а тут только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

— Ну, ты, одер чертовский! — сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом.

## Х

Целый этот день никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал или что с лошадьёю что-нибудь случилось. «Не захромала ли? — говорила она. — Прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя, — но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столярова жена уверяла, как она сама видела: «Человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Аня и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность хоть поочередно выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома, в одних платьях, делать круги с усиленною быстротой, чем не мало стесняли всех жителей *флигера*, входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столяровой жены, несшей воду, и, хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку.

Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «Не приезжал ли Поликей и где он может быть?» — улыбнулся, отвечая: «Не могу знать», — и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать», — сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «Не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал, — говорил этот человек, — что пьяный, и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина не спала всю ночь, все прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи и столярова жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлеба вынуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платье и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принести и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея все не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издалека было и слышно и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печеньем лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом розовом ситцевом, но мятом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и колело глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с

кульком. «Тяженька плиехали», — завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала се. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю!» — и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобрать.

— Что, Ильич, благополучно? — спросила она от печи.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

— Ась? — крикнула она. — Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

— А, Ильич? Что долго? — раздался голос Акулины.

— Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! — сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

— Что ты, Ильич, как будто не по себе? — сказала Акулина.

— Не спал, — отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновение, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

— Барыня велела Поликею Ильичу прийти сею минутою, — сказала она. — Сею минутою велела Авдотья Миколавна... сею минутою.

Поликей посмотрел на Акулину, на девочку.

— Сейчас! Чего еще надо? — сказал он так просто, что Акулина успокоилась: может, наградить хочет. — Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, по-

ставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и попробовала воду.

— Иди, Машка, вымою.

Сердитая, суюсюкающая девочка заревела.

— Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну, ломайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликей между тем пошел не за верховую девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице.

— Что-то такое значит, что Поликей не приходит, — сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дуняше, которая чесала ей голову, — где Поликей? Отчего он не идет?

Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы и потребовала Ильича к барыне.

— Да он пошел давно, — отвечала Акулина, которая, вымыв Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосики. Мальчик кричал, морщился и старался поймать что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукой его пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку, а другою мыла его.

— Посмотри, не заснул ли он где, — сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесаная, с распахнутою грудью, поддерживая юбки, входила на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее котом, чем бегом, слетела с лестницы.

— Ильич! — крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

— Удавился! — проревела столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек, перекатился навзничь и, задрав ножонки, головой окунулся в воду, выбежала в сени,

— На балке... висит, — проговорила столярова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убилась бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее.

## XI

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столяр и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столярова жена в двадцатый раз рассказала, «как она, ничего не думавши, пошла за пелеринкой, глянула этаким манером: вижу, человек стоит, посмотрела: шапка подле вывернута лежит. Глядь, а ноги качаются. Так меня холодом и обдало. Легко ли, повесился человек, и я это видеть должна! Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня бог спас. Истинно, господь помиловал. Легко ли! И кручь и высота какая! Так бы до смерти и убились».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубахе и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывернутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подле. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина пришла в себя и рванулась опять на лестницу, но ее не пустили.

— Мамуска, Семка захлебнулся, — вдруг запищала сюсюкающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребенок, не шевелясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеявшаяся, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валил в угол с воем и плачем. Ребенка вынесли, стали



оттирать; но все было напрасно. Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только теперь, увидав эту разнородную толпу женатых, стариков, детей, столпившихся в сенях, можно было понять, какая бездна и какой народ жил в дворовом *флигере*. Все суетились, все говорили, многие плакали, и никто ничего не делал. Столярова жена все еще находила людей, не слышавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чувства были поражены неожиданным видом и как бог спас ее от падения с лестницы. Старичок буфетчик в женской кацавейке рассказывал, как при покойном барине женщина в пруду утопилась. Приказчик отправил к становому и к священнику послов и назначил караул. Верховая девушка Аксютка с выкаченными глазами все смотрела в дыру на чердак и, хотя ничего там не видала, не могла оторваться и пойти к барыне. Агафья Михайловна, бывшая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своими практичными, пухлыми и пропитанными деревянным маслом руками укладывала маленького покойника на столик. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взглядывали на мать и принимались реветь, потом замолкали, опять взглядывали и еще пуще жались. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами смотрели в двери и в окна, ничего не видя и не понимая и спрашивая друг у друга, в чем дело. Один говорил, что столяр своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что прачка родила тройню. Третий говорил, что поварова кошка взбесилась и перекусила народ. Но истина понемногу распространялась и, наконец, достигла ушей барыни. И, кажется, даже не сумели приготовить ее: грубый Егор прямо доложил ей и так расстроил нервы барыни, что она долго после не могла оправиться. Толпа уже начинала успокоиваться; столярова жена поставила самовар и заварила чай, причем посторонние, не получая приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело, и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «Барыня, ба-

рыня!» — и все опять столпились и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хотели видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол. Десятки голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она запищала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выгадала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых все равно, что бенгальский огонь в конце представления. Уж значит хорошо, коли бенгальский огонь зажгли, и уж значит хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла ее за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

— Акулина! — сказала барыня. — У тебя дети, пожалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

— У меня дети всё серебряные, всё серебряные... Я бумажек не держу, — забормотала она скороговоркой. — Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вст тебя и подмазали, подмазали дегтем. Дегтем с мылом, сударыня. Какие бы парши ни были, сейчас соскочут. — И опять она захохотала еще пуше.

Барыня обернулась и потребовала фершела с горчицей. «Воды холодной дайте», — и она стала сама искать воды; но, увидав мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было все это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не видала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней сделалась нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было», — подумали многие и стали расходиться. Акулина все хохотала и говорила вздор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горчи-

никами, льду приложили к голове; но она все так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухаживали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

## XII

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; девки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонию, ни в балалайки и с девушками не играли. Все сидели по углам, и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем все еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завывали собаки, и тут же на беду поднялся ветер и завывал в трубы, и такой страх нашел на всех жителей двора, что у кого были свечи, те зажгли их перед образом; кто был один в *угле*, пошел к соседям проситься ночевать, где полуднее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожалел оставить скотину без корму на эту ночь. И святую воду, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то все ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак. В Поликеевом *угле* никого не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал, да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь, не над младенцем, а так, по случаю всего этого несчастья. Так пожелала барыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: «Да воскреснет бог», — опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях на сене и потом уве-

ряли, что слышали тоже чудеса на чердаке, хотя в самую эту ночь препокойно беседовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чесались и, главнсе, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что столярова жена, проходя мимо их, сплонула и обругала их мужичьем. Как бы то ни было, удавленник все висел на чердаке, и как будто сам злой дух осенил в эту ночь *флигерь* огромным крылом, показав свою власть и ближе, чем когда-либо, став к этим людям. По крайней мере все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знамением, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столяровой женою пелеринки, — добрался до Ильича, и ежели бы, не поддавшись чувству страха, поднял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худощавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшееся набок, с расстегнутым воротом рубахи, под которою не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, невидящими глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столярова жена, прижавшись в углу своей кровати, с растрепанными волосами и испуганными глазами, рассказывающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верху*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флигере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Дуняша грела желтый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до нездоровья. К Дуняше для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

— Кто же за маслом пойдет? — сказала Дуняша.

— Ни за что, Авдотья Миколавна, не пойду, — решительно отвечала вторая девушка.

— Полно; с Аксюткой вместе поди.

— Я одна сбегаю, я ничего не боюсь, — сказала Аксютка, но тут же заробела.

— Ну пооди, умница, спроси у бабушки Анны, в стакане, и принеси, не расплескай, — сказала ей Дуняша.

Аксютка подобрала одною рукой подол, и хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, замачала одною вдвое сильнее, поперек линии своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что, ежели бы она увидала или услышала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой тропинке.

### ХІІІ

«Барыня спит али нет?» — спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкый голос. Она открыла глаза, которые прежде были зажмурены, и увидала чью-то фигуру, которая, показалось ей, была выше *флигера*; она взвизгнула и понеслась назад, так что ее юбка не поспевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим в девичьей и с диким воплем бросилась на постель. Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и нерешительные шаги послышались в сенях и у двери. Дуняша бросилась к барыне, уронив спуск; вторая горничная спряталась за юбки, висевшие на стене; тетка, более решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату. Это был Дутлов в своих лодках. Не обращая внимания на страх девушек, он поискал глазами иконы и, не найдя маленького образа, висевшего в левом углу, перекрестился на шкафчик с чашками, положил шапку на окно и, засунув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Дуняшина тетка схватилась за грудь... Насилу она выговорила:

— Перепугал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

— Можно ли так? — проговорила вторая девушка, высовываясь из-за юбок.

— И барыню даже встревожили, — сказала Дуняша, выходя из двери, — что лезешь на девичье крыльцо не спросимши? Настоящий мужик!

Дутлов, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

— Она нездорова, — сказала Дуняша.

В это время Аксютка фыркнула таким неприлично-громким смехом, что опять должна была спрятать голову в подушки постели, из которых она целый час, несмотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепугались, — и она опять прятала голову и, будто в конвульсиях, елозила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но, не разобрав, в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

— Значит, как есть, очень важное дело, — сказал он, — только скажите, что мужик письмо с деньгами нашел.

— Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и расспросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезть из города. Разузнав все подробно и вытолкнув в сени бегунью, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к удивлению Дутлова, барыня все-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

— Ничего не знаю и не хочу знать, — сказала барыня, — какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

— Что же я буду делать? — сказал Дутлов, поворачивая конверт. — Деньги не маленькие. Написано-то что на них? — спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто все что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще.

Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

— Видно, становому отдать, — сказал он.

— Постой, я еще попытаюсь, скажу, — остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика. — Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

— Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.

— Да дай сюда.

— Я было думал, так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.

— Да давай же.

— Я и не посмел домой заходить для того... — опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом, — так и доложите.

Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне.

— Ах, боже мой, Дуняша! — сказала барыня укорительным голосом, — не говори мне про эти деньги. Как я вспомню только этого малюточку...

— Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать, — опять сказала Дуняша.

Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, и задумалась.

— Страшные деньги, сколько зла они делают! — сказала она.

— Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему идти или изволите выйти к нему? Целы ли еще деньги-то? — спросила Дуняша.

— Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Что они наделали! Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет, — сказала вдруг барыня, отыскивая руку Дуняши. — Да, да, да, — повторила барыня удивленной Дуняше, — пускай совсем возьмет себе и делает, что хочет.

— Полторы тысячи рублей, — заметила Дуняша, слегка улыбаясь, как с ребенком.

— Пускай возьмет всё, — нетерпеливо повторила барыня. — Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!

Дуняша вышла в девичью.

— Все ли? — спросил Дутлов.

— Да уж ты сам сосчитай, — сказала Дуняша, подавая ему конверт, — тебе велено отдать.

Дутлов положил шапку под мышку и, пригнувшись, стал считать.

— Счетов нету?

Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.

— Дома сосчитаешь! Тебе! твои деньги! — сказала Дуняша сердито. — Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.

Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.

Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.

— Матушки родимые! Вот дал бог счастья! Матушки родные!

Вторая горничная не поверила:

— Что вы, Авдотья Николаевна, шутите?

— Вот те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги, да и ступай, — сказала Дуняша, не скрывая досады. — Кому горе, а кому счастье.

— Шутка ли, полторы тысячи рублей, — сказала тетка.

— Больше, — подтвердила Дуняша. — Ну, свечку поставишь десятикопеечную Миколу, — говорила Дуняша насмешливо. — Что, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.

Дутлов наконец понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он все взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.

— Вишь, не опомнится — рад, — сказала Дуняша, показывая, что она все-таки презирает и мужика и деньги. — Дай я тебе уложу.

И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку,

— Рад?

— И не знаю, что сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнулся, чуть не заплакал и вышел.



Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

— Что, отдала?

— Отдала.

— Что же, очень рад?

— Совсем как сумасшедший стал.

— Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел.

Позови сюда, я не могу выйти.

Дуняша побежала и застала мужика в сених. Он, надевая шапки, вытянул кошель и, перегнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошелье, они не его. Когда Дуняша позвала его, он испугался.

— Что, Авдотья... Авдотья Миколавна. Али назад отобрать хочет? Хоть бы вы заступились, ей-богу, а я медку вам принесу.

— То-то! Приносил.

Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то, как по высокой траве, подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и все представлялось ему в тумане.

— Это ты, Дутлов?

— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал, — сказал он. — Я не рад, как перед богом! Как лошадь замучил...

— Ну, твое счастье, — сказала она с презрительно-доброю улыбкой. — Возьми, возьми себе.

Он только таращил глаза.

— Я рада, что тебе досталось. Дай бог, чтобы впрок пошло! Что же, ты рад?

— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Все за вас богу молить буду. Я уж так рад, что слава богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

— Как же ты нашел?





— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

— Уж он совсем запутался, сударыня, — сказала Дуняша.

— Возил рекрута-племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

— Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.

— Так рад, матушка!.. — говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то все казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут...

#### XIV

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный, колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.

— А, дядя Семен, — радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, свезли рекрутов, дядюшка?

— Свезли. Ты что?

— Да тут Ильича удушенного караулить поставили.

— А он где?

— Вот, на чердаке, говорят, висит, — отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидал, поморщился, прищурился и покачал головой.

— Становой приехал, — сказал Ефимка, — сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью,

дядюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велят идти наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михальч, не пойду.

— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов, видимо, для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел идти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.

— Эй, караульщик, поди сюда, — кричал Егор Михайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

— Да кто еще там с тобой мужик стоял?

— Дутлов.

— И ты, Семен, иди.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

— Вот и старик с нами пойдет, — сказал Егор Михайлович, увидав его.

Старика покорило; но делать было нечего.

— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправь, чтоб их благородию пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах и был только что жестоко распечен исправником за пьянство и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удушенника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михальча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подробностях.

«Ну, пропали деньги», — подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.

— Вот счастье сиволапому! — сказал он.

— Ему на руку, — сказал Егор Михайлович, — он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.

— А! — сказал становой и пошел вперед.

— Выкупишь, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.

— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь, и не время.

— Как знаешь, — сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.

— Где? — спросил становой.

— Здесь, — шепотом сказал Егор Михайлович. — Ефимка, — прибавил он, — ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он с веселым лицом полез вперед, только оглядываясь и освещая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив уж одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

— Дядя! тебя зовет! — крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частию за балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Поликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

— Поверни-ка его, ребята, — сказал становой.

Никто не тронулся.

— Ефимка, ты малый молодой, — сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через балку и, перевернув Ильича, стал подле, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку и готовый исполнить все желания зрителей.

— Еще поверни.

Ильич еще повернулся, замахал слегка руками и поволок ногой по песку.

— Берись, снимай.

— Отрубить прикажете, Василий Борисович? — сказал Егор Михайлович. — Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раза два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей тушей. Наконец отрубили веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра приедет лекарь, и отпустил народ.

## XV

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но по мере того как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внуки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грязной, непраздничной рубахе, простоволосая, сидела на лавке и выла. Она не вышла отворить дяде, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то, что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собрала ужинать мужу. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» — сказал он. Аксинья встала и, прилегши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помолвившись богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со старухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами, наконец стукнул крышкой сундука и полез в подполье. Долго возился он в чулане и в подполье. Когда он вошел, в избе уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная,

уже завалилась на полати и храпела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полез на печку и лег рядом с мальчиком-внучком. В темноте он покидал сверху лапти и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислушиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, храпению, чесанью нога об ногу и к звукам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Аксинью и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, — видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые он употребил на пагубу Ильича. По крайней мере Дутлов чувствовал его тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиньи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. «Что это, или уж староста повешать идет?» — подумал он. «Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях. — Или старуха не заложила, как выходила в сенцы?» Собака завыла на задворке, а он шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять он стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был он. Он хотел сотворить крест, но не мог. Он подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик узнал, что он был в Ильичовом образе.



Он оскалаялся, руки болтались. Он взлез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги, — выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду, — хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его всею тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что, ежели он прочтет молитву, он отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал: дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет бог», — проговорил Дутлов. Он отпустил немного. «И расточатся врази...» — шамкал Дутлов. Он сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул он обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал все подряд. Он пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Все опять затихло. Дед лежал не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. Он слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал закричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она прыгнула на мягкие лапки с печки на землю и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что хозяин приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял его на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят, — сказал он, — в город поеду», — и, зажегши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел оттуда. Ребята встали и уже собирались. Бабы входили и выходили с ведрами и с шайками молока. Игнат запрягал телегу. Второй сын мазал другую. Молодайка уже не выла, но, убравшись и

повязавшись платком, сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не сказал ни одного слова, надел новый кафтан, подпоясался и, со всеми Ильичовыми деньгами за пазухой, пошел к Егору Михайловичу.

— Ты у меня копейся! — крикнул он на Игната, вертевшего колеса на поднятой и смазанной оси. — Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик, только что встав, пил чай и сам собирался в город ставить рекрут.

— Что ты? — спросил он.

— Я, Егор Михалыч, малого выкупить хочу. Уж сделайте милость. Вы намедни говорили, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

— Что ж, передумал?

— Передумал, Егор Михалыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, все жалко. Греха от них много, от денег от этих. Уж сделай милость научи, — говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях, глубокомысленно и молча чмокал долго губами и, обсудив дело, написал две записки и рассказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодайка уже уехала с Игнатом, и чалая брюхастая кобыла, совсем запряженная, стояла под воротами. Он выломил хворостину из забора; запахнувшись, уселся в ящик и погнал лошадь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало все брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты и чертовы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех походов Дутлова в это утро; скажу только, что ему особенно повезло. У хозяина, которому Егор Михайлович дал записку, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в палате. Хозяин хотел взять за него четыреста, а покупатель, мещанин, ходивший уже третью неделю, все просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с двух слов. «Три-

ста с четвертною возьмешь?» — сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще надбавить. Хозяин оттягивал руку и продолжал просить четверста. «Не возьмешь с четвертной?» — повторил Дутлов, схватывая левою рукой правую руку хозяина и угрожая хлопнуть по ней своею правою. «Не возьмешь? Ну, бог с тобой!» — вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. «Видно, так и быть! Бери с полсотней. Выправляй фитанец. Веди малого-то. А теперь на задатку. Две красненьких будет, что ль?»

И Дутлов распоясывался и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но все еще как будто бы не совсем соглашался и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и угощение охотнику.

— Не грехи, — повторял Дутлов, суя ему деньги, — умирать будем, — повторял он таким кротким, поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

— Нечего делать, — еще раз ударил по руке и стал молиться богу. — Дай бог час, — сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был весел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заробел только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, когс-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубокомысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда скончить дело нынче была оставлена, и охотник начинал было опять становиться веселее и развязнее, как Дутлов увидал Егора Михайловича, тотчас же вцепился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общею почему-то веселостью, начиная от сторожей до председателя, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять ми-

нут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, прошившись с хозяином и охотником, пошел на квартиру к купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодой сидели в углу купцово́й кухни, и как только вошел старик, они перестали говорить и уставились на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда, старик помолился богу, распоясался, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшкину мать, которая была на дворе.

— Ты не грехи, Илюха, — сказал он, подходя к племяннику. — Вечор ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалею? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал счастья, я не пожалел. Вот она, бумага-то, — сказал он, кладя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кривыми, неразгибающимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купцовы работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

— Вот она, бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная, что сказать. Губы его вздрагивали от волнения; старуха мать подошла было к нему, всхлипывая, и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее руку и продолжал говорить:

— Ты мне вчера одно слово сказал, — повторил еще раз старик, — ты меня этим словом как ножом в сердце пырнул. Твой отец мне тебя, умираючи, приказывал, ты мне заместо сына родного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные? — обратился он к стоявшим вокруг мужикам. — Вот и матушка твоя родная тут и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, с деньгами! А меня простите, Христа ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не прежде, как дотронувшись головою до земли, он встал и, отряхнувшись, сел на лавку. Илюшкина мать и молодая выли от

радости; в толпе слышались голоса одобрения. «По правде, по-божьему, так-то», — говорил один. «Что деньги? За деньги малого не купишь», — говорил другой. «Радость-то какая, — говорил третий, — справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалою кобылой с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки котелок и калачи. Во второй телеге, которую никто не правил, степенно и счастливо сидели молодайка с свекровью, обвязанные платочками. Молодайка держала под занавеской штофчик. Илюшка, скорчившись, задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трёсся на передке, закусывая калачом и не переставая разговаривать. И голоса, и гром телег по мостовой, и пофыркиванье лошадей — все сливалось в один веселый звук. Лошади, помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балалайку; другой, без шапки, со штофом водки в одной руке, плясал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плясавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивившаяся на него публика все увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрее становить одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал бала-

лаечнику, и тот еще бойчее начинал дребезжать всеми струнами и даже постукивать по крышке костяшками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он все, казалось, плясал. Вдруг он начинал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг взвился кверху, с разлету садился на корточки и с диким визгом пускался вприсядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужчины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле пляшущего с видом, говорившим: «Вам это в диковинку, а нам уже все это коротко знакомо». Балалаечник, видимо, устал, лениво оглянувшись, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

— Эй! Алеха! — сказал балалаечник плясавшему, указывая на Дутлова. — Вон крестный-то!

— Где? Друг ты мой любезный! — закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падая наперед и подымая над головою штоф водки, подвинулся к телеге.

— Мишка! Стакан! — закричал он. — Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-то, право!.. — вскричал он, заваливаясь пьяною головою в телегу, и начал угощать мужиков и баб водкою. Мужики выпили, бабы отказывались. — Родные вы мои, чем мне вас одарить? — восклицал Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидел ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

— Небось, заплачу-у-у, черт! — завопил он плачущим голосом и тут же, вытащив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

— Матушка-то которая? — спросил он. — Ты, что ль? И ей пожертвую.

Он задумался на мгновение и полез в карман, достал новый сложенный платок, полотенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красный платок, скомкал все и сунул в колени старухе.

— На тебе, жертвую, — сказал он голосом, который становился все тише и тише.

— Зачем? Спасибо, родной! Вишь, прѳстый малый какой, — говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подошедшему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовелый, как будто засыпая, поникал все ниже и ниже головой.

— За вас иду, за вас погибаю! — проговорил он. — За то вас и дарую.

— Я чай, тоже матушка есть, — сказал кто-то из толпы. — Прѳстый малый какой! Беда!

Алеха поднял голову.

— Матушка есть, — сказал он. — Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая, — прибавил он, хватая Илюшкину старуху за руку. — Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Никонову, она самая моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, колодезь новый... скажи ты ей, что Алеха, сын твой... значит... Музыкан! Валяй! — крикнул он.

И он опять стал плясать, приговаривая, и швырнул об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

— Прощай, дай бог тебе!.. — проговорила старуха, запахивая шубу.

Алеха вдруг остановился.

— Поезжайте вы к дьяволу, — закричал он, угрожая стиснутыми кулаками. — Чтоб твоей матери...

— Ох, господи! — проговорила, крестясь, Илюшкина мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали. Алексей-рекрут стоял посредине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что было мочи.

— Что стали? Пошел! Дьяволы, людоеды! — кричал он. — Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял, со всех ног ударился оземь.

Скоро Дутловы выехали в поле и, оглядываясь, уже не видали толпы рекрут. Проехав верст пять шагом,

Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул старик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Вдвоем выпили они штофчик, взятый из города. Немного погодя Илья запел песни, бабы подтянули ему. Игнат весело покрикивал на лошадей в лад песни. Быстро навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко крикнул на лошадей, поравнявшись с двумя веселыми телегами; почтальон оглянулся и подмигнул на красные лица мужиков и баб, с веселою песней трясащихся в телеге.



## ДЕКАБРИСТЫ

*Роман*

### Глава I

Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время — время цивилизации, прогресса, *вопросов*, возрождения России и т. д., и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги. Это было в то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе и чувствительнейшую для отечества потерю двух великих людей, погибших во время войны (одного, увлекшегося желанием как можно скорее отслужить молебен в упомянутом соборе и павшего в полях Валахии, но зато и оставившего в тех же полях два эскадрона гусар, и другого, неоцененного человека, раздававшего чай, чужие деньги и простыни раненым и не кравшего ни того, ни другого); в то время, когда со всех сторон, во всех отраслях человеческой деятельности, в России, как грибы, вырастали великие люди — полководцы, администраторы, экономисты, писатели,

ораторы и просто великие люди без особого призвания и цели. В то время, когда на юбилее московского актера упроченное тостом явилось общественное мнение, начавшее карать всех преступников; когда грозные комиссии из Петербурга поскакали на юг ловить, обличать и казнить комиссариатских злодеев; когда во всех городах задавали с речами обеды сева­стопольским героям и им же, с оторванными руками и ногами, подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах; в то время, когда ораторские таланты так быстро развились в народе, что один целовальник везде и при всяком случае писал и печатал и наизусть сказывал на обедах речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укротительные меры против красноречия целовальника; когда в самом аглицком клубе от­вели особую комнату для обсуждения общественных дел; когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами, — журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерцанием; когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и «Звезда», и «Орел», и много других, и, несмотря на то, все являлись еще новые и новые названия; в то время, когда появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей, художников, описывающих ро­щу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников; в то время, когда со всех сторон появились *вопросы* (как называли в пятьдесят шестом году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эманципационный и много других; все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все

россияне, как один человек, находились в неопisanном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в двенадцатом году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в пятьдесят шестом году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное время возрождения русского народа! Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и, для того чтоб узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время. Но не в том дело.

В это самое время два возка и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы. Молодой человек вбежал в двери узнать о квартире. Старик сидел в возке с двумя дамами и говорил о том, каков был Кузнецкий мост при французе. Это было продолжение разговора, начавшегося при въезде в Москву, и теперь старик с белой бородой, в распахнутой шубе, спокойно продолжал свою беседу в возке так, как будто он намеревался ночевать в нем. Жена и дочь слушали, но поглядывали на дверь не без нетерпения. Молодой человек вышел из двери с швейцаром и нумерным.

— Ну что, Сергей? — спросила мать, выставляя на свет фонаря свое изнуренное лицо.

Потому ли, что это была его привычка, или для того, чтоб швейцар не принял его по полушубку за лакея, Сергей ответил по-французски, что есть комнаты, и отворил двери. Старик взглянул на мгновение на сына и снова обратился в темную глубь возка, как будто остальное до него не касалось:

— Театра еще не было.

— Пьер! — сказала жена, подбирая салоп, но он продолжал:

— Madame Шальме была на Тверской...

В глубине возка раздался молодой, звонкий смех.

— Папа, выходи — ты так заговорился.

Старик как будто теперь только хватился, что они приехали, и оглянулся.

— Выходи же.

Он надвинул шапку и покорно полез из двери. Швейцар принял его под руку, но, убедившись, что старик еще очень хорошо ходит, он тотчас же предложил свои услуги даме. Наталья Николаевна, жена, и по собольему салопу, и по тому, как долго вылезала, и по тому, как тяжело легла ему на руку, и по тому, как прямо, не оглядываясь, опершись на руку сына, пошла на крыльцо, показалась ему очень значительною. Барышню от девушек, которые повывезли из другого возка, он даже не отличил: так же, как и они, она несла узелок и трубку и шла сзади. Только по смеху и тому, что она назвала старика отцом, он узнал ее.

— Не туда, папа, направо, — сказала она, останавливая его за рукав тупупа. — Направо.

И на лестнице из-за стука шагов, дверей и тяжелого дыхания пожилой дамы раздался тот же смех, который слышался в возке, который, когда кто слышал, непременно думал: вот славно смеется, завидно даже.

Сын Сергей занимался устройством всех материальных условий в дороге, и занимался этим хотя и без знания, но с свойственной двадцати пяти годам энергией и самоудовлетворяющей деятельностью. Раз двадцать по крайней мере и, кажется, без особенно важных причин он в одном пальто сбежал вниз к саням и вбе-

жал опять наверх, подрагивая от холода и через две и три ступеньки шагая своими молодыми длинными ногами. Наталья Николаевна просила его не простудиться, но он уверял, что ничего, и все отдавал приказания, хлопал дверьми, ходил, и когда, казалось, уж дело стояло за одними слугами и мужиками, он несколько раз обошел все комнаты, выходя из гостиной в одну дверь и входя в другую, и все отыскивал, что бы еще сделать.

— Что ж, папа, поедешь в баню? Узнать? — спросил он.

Папа находился в задумчивости и, казалось, вовсе не отдавал себе отчета в том, где он находился. Он не скоро ответил. Он слышал слова и не понимал. Вдруг он понял.

— Да, да, да; узнай, пожалуйста, у Каменного моста.

Глава семейства торопливым, взволнованным шагом обошел комнаты и сел на кресло.

— Ну, теперь надо решить, что делать, устраиваться, — сказал он. — Помогайте, дети, живо! молодцами! таскайте, устанавливайте, а завтра пошлем записочку и Сережу к сестре Марье Ивановне, к Никитиным, или сами поедем. Так, Наташа? А теперь устраиваться.

— Завтра воскресенье; надеюсь, прежде всего, ты поедешь к обедне, Ригге? — сказала жена, на коленях стоя перед сундуком и отпирая его.

— И то, воскресенье! Непременно все поедем в Успенский собор. Этим начнется наше возвращение. Боже мой! Когда я вспомню тот день, когда я в последний раз был в Успенском соборе... помнишь, Наташа? Но не в том дело.

И глава семейства быстро встал с кресла, на которое только что сел.

— А теперь надо устраиваться.

И он, ничего не делая, ходил из одной комнаты в другую.

— Что ж, будем чай пить? или устала, хочешь отдохнуть?

— Да, да, — отвечала жена, доставая что-то из сундука, — ведь ты хотел в баню.

— Да... в мое время были у Каменного моста. Сережа, поди же узнай, есть ли еще бани у Каменного моста. Вот эту комнату займу я с Сережей. Сережа! хорошо тебе тут будет?

Но Сережа пошел узнать о банях.

— Нет, все нехорошо, — продолжал он, — у тебя не будет хода прямо в гостиную. Как ты думаешь, Наташа?

— Ты успокойся, Риеге, все это устроится, — отвечала Наташа из другой комнаты, в которую мужики вносили вещи. Но Риеге находился под влиянием восторженного состояния, произведенного приездом на место.

— Ты смотри Сережины вещи не смешай; вот его лыжи бросили в гостиную... — И он сам поднял их и особенно осторожно, как будто от этого зависел весь будущий порядок помещенья, поставил их к притолоке и прижал к ней. Но лыжи не приклеились и, только что Риеге отошел от них, с грохотом упали поперек двери. Наталья Николаевна поморщилась и вздрогнула, но, увидав причину паденья, сказала:

— Соня, подними, мой друг.

— Подними, мой друг, — повторил муж, — а я пойду к хозяину; иначе не устроитесь; надо обо всем переговорить.

— Лучше за ним послать, Риеге. Зачем ты беспокоишься?

Риеге согласился.

— Соня, позови этого... как бишь? Monsieur Cavalier, пожалуйста; скажи, что мы хотим обо всем переговорить.

— Шевалье, папа, — сказала Соня и приготовилась идти.

Наталья Николаевна, которая тихим голосом приказывала и тихими шагами ходила из комнаты в комнату, то с ящиком, то с трубкой, то с подушкой, незаметно расставляла из горы поклажи все на свое место, успела, проходя мимо Сони, шепнуть:

— Не ходи сама, пошли человека.

Покуда человек ходил за хозяином, Риеге употребил свой досуг на то, чтобы под предлогом содействия своей

супруге смять ей какую-то одежду, и на то, чтобы спотыкнуться на опорожненный ящик. Удержавшись рукой за стену, декабрист с улыбкой оглянулся. Жена, казалось, была так занята, что не заметила; но Соня глядела на него такими смеющимися глазами, что, казалось, ожидала позволения посмеяться. Он охотно дал ей это позволение, рассмеявшись сам таким добродушным смехом, что все бывшие в комнате, от жены до девушки и мужика, рассмеялись. Этот смех еще более воодушевил старца; он нашел, что диван в комнате жены и дочери стоит для них неудобно, несмотря на то, что они утверждали противное, прося его успокоиться. В то самое время, как он собственноручно пытался с мужиком перетащить эту мебель, вошел в комнату хозяин-француз.

— Вы меня спрашивали, — сказал хозяин строго и, в доказательство своего, ежели не презрения, то равнодушия, достал медленно свой платок, медленно развернул и медленно высморкался.

— Да, мой любезный друг, — сказал Петр Иванович, наступая на него, — вот видите ли, мы сами не знаем, сколько здесь пробудем, я и жена моя... — И Петр Иванович, имевший слабость в каждом человеке видеть ближнего, начал рассказывать свои обстоятельства и планы.

Г-н Chevalier не разделял такого взгляда на людей и не интересовался сведениями, сообщенными Петром Ивановичем; но хороший французский язык, которым говорил Петр Иванович (французский язык, как известно, есть нечто вроде чина в России), и барские приемы заставили его высказать несколько мнение о новоприезжих.

— Чем могу я служить вам? — спросил он.

Вопрос этот не затруднил Петра Ивановича. Он выразил желанье иметь комнаты, чай, самовар, ужин, обед, пищу для прислуги — одним словом, те вещи, для которых и существуют гостиницы, и когда г-н Chevalier, удивленный невинностью старичка, полагавшего, должно быть, что он находится в Трухменской степи, или полагавшего, что все эти вещи ему будут отпускаться даром, объявил, что все это можно иметь, Петр Иванович пришел в восторженное состояние.

— Вот это прекрасно! очень хорошо! Так мы и устроим. Ну, так пожалуйста... — Но ему стало известно все говорить о себе, и он стал расспрашивать г-на Chevalier о его семействе и делах. Сергей Петрович, вернувшись в комнату, казалось, не одобрял обращения своего батюшки; он замечал неудовольствие хозяина и напомнил о бане. Но Петр Иванович был заинтересован вопросом о том, как могла французская гостиница идти в Москве в пятьдесят шестом году и как проводила свое время m-me Chevalier. Наконец сам хозяин поклонился и спросил: не прикажут ли чего?

— Будем пить чай, Наташа. Да? Так чаю, пожалуйста, а мы еще поговорим с вами, мой любезный monsieur. Какой славный человек!

— А в баню, папа?

— Ах, да, так не надобно чаю. — Так что единственный результат беседы с новоприезжим был отнят у хозяина. Зато Петр Иванович был теперь горд и счастлив своим устройством. Ямщики, пришедшие просить на водку, расстроили его было тем, что у Сережи не было мелочи, и Петр Иванович хотел было опять послать за хозяином, но счастливая мысль, что не ему одному надо быть веселым этот вечер, вывела его из затруднения. Он взял две трехрублевых бумажки и, вжав в руку одному ямщику одну бумажку, сказал: «Вот вам» (Петр Иванович имел привычку говорить *vous* всем без исключения, кроме членов своего семейства). «А вот вам», — сказал он, передавая другому ямщику бумажку из ладони в ладонь, вроде того, как это делают, платя докторам за визиты. После обделки всех этих дел его повезли в баню.

Соня, как сидела на диване, подставила руку под голову и засмеялась.

— Ах, как хорошо, мама! Ах, как хорошо! — Потом она положила ноги на диван, повытянулась, поправилась и так и заснула крепким неслышным сном здоровой восемнадцатилетней девушки после полутора месяцев дороги. Наталья Николаевна, все еще разбиравшаяся в своей спальне, услышала, верно, своим материнским ухом, что Соня не шевелится, и вышла взглянуть. Она взяла подушку и, подняв своей большой



белой рукой раскрасневшуюся спутанную голову девушки, положила ее на подушку. Соня глубоко, глубоко вздохнула, повела плечами и положила свою голову на подушку, не сказав тегсі, как будто это само собой так сделалось.

— Не на ту, не на ту, Гавриловна, Катя, — тотчас же заговорила Наталья Николаевна, обращаясь к девушкам, стелившим постель, и одной рукой, как будто мимоходом, оправляя взбившиеся волосы дочери. Не останавливаясь и не торопясь, Наталья Николаевна убиралась, и к приезду мужа и сына все было готово: сундуков уж не было в комнатах; в спальне Пьера все было так же, как было десятки лет в Иркутске: халат, трубка, табакерка, вода с сахаром, евангелие, которое он читал на ночь, и даже образок прилип как-то над кроватью на пышных обоях комнат Шевалье, который не употреблял этого украшения, но которое явилось в этот вечер во всех комнатах третьего отделения гостиницы.

Наталья Николаевна, убравшись,равила свои, не смотря на дорогу, чистые воротнички и рукавички, причесалась и села против стола. Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко; она смотрела и отдыхала. Она, казалось, отдыхала не от одного раскладыванья, не от одной дороги, не от одних тяжелых годов — она отдыхала, казалось, от целой жизни, и та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые любимые лица, и была тот отдых, которого она желала. Был ли это подвиг любви, который она совершила для своего мужа, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы, была ли это тяжелая потеря, или это была особенность ее характера, — только всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно когда-то положила всю себя в жизнь и что ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважения что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет.

Нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или

чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было — не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом...

Sie pflegen und weben  
Himmlische Rosen ins irdische Leben <sup>1</sup>.

Она знала этот стих и любила его, но не руководилась им. Вся натура ее была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным влечением невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась. Она поехала за мужем в Сибирь только потому, что она его любила; она не думала о том, что она может сделать для него, и невольно делала все: стелила ему постель, укладывала его вещи, готовила обед и чай, а главное, была всегда там, где он был, и больше счастья ни одна женщина не могла бы дать своему мужу.

В гостиной кипел самовар на круглом столе. Перед ним сидела Наталья Николаевна. Соня морщилась и улыбалась под рукой матери, щекотавшей ее, когда отец и сын с сморщенными оконечностями пальцев и лоснящимися щеками и лбами (у отца особенно блестяла лысина), с распушившимися белыми и черными волосами и сияющими лицами вошли в комнату.

— Светлее стало, как вы вошли, — сказала Наталья Николаевна. — Батюшки, как бел!

Она говорила это десятки лет каждую субботу, и каждую субботу Пьер испытывал при этом застенчивость и удовольствие. Они сели за стол, запахло чаем, трубкой, заговорили голоса родителей, детей и слуг, которые в той же комнате получили свои чашки. Вспоминали смешное, случившееся дорогой, восхищались прической Сони, смеялись. Географически все они были перенесены за пять тысяч верст, в совсем другую, чуждую среду, но нравственно они этот вечер еще были

---

<sup>1</sup> Они лелеют и вплетают небесные розы в земную жизнь (нем.).

дома, теми же самыми, какими сделала их особенная, долгая, уединенная семейная жизнь. Того уж не будет завтра.

Петр Иваныч подсел к самовару и закурил свою трубку. Он не весел был.

— Ну, вот мы и приехали, — сказал он, — и я рад, что мы нынче никого не увидим; этот вечер еще последний проведем в семействе... — И он запил эти слова большим глотком чаю.

— Отчего же последний, Пьер?

— Отчего? Оттого, что орлята выучились летать, им самим нужно вить свои гнезда, и отсюда они полетят каждый в свою сторону...

— Вот пустяки, — сказала Соня, принимая у него стакан и улыбаясь, как она всему улыбалась, — старое гнездо отлично.

— Старое гнездо — печальное гнездо, старик не умел свить его, — он попал в клетку, в клетке вывел детей, и выпустили его тогда, как уж крылья его плохо носить стали. Нет, орлятам надо свить себе гнездо выше, счастливее, ближе к солнцу; затем они его дети, чтоб пример послужил им; а старый, пока не ослепнет, будет глядеть, а ослепнет, будет слушать... Налей рому, еще, еще... довольно.

— Посмотрим, кто кого оставит, — отвечала Соня, бегло взглянув на мать, как будто ей совестно было говорить при ней, — посмотрим, кто кого оставит, — продолжала она. — За себя я не боюсь и за Сережу тоже! (Сережа ходил по комнате и размышлял о том, как ему завтра заказать платье — самому пойти или послать за портным; его не интересовал разговор Сони с отцом...) — Соня засмеялась.

— Что ты? Что? — спросил отец.

— Ты моложе нас, папа. Гораздо, право, — сказала она и опять засмеялась.

— Каково! — сказал старик, и строгие морщины его сложились в нежную и вместе презрительную улыбку.

Наталья Николаевна наклонилась из-за самовара, который мешал ей видеть мужа.

— Правда Сонина: тебе все еще шестнадцать лет, Пьер. Сережа моложе чувствами, но душой ты моложе

его. Что он сделает, я могу предвидеть, но ты еще можешь удивить меня.

Сознавался ли он в справедливости этого замечания, или, польщенный им, он не знал, что отвечать, старик молча курил, запивал чаем и только блеснул глазами. Сережа же, с свойственным эгоизмом молодости, теперь только заинтересованный тем, что сказали об нем, вступил в разговор и подтвердил то, что он действительно стар, что приезд в Москву и новая жизнь, которая открывается перед ним, нисколько не радует его, что он спокойно обдумывает и предусматривает будущее.

— Все-таки последний вечер, — повторил Петр Иванович. — Завтра уж того не будет... — И он еще подлил себе рому. И долго он еще сидел за чайным столом с таким видом, как будто многое ему хотелось сказать, да некому было слушать. Он подвинул было к себе ром, но дочь потихоньку унесла бутылку.

## Глава II

Когда г-н Шевалье, ходивший наверх устраивать гостей, вернувшись к себе, сообщил замечания насчет новоприезжих своей подруге жизни, в кружевах и шелковом платье сидевшей по парижскому манеру за конторкой, в той же комнате сидело несколько привычных посетителей заведения. Сережа, бывши внизу, заметил эту комнату и ее посетителей. Вы, верно, тоже заметили ее, ежели бывали в Москве.

Ежели вы скромный мужчина, не знающий Москвы, опоздали на званный обед, ошиблись расчетом, что гостеприимные москвичи вас позовут обедать, и вас не позвали, или просто хотите пообедать в лучшей гостинице, — вы входите в лакейскую. Три или четыре лакея вскакивают, один из них снимает с вас шубу и поздравляет с Новым годом, с масленицей, с приездом или просто замечает, что давно вы не бывали, хоть вы и никогда не бывали в этом заведении. Вы входите, и первый бросается вам в глаза накрытый стол, уставленный, как вам в первую минуту кажется, бесчислен-

ным количеством аппетитных яств. Но это только оптический обман, ибо на этом столе большую часть места занимают в перьях фазаны, морские раки неваренные, коробочки с духами, помадой и стклянки с косметиками и конфетами. Только с краюшка, поискав хорошенько, вы найдете водку и кусок хлеба с маслом и рыбкой под проволочным колпаком от мух, совершенно бесполезным в Москве в декабре месяце, но зато точно таким же, какие употребляются в Париже. Далее, за столом вы видите впереди себя комнату, в которой за конторкой сидит француженка весьма противной наружности, но в чистейших рукавчиках и в прелестнейшем модном платье. Подле француженки вам представится расстегнутый офицер, закусывающий водку, статский, читающий газету, и чьи-нибудь военные или статские ноги, лежащие на бархатном стуле, и слышатся французский говор и более или менее искренний громкий хохот. Ежели вам захочется знать, что делается в этой комнате, то я бы советовал не входить в нее, а только заглянуть, как будто проходя мимо, чтобы взять тартинку. Иначе вам не поздоровится от вопросительного молчания и взглядов, которые устремят на вас привычные обитатели комнаты, и, вероятно, вы, поджавши хвост, поспешите к одному из столов в большую залу или зимний сад. В этом вам никто не помешает. Эти столы для всех, и там в одиночестве можете называть Дея гарсоном и заказывать трюфелей, сколько вам угодно. Комната же с француженкой существует для избранной, золотой, московской молодежи, и попасть в число избранных не так легко, как вам кажется.

Г-н Шевалье, возвратившись в эту комнату, сказал супруге, что господин из Сибири скучен, но зато сын и дочь такие молодцы, каких только в Сибири можно выкормить.

— Вы бы посмотрели на дочь, что это за розанчик!

— О! он любит свеженьких женщин, этот старик, — сказал один из гостей, куривший сигару. (Разговор, разумеется, происходил на французском языке, но я передаю его по-русски, что и постоянно буду делать в продолжение этой истории.)

— О! очень люблю! — отвечал г-н Шевалье. — Женщины — моя страсть. Вы не верите?

— Слышите, *madame Chevalier*? — закричал толстый казацкий офицер, который много был должен в заведение и любил беседовать с хозяином.

— Да, вот он разделяет мой вкус, — сказал *Chevalier*, потрепав толстяка по эполете.

— И точно хороша эта сибирячка?

*Chevalier* сложил свои пальцы и поцеловал их.

Вслед за тем между посетителями разговор сделался конфиденциальный и очень веселый. Дело шло о толстяке; он, улыбаясь, слушал то, что про него рассказывали.

— Можно ли иметь такие превратные вкусы? — закричал один сквозь смех. — *Mademoiselle Clarisse*! вы знаете, Стругов из женщин лучше всего любит куриные ляжки.

Хотя и не понимая соли этого замечания, *m-lle Clarisse* залилась из-за конторки смехом, настолько серебристым, насколько позволяли ей дурные зубы и преклонные лета.

— Сибирская барышня навела его на такие мысли? — И все еще больше расхохотались. Сам *m-r Chevalier* помирал со смеху, приговаривая: «*Ce vieux coquin*»<sup>1</sup>, и трепя по голове и плечам казацкого офицера.

— Да кто они, эти сибиряки: заводчики или купцы? — спросил один из господ во время затихания смеха.

— Никит! Спрашивайт у господ, который приехал, подорожный, — сказал *m-r Chevalier*. — «Мы, Александр, Самодержес...» — начал было читать г-н *Chevalier* принесенную подорожную, но казацкий офицер вырвал у него бумагу, и лицо его вдруг выразило удивление.

— Ну, угадайте, кто это? — сказал он. — И все вы хоть по слухам знаете.

— Ну, как же угадать, покажи. Ну, Абдель Кадер, ха-ха-ха. Ну, Калиостро... Ну, Петр Третий... ха-ха-ха.

---

<sup>1</sup> Вот старый плут (*франц.*).

— Ну, прочти же!

Казацкий офицер развернул бумагу, прочел: «Бывший князь Петр Иванович» — и одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком или знакомом. Мы будем называть его Лабазовым. Казацкий офицер смутно помнил, что этот Петр Лабазов был чем-то знаменитым в двадцать пятом году и что он был сослан в каторжную работу, — но чем он был знаменит, он не знал хорошенько. Другие же никто и этого не знали и ответили: «А! да, известный», — точно так же, как бы они сказали: «Как же известный!» — про Шекспира, который написал «Энеиду». Больше же они узнали его потому, что толстяк объяснил им, что он брат князя Ивана, дядя Чикиных, графини Прук, ну, известный...

— Ведь он должен быть очень богат, коли он брат князя Ивана, — заметил один из молодых. — Ежели ему возвратили состояние. Некоторым возвратили.

— Сколько их наехало теперь, этих сосланных! — заметил другой. — Право, их меньше, кажется, было сослано, чем вернулось. Да, Жикинский, расскажи-ка эту историю за восемнадцатое число, — обратился он к офицеру стрелкового полка, слывшему за мастера рассказывать.

— Ну, расскажи же.

— Во-первых, это истинная правда и случилось здесь, у Шевалье, в большой зале. Приходят человека три декабристов обедать. Сидят у одного стола, едят, пьют, разговаривают. Только напротив их уселся господин почтенной наружности, таких же лет и все прислушивается, как они про Сибирь что-нибудь скажут. Только он что-то спросил, слово за слово, разговорились, оказывается, что он тоже из Сибири.

— И Нерчинск знаете?

— Как же, я жил там.

— И Татьяну Ивановну знаете?

— Как же не знать!

— Позвольте спросить, вы тоже сосланы были?

— Да, имел несчастье пострадать, а вы?

— Мы все сосланные четырнадцатого декабря. Странно, что мы вас не знаем, ежели вы тоже за четырнадцатое. Позвольте узнать вашу фамилию?

— Федоров.

— Тоже за четырнадцатое?

— Нет, я за восемнадцатое.

— Как за восемнадцатое?

— За восемнадцатое сентября, за золотые часы. Был оклеветан, будто украл, и пострадал невинно.

Все покатались со смеха, исключая рассказчика, который, с пресерьезным лицом, оглядывая в лоск положенных слушателей, божился, что это была истинная история.

Скоро после рассказа один из золотых молодых людей встал и поехал в клуб. Пройдясь по залам, уставленным столами с старичками, играющими в ералаш, повернувшись в inferнальной, где уж знаменитый «Пучин» начал свою партию против «компании», постояв несколько времени у одного из бильярдных, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в свой шар, и заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, золотой молодой человек подсел на диван в бильярдной к играющим в табельку, таким же, как он, позолоченным молодым людям. Был обеденный день, и было много господ, всегда посещающих клуб. В числе их был Иван Павлович Пахтин. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, белый, полный, с широкими плечами и тазом, с голой головой и глянцевитым, счастливым, выбритым лицом. Он не играл в табельку, но так подсел к князю Д., с которым он был на ты, и не отказался от стакана шампанского, которое ему предложили. Он так хорошо поместился после обеда, незаметно распустив сзади гильфик, что, казалось бы, век просидел так, покуривая сигару, запивая шампанское и чувствуя близкое присутствие князей и графов, министерских детей. Известие о приезде Лабазовых нарушило его спокойствие.



— Куда ты, Пахтин? — сказал министерский сын, заметив между игрой, что Пахтин привстал, одернул жилет и большим глотком допил шампанское.

— Северников просил, — сказал Пахтин, чувствуя какое-то беспокойство в ногах, — что же, поедешь?.. «Анастасья, Анастасья, отворяй-ка ворота».

Это была известная в ходу цыганская песня.

— Может быть. А ты?

— Куда мне, женатому старику...

— Ну!..

Пахтин, улыбаясь, пошел в стеклянную залу к Северникову. Он любил, чтоб последнее слово, им сказанное, было шуточка. И теперь так вышло.

— Что, как здоровье графини? — спросил он, подходя к Северникову, который вовсе не звал его, но которому, по некоторым соображениям Пахтина, нужнее всех было узнать о приезде Лабазовых. Северников был немножко замешан в четырнадцатом числе и приятель со всеми декабристами. Здоровье графини было гораздо лучше, и Пахтин был очень рад этому.

— А вы не знаете, Лабазов приехал нынче, у Шевалье остановился.

— Что вы говорите! Ведь мы старые приятели. Как я рад! Как я рад! Постарел, я думаю, бедняга? Его жена писала моей жене...

Но Северников не досказал, что она писала, потому что его партнеры, разыгрывавшие бескозырную, сделали что-то не так. Говоря с Иваном Павловичем, он все косился на них, но теперь вдруг бросился всем туловищем на стол и, стуча по нем руками, доказал, что надо было играть с семерки. Иван Павлович встал и, подойдя к другому столу, сообщил между разговором другому почтенному человеку свою новость, опять встал и у третьего стола сделал то же. Почтенные люди все были очень, очень рады возвращению Лабазова, так что, опять вернувшись в бильярдную, Иван Павлович, сначала сомневавшийся, нужно или нет радоваться возвращению Лабазова, уже более не употреблял введения о бале, статье «Вестника», здоровье и погоде, а прямо приступал ко всем с восторженным объявлением о благополучном возвращении знаменитого декабриста.

Старичок, все еще тщетно пытавшийся ткнуть кием в своего белого шара, должен был, по мнению Пахтина, быть очень обрадован известием. Он подошел к нему. «Хорошо поигрываете, ваше высокопревосходительство?» — сказал он в то время, как старичок сунул свой кий в красный жилет маркера, означая этим желание помелить.

«Ваше высокопревосходительство» было сказано совсем не так, как вы думаете, из подобострастия (нет, это не мода в пятьдесят шестом году), — Иван Павлыч называл просто по имени и отчеству этого старичка, — а это было сказано частью как шутка над теми, кто так говорит, частью, чтобы дать знать, что мы знаем, с кем говорим, и все-таки резвимся, немножко и взаправду; вообще это было очень тонко.

— Сейчас узнал: Петр Лабазов приехал. Прямо из Сибири приехал со всем семейством... — Эти слова произнес Пахтин в то самое время, как старичок опять промахнулся в своего шара, — такое ему несчастье было.

— Ежели он приехал таким же взбалмошным, каким поехал, так нечему радоваться, — угрюмо сказал старичок, раздраженный своей непонятной неудачей.

Этот отзыв смутил Ивана Павлыча, он опять не знал, следовало ли, или нет радоваться приезду Лабазова, и чтобы окончательно разрешить свои сомнения, он направил шаги свои в комнату, где собирались умные люди разговаривать и знали значение и цену всякой вещи, и всё знали, одним словом. Иван Павлыч был в тех же приятных отношениях с посетителями умной комнаты, как и с золоченой молодежью и сановитыми особами. Правда, у него не было своего особого места в умной комнате, но никто не удивился, когда он вошел и сел на диван. Речь шла о том, в каком году и по какому случаю произошла ссора между двумя русскими журналистами. Выждав минуту молчанья, Иван Павлыч сообщил свою новость не так, как радость, не так, как незначущее событие, а так, как будто к разговору. Но тотчас по тому, как «умные» (я употребляю «умные» как прозвание посетителей «умной» комнаты)

приняли его новость и стали обсуждать ее, тотчас Иван Павлыч понял, что сюда-то именно и следовала эта новость и здесь только она получит такую обработку, что можно будет везти ее дальше и *savoir à quoi s'en tenir*<sup>1</sup>.

— Только Лабазова недоставало, — сказал один из «умных», — теперь из живых декабристов все вернулись в Россию.

— Он был «один из стаи славных»... — сказал Пахтин еще выпытывающим тоном, готовый на то, чтобы эту цитату сделать шуточной и серьезной.

— Как же, Лабазов — один из замечательнейших людей того времени, — начал «умный». — В тысяча восемьсот девятнадцатом году он был прапорщиком Семеновского полка и был послан за границу с депешами к герцогу З. Потом он вернулся и в двадцать четвертом году был принят в первую масонскую ложу. Все тогдашние масоны собирались у Д. и у него. Ведь он очень богат был. Князь Ж., Федор Д., Иван П. — это были его ближайшие друзья. И тут дядя его, князь Висарий, чтобы удалить молодого человека от этого общества, перевез его в Москву.

— Извините, Николай Степанович, — перебил другой «умный», — мне кажется, что это было в двадцать третьем году, потому что Висарий Лабазов назначен был командиром третьего корпуса в двадцать четвертом году и был в Варшаве. Он приглашал его к себе в адъютанты и после отказа уж перевел его. Впрочем, извините, я вас перебил.

— Ах, нет, сделайте одолжение.

— Нет, пожалуйста.

— Нет, сделайте одолжение, вы должны это знать лучше меня, и притом память ваша и знания достаточно доказаны здесь.

— В Москве он против желания дяди вышел в отставку, — продолжал тот, чья память и знания были доказаны, — и там вокруг него образовалось второе общество, которого он был родоначальником и сердцем, ежели можно так выразиться. Он был богат, хорош собой, умен, образован; любезен, говорят, был удиви-

---

<sup>1</sup> знать, как к этому относиться (*франц.*).

тельно. Мне еще тетка говаривала, что она не знавала человека обворожительнее его. И тут-то он за несколько месяцев до бунта женился на Кринской.

— Дочь Николая Кринского, тот, что при Бородино... ну, известный, — перебил кто-то.

— Ну да. Ее-то огромное состояние у него осталось теперь, а его собственное, родовое, перешло меньшому брату, князю Ивану, который теперь обер-гоф-кафермейстер (он назвал что-то в этом роде) и был министром.

— Лучше всего его поступок с братом, — продолжал рассказчик. — Когда его взяли, то одно, что он успел уничтожить, — это письма и бумаги брата.

— Разве брат был замешан?

Рассказчик не ответил: даже сжал губы и мигнул значительно.

— Потом на всех допросах Петр Лабазов постоянно отпирался во всем, что касалось брата, и за это пострадал больше других. Но что лучше всего, что князь Иван получил все именье и ни одного гроша не послал брату.

— Говорили, что Петр Лабазов сам отказался? — заметил один из слушателей.

— Да, он отказался только потому, что князь Иван перед коронацией писал ему и извинялся, что ежели бы не он взял, то именье конфисковали бы, а что у него дети и долги и что теперь он не в состоянии возратить ничего. Петр Лабазов отвечал двумя строками: «Ни я, ни наследники мои не имеем и не хотим иметь никаких прав на законом вам присвоенное именье». И больше ничего. Каково? И князь Иван проглотил и с восторгом запер этот документ с векселями в шкатулку и никому не показывал.

Одна из особенностей «умной» комнаты состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

— Впрочем, это вопрос, — сказал новый собеседник, — справедливо ли было отнять от детей князя Ивана состояние, при котором они выросли и были воспитаны и на которое полагали, что имели право.

Разговор таким образом был перенесен в отвлеченную сферу, не интересовавшую Пахтина. Он почувст-

вовал необходимость свежим людям сообщить новость, встал и медленно, заговаривая направо и налево, пошел по залам. Один из его сослуживцев остановил его, чтобы сообщить новость о приезде Лабазовых.

— Кто же этого не знает! — отвечал Иван Павлыч, спокойно улыбаясь, и направился к выходу. Новость уже совершила свой круг и опять возвращалась к нему.

В клубе было больше нечего делать, он отправился на вечер. Это был не званый вечер, а салон, в котором принимали каждый день. Было человек восемь дам и один старый полковник, и всем было ужасно скучно. Уже одна твердая походка и улыбающееся лицо Пахтина развеселили дам и девиц. Новость же была тем более кстати, что в салоне была старая графиня Фукс с дочерью. Когда Пахтин рассказал почти слово в слово все, что он слышал в «умной» комнате, m-me Фукс, покачивая головой и удивляясь своей старости, стала вспоминать, как она выезжала вместе с Наташей Кринской, теперешней Лабазовой.

— Ее замужество — очень романтическая история, и все это было на моих глазах. Наташа была почти обручена с Мятлиным, который после был убит на дуэли с Дёбра. Только в это время приезжает в Москву князь Петр, влюбляется в нее и делает предложение. Только отец, которому очень хотелось Мятлина, — и вообще Лабазова боялись как масона, — отец отказал. Только молодой человек продолжает ее видеть на балах, везде, сдружается с Мятлиным, просит его отказаться. Мятлин соглашается, он ее уговаривает бежать. Она тоже соглашается, но последнее раскаяние (разговор происходил по-французски) — она идет к отцу и говорит, что все готово к бегству и что она могла его оставить, но надеется на его великодушие. И в самом деле, отец простил ее — все за нее просили — и дал согласие. Вот так и сделалась эта свадьба, и веселая была свадьба. Кто из нас думал, что через год она поедет за ним в Сибирь! Она, единственная дочь, самая богатая, самая красивая тогдашнего времени. Император Александр всегда замечал ее на балах, сколько раз танцевал с ней.

У графини Г. был *bal costumé*<sup>1</sup>, как теперь помню, и она была неаполитанкой, удивительно хороша! Он всегда, приезжая в Москву, спрашивал: «*Que fait la belle Napolitaine?*»<sup>2</sup> И вдруг эта женщина, в таком положении (она дорогой родила), ни минуты не задумалась, ничего не приготовила, не собрала вещи и как была, когда его взяли, так и поехала за ним за пять тысяч верст.

— О! Удивительная женщина! — сказала хозяйка.

— И он и она — это редкие люди были, — сказала еще другая дама. — Мне говорили — не знаю, правда ли, — что в Сибири везде, где они работали в рудниках, или как это называется, так эти колодники, которые с ними были, исправлялись от них.

— Да она никогда не работала в рудниках, — поправил Пахтин.

Что значил пятьдесят шестой год! Три года тому назад никто не думал о Лабазовых и ежели вспоминал о них, то с тем безотчетным чувством страха, с которым говорят о новоумерших; теперь же как живо вспоминались все прежние отношения, все прекрасные качества, и каждая из дам уже придумывала план, как бы получить монополию Лабазовых и ими угащивать других гостей.

— Сын и дочь приехали с ними, — сказал Пахтин.

— Ежели только они так же хороши, как была мать, — сказала графиня Фукс. — Впрочем, и отец был очень, очень хорош.

— Как они могли воспитать там своих детей? — сказала хозяйка дома.

— Говорят, прекрасно. Говорят, молодой человек так хорош, любезен, образован, как будто вырос в Париже.

— Я предсказываю большой успех молодой особе, — сказала одна некрасивая девица. — Все эти сибирские дамы имеют что-то очень приятно-тривиальное, но которое очень нравится.

— Да, да, — сказала другая девица.

---

<sup>1</sup> костюмированный бал (франц.).

<sup>2</sup> Что делает прекрасная неаполитанка? (франц.)

— Вот еще богатая невеста прибавилась, — сказала третья девица.

Старый полковник немецкого происхождения, три года тому назад приехавший в Москву, чтобы жениться на богатой, решил, чтоб как можно скорее, пока молодежь еще не знает, представиться и сделать предложение. Девицы и дамы почти то же самое думали насчет сибирского молодого человека. «Должно быть, это-то и есть мой суженый, — подумала девица, тщетно выезжающая уже восьмой год. — Должно быть, к лучшему было, что тот глупый кавалергард так и не сделал мне предложения. Я бы, верно, была несчастлива». — «Ну, опять пожелтеют все от злости, когда еще этот в меня влюбится», — подумала молодая и красивая дама.

Говорят о провинциализме маленьких городов, — нет хуже провинциализма высшего общества. Там нет новых лиц, но общество готово принять всякие новые лица, ежели бы они явились; здесь же редко, редко, как теперь Лабазовы, признаны принадлежащими к кругу и приняты, и сенсация, производимая этими новыми лицами, сильнее, чем в уездном городе.

### Глава III

— Москва-то, Москва-то, матушка белокаменная, — сказал Петр Иваныч, протирая утром глаза и прислушиваясь к звону колоколов, стоявшему над Газетным переулком.

Ничто так живо не воскрешает прошедшего, как звуки; и эти колокольные московские звуки, соединенные с видом белой стены из окна и стуком колес, так живо напомнили ему не только ту Москву, которую он знал тридцать пять лет тому назад, но и ту Москву с Кремлем, теремами, Иванами и т. д., которую он носил в своем сердце, что он почувствовал детскую радость того, что он русский и что он в Москве.

Явился бухарский халат, распахнутый на широкой груди в ситцевой рубашке, трубка с янтарем, лакей с тихими приемами, чай, запах табаку, громкий, порывистый мужской голос слышался в комнатах Шевалье,

утренние поцелуи раздались, и голоса дочери и сына, и декабрист был так же дома, как в Иркутске и как бы он был в Нью-Йорке и Париже. Как бы мне ни хотелось представить моим читателям декабрьского героя выше всех слабостей, ради истины должен признаться, что Петр Иванович особенно тщательно брился, чесался и смотрелся в зеркало. Платьем, которое было сшито не слишком хорошо в Сибири, он был недоволен и раза два то расстегнул, то застегнул сюртучок. Наталья же Николаевна вошла в гостиную, шумя черным муаровым платьем с такими рукавчиками и лентами на чепце, что хотя все это было не по самой последней моде, но так придумано, что не только не было ridicule<sup>1</sup>, но, напротив, distingué<sup>2</sup>. На это у дам есть особенное, шестое чувство и пронизательность, ни с чем не сравнимая. Соня тоже была так пристроена, что хотя все было на два года сзади моды, но ни в чем упрекнуть нельзя было. На матери темно и просто, на дочери светло и весело. Сережа только проснулся, и они одни поехали к обедне. Отец с матерью сели сзади, дочь села напротив, Василий сел на козлы, и извозчицья карета повезла их в Кремль. Когда они вышли, дамы оправили платья, и Петр Иванович взял под руку свою Наталью Николаевну и, закинув голову назад, пошел к дверям церкви. Многие — и купцы, и офицеры, и всякий народ — не могли узнать, что это за люди. Кто это — давно, давно загорелый и не отошедший старичок с крупными прямыми рабочими морщинами особенного склада, такого склада, какого не бывают морщины, приобретенные в английском клубе, с белыми как снег волосами и бородой, с добрым и гордым взглядом и энергическими движениями? Кто эта высокая дама с значительной поступью и усталыми, померкшими большими и прекрасными глазами? Кто эта девушка, свежая, стройная, сильная, и не модная и не робкая? Купцы — не купцы, немцы — не немцы; господа? — тоже таких не бывает, а важные люди. Так думали те, которые видели их в церкви, и почему-то скорее и охотнее давали им дорогу и место,

---

<sup>1</sup> смешно (франц.).

<sup>2</sup> изысканно (франц.).



чем мужчинам в густых эполетах. Петр Иванович держал себя так же величаво, как и при входе, и молился спокойно, сдержанно, не забываясь. Наталья Николаевна плавно становилась на колена, вынимала платок и много плакала во время «Иже херувимской». Соня как будто делала над собой усилие, чтобы молиться. Не шло к ней моление, но она не оглядывалась и крестилась прилежно.

Сережа остался дома — частью оттого, что проспал, частью оттого, что он не любил стоять обедни: у него ноги отекали и он никак не мог понять, отчего пройти на лыжах верст сорок ему ничего не стоило, а простоять двенадцать евангелий было для него величайшее физическое мученье; главное же оттого, что, он чувствовал, ему нужнее всего было новое платье. Он оделся и пошел на Кузнецкий мост. Денег у него было довольно. Отец сделал себе правило: с тех пор как сыну минуло двадцать один год, давать ему денег, сколько захочет. От него зависело оставить отца и мать совершенно без денег.

Как мне жалко этих двухсот пятидесяти рублей серебром — денег, даром истраченных в магазине готового платья Кунца! Каждый из этих господ, встречавших Сережу, охотно бы научил его и за счастье бы почел с ним вместе пойти заказать ему; но, как всегда бывает, он был одинок посреди толпы и, пробираясь в фуражке по Кузнецкому мосту, не поглядывая на магазины, он дошел до конца, отворил двери и вышел оттуда в коричневом полуфраке в узком (а носили широкий), в черных панталонах, широких (а носили узкие), и в атласном с цветочками жилете, который ни один из господ, бывших у Шевалье в особой, не позволили бы надеть своему лакею. И еще много чего купил Сережа; зато Кунц в недоумение пришел от тонкой талии молодого человека и, как он это говорил всем, объяснил, что подобной он никогда не видел. Сережа знал, что у него талия хороша, но похвала постороннего человека, как Кунца, очень польстила ему. Он вышел без двухсот пятидесяти рублей, но одет очень дурно, так дурно, что платье его через два дня перешло во владение Василья и навсегда осталось неприятным воспоминанием для

Сережи. Дома он сошел вниз и сел в большой комнате, тоже посматривая в заветную, и спросил себе завтракать таких странных кушаний, что слуга даже посмеялся на кухне. Но все-таки он спросил журнал и сделал, как будто читает его. Когда же слуга, обнадеженный неопытностью юноши, начал было спрашивать и его, то Сережа сказал: «Ступай на свое место!» — и покраснел. Но сказал так гордо, что тот послушался. Мать, отец и дочь, возвратившись домой, нашли тоже его платье отличным.

Помните ли вы это радостное чувство детства, когда в ваши именины вас принарядили, повезли к обедне, и вы, возвратившись с праздником на платье, на лице и в душе, нашли дома гостей и игрушки? Вы знаете, что нынче нет классов, что большие даже празднуют, что нынче для целого дома день исключения и удовольствий; вы знаете, что вы одни причиной этого торжества и то, что бы вы ни сделали, — вам простят, и вам странно, что люди на улицах не празднуют так же, как ваши домашние, и звуки слышнее, и цвета ярче, — одним словом, именинное чувство. Такого рода чувство испытал Петр Иваныч, возвратившись из церкви.

Вчерашние хлопоты Пахтина не пропали даром: вместо игрушек Петр Иваныч нашел дома уже несколько визитных карточек значительных москвичей, считавших в пятьдесят шестом году своей неперменной обязанностью оказать всевозможное внимание знаменитому изгнаннику, которого они не хотели бы видеть ни за что на свете три года тому назад. В глазах Шевалье, швейцара и людей гостиницы появление карет, спрашивающих Петра Иваныча, в одно утро удесятило их уважение и услужливость. Все это были именинные подарки для Петра Иваныча. Как ни испытан жизнью, как ни умен человек, выражения уважения от людей, уважаемых большим числом людей, — всегда приятны. Петру Иванычу было весело на душе, когда Шевалье, изгибаясь, предлагал переменить отделение и просил приказывать все, что было угодно, и уверял, что он за счастье почитает посещение Петра Иваныча, и когда он, пересматривая карточки и опять бросая их в вазу, называл имена графа С., князя Д. и т. д., Наталья Ни-

колаевна сказала, что она никого не принимает и сейчас поедет к Марье Ивановне, на что Петр Иванович согласился, хотя ему хотелось бы поговорить со многими из приезжавших. Только один из визитов успел проскочить до запрета. Это был Пахтин. Ежели бы спросить этого человека, для чего он с Пречистенки приехал в Газетный переулок, то он никакого бы не мог дать предлога, исключая того, что он любит все новое и занимательное и потому приехал посмотреть на Петра Иваныча, как на редкость. Казалось бы, надо заробеть, с таким единственным резонном приезжая к незнакомому человеку. Оказалось напротив. Петр Иванович, и его сын, и Софья Петровна смутились. Наталья Николаевна была слишком *grande dame*<sup>1</sup>, чтоб от чего бы ни было смущаться. Утомленный взгляд ее прекрасных черных глаз спокойно спустился на Пахтина. Пахтин же был свеж, самодоволен и весело любезен, как всегда. Он был друг Марьи Ивановны.

— А! — сказала Наталья Николаевна.

— Не друг, — лета наши... но она всегда была добра ко мне. — Пахтин был давнишний поклонник Петра Иваныча, он знал его товарищей. Он надеялся, что может быть полезен приезжим, он вчера бы еще явился, но не успел, и просит извинить его. И он сел и говорил долго.

— Да, скажу вам, много я нашел перемен в России с тех пор, — сказал Петр Иванович, отвечая на вопрос.

Как только Петр Иванович стал говорить, надо было видеть, с каким почтительным вниманием Пахтин получал каждое слово, вылетавшее из уст значительного старца, и как за каждой фразой, иногда словом, Пахтин кивком, улыбкой или движением глаз давал чувствовать, что он получил и принял достопамятную для него фразу или слово. Усталый взгляд одобрил этот маневр. Сергей Петрович, казалось, боялся, что речь батюшки не будет значительна, соответственно вниманию слушателя. Софья Петровна, напротив, улыбнулась той незаметной самодовольной улыбкой, которой улыбаются люди, подметившие смешную сторону человека. Ей по-

---

<sup>1</sup> великосветской дамой (франц.).

казалось, что от этого нечего ждать, что это «шюшка», — так они с братом называли известный сорт людей. Петр Иванович объяснил, что он в своем путешествии заметил огромные перемены, которые радовали его. Нет сравнения, как народ — крестьянин — стал выше, стало больше сознания достоинства в них, — говорил он, как бы протверживая старые фразы. «А я должен сказать, что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе», и т. д. — Петр Иванович развил с свойственным ему жаром свои более или менее оригинальные мысли насчет многих важных предметов. Нам придется еще слышать их в более полном виде. Пахтин таял от наслаждения и был совершенно согласен со всем.

— Вам непременно надо познакомиться с Аксатовыми, вы позволите мне их представить вам, князь? Вы знаете, ему разрешили теперь его издание, — говорят, завтра выйдет первый номер. Я читал также его удивительную статью о последовательности теории науки в абстрактности. Чрезвычайно интересно. Еще там статья — история Сербии в XI веке и этого знаменитого всевода Карбавонца, тоже очень интересно. Вообще огромный шаг.

— А! так, — сказал Петр Иванович. Но его, видимо, не занимали все эти известия, он даже не знал имен и заслуг тех людей, которых, как всем известных, называл Пахтин. Наталья Николаевна, не отрицая необходимости знания всех этих людей и условий, в оправдание мужа заметила, что Ригге поздно очень получал журналы. Но он слишком много читает.

— Папа, мы поедем к тете? — сказала Соня, входя.

— Поедем, но надо позавтракать. Не хотите ли чего-нибудь?

Пахтин, разумеется, отказался, но Петр Иванович с свойственным вообще русскому и особенно ему гостеприимством настоял на том, чтобы Пахтин поел и выпил. Сам же он выпил рюмку водки и стакан бордо. Пахтин заметил, что, когда он наливал вино, Наталья Николаевна отвернулась нечаянно от стакана, а сын посмотрел особенно на руки отца. После вина Петр Иванович на вопросы Пахтина о том, какое его мнение о

новой литературе, о новом направлении, о войне, о мире (Пахтин умел самые разнородные предметы соединить в один бестолковый, но гладкий разговор), — на эти вопросы Петр Иванович сразу ответил одною общою profession de foi<sup>1</sup>, и вино ли, или предмет разговора, но он так разгорячился, что слезы выступили у него на глазах и что Пахтин пришел в восторг и тоже прослезился и, не стесняясь, выразил свое убеждение, что Петр Иванович теперь впереди всех передовых людей и должен стать главой всех партий. Глаза Петра Ивановича разгорелись, он верил тому, что ему говорил Пахтин, и он долго бы еще говорил, ежели бы Софья Петровна не поинтриговала у Натальи Николаевны, чтобы она надела мантилью и не пришла бы сама поднять Петра Ивановича. Он налил было себе остальное вино, но Софья Петровна выпила его.

— Что ж ты это?

— Я не пила еще, рара, pardon<sup>2</sup>.

Он улыбнулся.

— Ну, поедем к Марье Ивановне. Вы нас извините, monsieur Пахтин... — И Петр Иванович вышел, неся высоко голову. В сенях встретился еще генерал, приехавший с визитом к старому знакомому. Они тридцать пять лет не видались. Генерал был уже без зубов и плешивый.

— А ты как еще свеж, — сказал он. — Видно, Сибирь лучше Петербурга. Это твои? Представь меня. Какой молодец сын-то! Так завтра обедать?

— Да, да, непременно.

На крыльце встретился знаменитый Чихаев, тоже старый знакомый.

— Как же вы узнали, что я приехал?

— Стыдно бы было Москве, ежели бы она не знала, стыдно, что у заставы вас не встретили. Где вы обедаете? должно быть, у сестры Марьи Ивановны... Ну и прекрасно, я тоже приеду.

Петр Иванович всегда имел вид человека гордого для тех, кто не мог разобрать сквозь эту внешность выра-

---

<sup>1</sup> кредо (франц.).

<sup>2</sup> извини (франц.).

жение несказанной доброты и впечатлительности; теперь же даже Наталья Николаевна любовалась его непривычной величавостью, и Софья Петровна улыбалась глазами, поглядывая на него. Они приехали к Марье Ивановне. Марья Ивановна была крестная мать Петра Иваныча и старше его десятью годами. Она была старая дева.

Историю ее, почему она не вышла замуж и как она жила свою молодость, я расскажу когда-нибудь после.

Она жила в Москве сорок лет безвыездно. Не было у ней ни большого ума, ни большого богатства, и связями она не дорожила, напротив; и не было человека, который бы не уважал ее. Она была так уверена, что все должны уважать ее, что все ее уважали. Бывали из университета молодые либералы, которые не признавали за ней власти, но эти господа фрондировали только в ее отсутствие. Стоило ей войти в гостиную своей царской поступью, заговорить своей спокойной речью, улыбнуться своей ласковой улыбкой, и они были покорены. Общество ее было — все. Она смотрела на Москву и обращалась с ней, как с своими домашними. Бывали у ней друзья больше из молодежи и мужчин умных; женщин она не любила. Были у ней тоже и приживалки и приживальщики, которых вместе с венгеркой и генералами в одно общее презрение почему-то вместе включила наша литература; но Марья Ивановна считала, что проигравшемуся Скопину и прогнанной мужем Бешевой лучше жить у нее, чем в нищете, и держала их. Но два сильные чувства в теперешней жизни Марьи Ивановны — были ее два брата. Петр Иваныч был ее идолом. Князь Иван был ее ненависть. Она не знала, что Петр Иваныч приехал, была у обедни и теперь только отпила кофе. Московский викарий, Бешева и Скопин сидели около стола. Марья Ивановна рассказывала им про молодого графа В., сына П. Э., который вернулся из Севастополя и в которого она была влюблена. (У ней беспрерывно бывали пассии.) Нынче он должен был обедать у нее. Викарий встал и раскланялся. Марья Ивановна не удерживала его, она была вольнодумка в этом отношении; она была набожна, но не любила монахов, смеялась над барынями, бегаю-

щими за монахами, и говаривала смело, что, по ее мнению, монахи такие же люди, как мы грешные, и что можно спастись в миру лучше, чем в монастыре.

— Не велите никого принимать, мой друг, — сказала она, — я Пьеру напишу; не понимаю, что он не едет. Верно, Наталья Николаевна больна.

Марья Ивановна была того убеждения, что Наталья Николаевна не любила и была врагом ее. Она не могла простить ей того, что не она, сестра, отдала ему свое именье и поехала с ним в Сибирь, а Наталья Николаевна, и что брат решительно отказал ей в этом, когда она собиралась ехать. После тридцати пяти лет она начинала верить иногда брату, что Наталья Николаевна лучшая жена в мире и его ангел-хранитель была, но она завидовала, и ей все казалось, что она дурная женщина.

Она встала, прошлась по зале и хотела идти в кабинет, как дверь отворилась, и сморщенное, седенькое лицо Бешевой, выражавшее радостный ужас, выставилось в двери.

— Марья Ивановна, приготовьтесь, — сказала она.

— Письмо?

— Нет, больше...

Но не успела она сказать, как в передней послышался громкий мужской голос:

— Да где она? Поди ты, Наташа.

— Он! — проговорила Марья Ивановна и большими, твердыми шагами пошла к брату. Она встретила их, как будто со вчерашнего дня с ними виделась.

— Когда ты приехал? Где остановились? В чем же вы, в карете? — вот какие вопросы делала Марья Ивановна, проходя с ними в гостиную и не слушая ответов и глядя большими глазами то на одного, то на другого. Бешева удивилась этому спокойствию, равнодушию даже, и не одобряла его. Они все улыбались, разговор замолк; Марья Ивановна молча, серьезно смотрела на брата.

— Как вы? — сказал Петр Иванович, взяв ее за руку и улыбаясь.

Петр Иванович говорил «вы», а она говорила ему «ты». Марья Ивановна еще раз взглянула на седую бо-

роду, на плешивую голову, на зубы, на морщины, на глаза, на загорелое лицо и все это узнала.

— Вот моя Соня.

Но она не оглянулась.

— Какой ты дур... — голос ее оборвался, она схватила своими белыми большими руками плешивую голову, — какой ты дурак... — она хотела сказать: «что не приготовил меня», — но плечи и грудь задрожали, старческое лицо покривилось, и она зарыдала, все прижимая к груди плешивую голову и повторяя: — Какой ты ду...рак, что меня не приготовил.

Петр Иванович не казался себе уже таким великим человеком, не казался так важен, как у крыльца Шевалье. Задом он сидел на кресле, но голова его была в руках сестры, нос прижимался к ее корсету, и в носу щекотало, волосы были спутаны, и слезы были в глазах. Но ему было хорошо. Когда прошел этот порыв радостных слез, Марья Ивановна поняла, поверила тому, что случилось, и стала оглядывать всех. Но еще несколько раз во время дня, как только она вспомнит, какой он был, какая она была тогда, и какие теперь, и все живо так встанет перед воспоминанием — тогдашние несчастья, и тогдашние радости, и тогдашние любви, — на нес находило, и она опять вставала и повторяла:

— Какой ты дурак, Петруша, дурак какой, что меня не приготовил! Зачем вы не ко мне прямо приехали? Я бы вас поместила, — говорила Марья Ивановна. — По крайней мере вы обедаете. Тебе не скучно будет у меня, Сергей, у меня обедает молодой севавтополец, молодец. А Николая Михайловича сына ты не знаешь? Он писатель, что-то хорошее там написал. Я не читала, но хвалят, и он милый малый, я и его позову. Чихаев хотел тоже приехать. Ну, этот болтун, я его не люблю. Он уже был у тебя? А Никиту видел? Ну, да это все вздор. Что ты намерен делать? Что вы, ваше здоровье, Наташа? Куда этого молдца, эту красавицу?

Но разговор все не клеился.

Перед обедом Наталья Николаевна с детьми поехали к старой тетке, брат с сестрой остались вдвоем, и он стал рассказывать свои планы.



— Соня большая, ее надо вывозить; стало быть, мы будем жить в Москве, — сказала Марья Ивановна.

— Ни за что.

— Сереже надо служить.

— Ни за что.

— Все такой же сумасшедший. — Но она все так же любила сумасшедшего.

— Надо сидеть здесь, потом ехать в деревню и детям показать все.

— Мое правило — не вмешиваться в семейные дела, — говорила Марья Ивановна, успокоившись от волнения, — и не давать советов. Молодому человеку надо служить, это я всегда думала и думаю. А теперь больше чем когда-нибудь. Ты не знаешь, что такое теперь, Петруша, эта молодежь. Я их всех знаю. Вон князя Дмитрия сын совсем пропал. Да и сами виноваты! Я ведь никого не боюсь, я старуха. А нехорошо... — И она начала говорить про правительство. Она была недовольна им за излишнюю свободу, которая давалась всему. — Одно хорошо сделали, что вас выпустили. Это хорошо.

Петруша стал было защищать, но с Марьей Ивановной было не то, что с Пахтиным; ему было не говорить. Она разгорячилась.

— Ну что защищать! Тебе ли защищать? Ты все такой же, я вижу, безумный.

Петр Иваныч замолчал с улыбочкой, показывавшей, что он не сдастся, но что спорить с Марьей Ивановной он не хочет.

— Ты улыбаешься. Это мы знаем. Ты со мной, с бабой, спорить не хочешь, — сказала она весело и ласково и так тонко, умно глядя на брата, как нельзя было ожидать от ее старческого, с крупными чертами лица. — Да не соспоришь, дружок. Ведь седьмой десяток доживаю. Тоже не дурой прожила, кое-что видела и поняла. Книжек ваших не читала, да и читать не буду. В книжках вздор!

— Ну, как вам мои ребята нравятся? Сережа? — сказал Петр Иваныч с той же улыбкой.

— Ну, ну! — грозясь на него, ответила сестра. — На детей-то не переводи, об этом поговорим. А я тебе

вот что хотела сказать. Ты ведь безумный, так и остался, я по глазам вижу. Теперь тебя на руках носить станут. Такая мода. Вы теперь все в моде. Да, да, я по глазам вижу, что ты такой же безумный, как был, — прибавила она, отвечая на его улыбку. — Удаляйся ты, Христом-богом тебя прошу, от всех этих либералов нынешних. Бог их знает, что они там ворочаются. Только все это хорошо не кончится. А правительство наше теперь молчит, а потом придется показать коготки, попомни мое слово. Я боюсь, чтоб ты опять не замешался. Брось это; все пустяки. У тебя дети.

— Видно, вы не знаете теперь меня, Марья Ивановна, — сказал брат.

— Ну, хорошо, хорошо, уж там видно будет, я ли тебя не знаю, или ты сам себя не знаешь. Только я сказала, что у меня на душе было; послушаешь меня — хорошо. Вот теперь и о Сереже поговорим. Какой он у тебя? — «Он мне не очень понравился», — хотела было сказать она, но сказала только: — Он на мать похож, две капли воды. Вот Соня твоя так мне очень понравилась, очень... милое такое что-то, открытое. Милая. Где она, Сонюшка? Да, я и забыла.

— Да как вам сказать? Соня-то будет хорошая жена и хорошая мать, но Сережа мой умен, очень умен, этого никто не отнимет. Учился прекрасно, — немножко ленив. К естественным наукам он большую охоту имел. Мы были счастливы, у нас был славный, славный учитель. Ему здесь хочется в университет — послушать лекции естественных наук, химии...

Марья Ивановна почти не слушала, как только брат начал об естественных науках. Ей как будто вдруг грустно стало. В особенности когда дело дошло до химии. Она глубоко вздохнула и отвечала прямо на тот ряд мыслей, которые вызвали в ней естественные науки.

— Кабы ты знал, как мне их жалко, Петруша, — сказала она с искренней и тихой, покорной печалью. — Так жалко, так жалко. Целая жизнь впереди. Чего еще они не натерпятся!

— Что же, надо надеяться, что они проживут счастливее нашего.

— Дай бог, дай бог! Да жить-то тяжело, Петруша! Ты меня послушай в одном, мой голубчик. Не мудри ты! Какой ты дурак, Петруша, ах, какой ты дурак! Однако мне надо распорядиться. Народу-то я назвала, а чем я их кормить буду?

Она всхлипнула, отвернулась и позвонила.

— Позвать Тараса.

— Все у вас старик? — спросил брат.

— Все он; да что же, ведь он мальчишка в сравнении со мной.

Тарас был гневен и чист, но взялся все делать.

Скоро, пышащие холодом и счастьем, вошли, шумя платьями, Наталья Николаевна и Соня. Сережа остался за покупками.

— Дайте мне на нее посмотреть.

Марья Ивановна руками взяла ее за лицо. Наталья Николаевна рассказывала.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ

\*

НАБРОСКИ



## ТИХОН И МАЛАНЬЯ \*

В деревне было пусто и празднично. Народ был весь в церкви. Только малые ребята, бабы и кое-какие мужики, поленившиеся идти к обедне, остались дома. Бабы вынимали из печей, ребята ползали около порогов, мужики кое-что осматривали по дворам. На улице было пусто. Был Петров день.

В конце улицы послышался ямской колокольчик и показалась тройка, запряженная в почтовую телегу.

Один из мужиков, остававшихся дома, Анисим Жидков, услышав колокольчик, бросил тележный ящик, который он переворачивал, и, скрипя воротами, вышел на улицу посмотреть, кто едет. У пристяжных были гривы заплетены с оборочками, коренная, знакомая ему чалая, была высоко подтянута головой под дугу. Она, чуть пошатывая головой, быстро, раскачиваясь, тронулась на изволок, когда ямщик, приподнявшись на колено в ящике, крикнул на нее. Лошади были гладки и не потны, несмотря на то, что солнце уже сильно пекло с совершенно ясного неба. Ямщик был курчавый, в новом кафтане и шляпе.

— Ермилин Тихон! — проговорил про себя Анисим, узнавая ямщика и выступая в своих новых лаптях на середину улицы.

---

\* Угловыми скобками обозначен текст, зачеркнутый Л. Н. Толстым, а квадратными скобками — редакторский текст.

Тихон, проезжая мимо Анисима, молча приподнял шляпу; и в выражении его лица было видно, что он очень счастлив и знает еще, что все не могут не завидовать ему и его тройке, которую он сам собрал и привел в такое положение, и что он только старается не слишком оскорбить других довольством, которое он испытывает. Он не крикнул на лошадей; снимая новую шляпу, надел ее не набок, а прямо, только шевельнул вожжой пристяжную и недалеко от Анисима, заворотив, стал сдерживать тройку, старательно и излишне продолжительно отпрукивая лошадей, которые и без того весьма скромно подходили шагом к знакомым воротам. Анисим, которого дела шли не слишком хорошо это лето, с завистью, но и уважением, подошел к Тихону, чтобы покалякать с ним.

Старуха мать, одна остававшаяся дома, вышла на крыльцо.

— Слышу, колокол, думаю, кто из ямщиков, — сказала сна радостно. — Стала опять пироги катать, мне и не слышать. Послушала, а он вовсе близко.

— Здорово, матушка! — сказал сын, соскакивая тяжелыми сапогами подле передка.

— Здорово, Тишенька. Жив ли, здоров ли?

И она продолжала говорить, как и всегда говорила обо всем, как о воспоминании чего-то грустного и давно прошедшего.

— Думаю вот, коли наш Тихон, старика-то нет и баб нет, к обедне ушли...

Тихон, не дослушав ее, вынул узелок из передка, вошел в избу, поклонился образам и, через сени пройдя, отворил ворота. Он заткнул рукавицы и кнут за пояс, припер ворота, чтоб не зацепить, провел под уздцы пристяжных, скинул петли постромок, захлестнул, развозжал, рассупонил, вывел, нигде не стукнул, не дернул и, как только бросал одно, так, не торопясь, но ни секунды не медля, брался за другое. Ничто не цеплялось, не валилось, не соскакивало у него под руками, а все спорилось и ладилось, тсчно все было намащено. Когда в руках у него ничего не было, большие пальцы его рук очень далеко оттопыривались от кистей,

как будто все хотели схватить еще что-нибудь и сработать. Распрягая, он не переставал говорить с подошедшим Анисимом.

Анисим подошел, лениво выкидывая свои ноги в лаптях и почесывая пояском живот под белой чистой рубахой. Он опять приподнял шапку и надел. Тихон тоже приподнял и надел.

— Ай по молодой жене соскучился? — сказал, посмеиваясь, Анисим, желавший расспросить совсем другое.

— Нельзя! — отвечал Тихон.

— Что наши, как живут? Митрошины? — серьезно уже заговорил Анисим, почесывая голову.

— Как кто. Кто хорошо, а кто и худо. Тоже и на станции как себя поведешь, дядя Анисим, — рассудительно и не без гордости думая о себе, сказал Тихон.

— Карего-то променял, что ли? — теперь уж мог спросить то, что хотел, Анисим. — Саврасую-то тоже купил, что ль?

— Что карий, только батюшка вздорил. Его бы давно отдать. Того и стоил.

И Тихон не без удовольствия рассказал, как он променял, купил, сколько выработал и сколько другие меньше его выработали. Анисим предложил, шутя и серьезно, поставить ему водки. Тихон тихо, но решительно отказал.

Между разговором он все делал свое дело. Лошади были отпряжены, он повел их под навес. Анисим, узнав все, что ему нужно было, стал молча чесаться обеими руками и, почесавшись, ушел. Кинув лошадям сена из ящичка, Тихон сдвинул шляпу на лоб и, оттопырив еще больше пальцы, пошел в избу. Но делать было нечего, и пальцы так и остались. Он только повесил, встряхнув, шляпу на гвоздь, смахнул место, где лежать армяку, сложил его и в одной новой александринской рубахе, которую еще не видала на нем мать, сел на лавку. Портки на нем были домашние, материной работы, но еще новые, сапоги были ямские, с гвоздями. Он на дворе отер их сенцом и помазал дегтем. Делать было решительно нечего: он расправил рукава, смявшиеся под кафтаном, и стал разбирать из узелка гостинцы. Для



жены был ситец большими цветами, для матери платок белый с каемочкой, баранок была связка для всех домашних.

— Спасибо, Тишенька, мне-то бы и даром, — говорила старуха, раскладывая на столе свой платок и поводя по нем ногтем. — Немного не застал. Старик еще с заутрени на поповке остался, а я вот домой пошла; молодые бабы охотились к поздней идти, подсобили мне горшки поставить и пошли, а я вот осталась.

И старуха, уложив платок в сундучок, опять принялась за работу у печи и, работая, все говорила.

— Все, слава тебе господи, — говорила она, — старик только мой от ног все умирает, как ненастье, так криком кричит, на барщину все больше Гришутка за него ходит. (Гришутка был меньшей, неженатый брат Тихона.) Спасибо, начальники не ссылают. Все Михеич старостой ходит. Что ж, жаловаться нечего, порядки настоящие ведет. Только, говорит, в косьбу Гришутку не посылайте — не вынесет, еще млад. Намеднись барские сады косили, так старик Гришутку послал, сам косу ему наладил и Герасима-свата просил отбивать; так как измучился, сердечный. — Я, матушка, говорит, не снесу. Все рученьки, ноженьки заломило. — Да и где ему? Тело мягкое, дробное, молодое. Так вот и не знаем, как быть, ты ли на покос останешься, работника ли наймать.

— Ну, а про господ что слышать? — спросил Тихон, видимо не желая даже и говорить о таком важном деле с бабою, хотя бы она и была его мать.

— Сказывали намеднись, что все будут, а то опять замолчали. Молодой тут живет, да его и не слышать. Всё Андрей Ильич заведует. Мужики говорят ничего, что-то только из-за покосов с ним вышло; старик знает, он на сходке был, все расскажет. Навоз свозили, слава те господи, запахали всю почесть землю. Осьминника два ли осталось. Старик знает. Барщина тоже ничего была. Мужикам все дни давали. Вот бабам так дюже тяжело было. Всё всеми да всеми. Замучили полоньем совсем. Какую-то (как ее?) свекловичу, что ли, все поют. Дома все я, да я одна бьюсь. Твоя баба с солдаткой что ни день, то на барщину. Хлебушки ставить,

коров доить, холсты и то я стелю. Покуда ноги служат. Незнамо, что дальше бог даст. Баба-то твоя молодая день-деньской замучается, а домой идет, хоровод ведет, песенница такая стала, где и спрашивать с нее, человек молодой, куражный; а народ хвалит, очень к работе ловка, и худого сказать нечего. Ну с солдаткой другой раз повздорят — нельзя. Старик покричит, и ничего. То-то рада будет, сердешная. Не чаяли мы тебя дожидаться. Вчера пирог ставила, думала, кто мой пирог кушать будет. Кабы знала, петушка бы зарезала для сынка дорогого. Слава богу, насадка вывела, трех продали.

Старуха говорила все это и много еще другого рассказала сыну — про холсты, про гумно, про стадо, про соседа, про прохожих солдат, и все делала свои дела и в печи, и на столе, и в клетки. А Тихон сидел на лавке, кое-что спрашивая, кое-что сам рассказывая, и, взяв на знакомом месте гребешок, расчесывал свои кудрявые густые волосы и небольшую рыжеватую бороду, и с удовольствием поглядывая в избе то на паневу хозяйки, которая лежала на полатах, то на кошку, которая сидела на печи и умывалась для праздника, то на веретено, которое сломанное лежало в углу, то на курицу, которая без него занеслась и с большими цыплятами зашла в избу, то на кнут, с которым он сам ездил в ночное и который Гришка бросил в углу. Не одни его оттопыренные пальцы, но и внимательные, поглядывающие на все глаза просили работы, ему неловко было сидеть, ничего не делая. Он бы взял косу, отбил бы, починил бы завалившуюся доску на полатах или другое что, но во время обедни нельзя работать. Наговорившись со старухой, он поднял охлопавшийся кнут, достал пеньки, вышел на крыльцо и на гвозде, у порога, стал свивать хлопок своими здоровыми ручищами, сделанными только для того, чтобы пудовиками ворочать, и все поглядывал по улице, откуда должен был идти народ из церкви. Но еще никого не было, только мальчишки в вымытых рубахах бегали около порогов. Мальчишка лет пяти, еще в грязной рубахе, подошел к порогу и уставился на Тихона. Это был солдаткин сын, племянник Тихона.

— Семка, а Семка, — сказал Тихон, — ты чей? —

улыбаясь на самого себя, что он с таким мальчишкой занимается.

— Солдатов, — сказал мальчик.

— А мать где?

— В кобедне, и дедушка в кобедне, — щеголяя своим мастерством говорить, сказал мальчик.

— Аль ты меня не признал? — Он достал из кармана один бублик и дал ему.

— Вон она, кобедня! — сказал мальчик нараспев, указывая вдоль по улице и бессознательно вцепляясь в бублик.

— А кто я? — спросил Тихон.

— Ты?.. дядя.

— Чей дядя?

— Тетки Маланьки.

— А тетку Маланьку знаешь?

— Семка, — закричала старуха из избы, слышавшая голос парнишки, — где пропадал? Иди, чертов парнишка, иди, обмою, рубаху чистую надену.

Парнишка полез через порог к бабке, а Тихон встал, хлопнул раза два навитым кнутом, чтоб увидеть, хорошо ли. Кнут хлопал славно.

Парнишку раздели голого и обливали водой. Он кричал на всю избу. Тихон стоял на крыльце и смотрел на улицу. День был красный, жаворонки вились над ржами. Ржи лоснились. В роще сохла роса с солнечной стороны и пели птицы. Народ шел из церкви. Шли старики большими, широкими шагами (шагами рабочего человека), в белых, заново вымытых онучах и новых лаптях, которые с палочками, которые так, по одному и попарно; шли мужики молодые, в сапогах; староста Михеич шел в черном, из фабричного сукна кафтане; шел длинный, худой и слабый, как плетень, Ризун, Фоканыч хромой, Осип Наумыч бородастый. Шли дворовые, мастеровые в свитках, лакеи в немецких платьях, дворовские бабы и девки в платьях с подзонтиками, как говорили мужики. На них только лаяли крестьянские собаки. Шли девочки табунками, в желтых и красных сарафанах, ребята в подпоясанных армячках, согнутые старушки в белых чистых платьях, с палочками и без палочек. Ребятницы с белыми

пеленками и холостые пестрые бабы в красных платках, синих поддевах, с золотыми галунами на юбках. Шли весело, говорили, догоняли друг друга, здоровались, осматривали новые платки, бусы, коты прошивные. Все они были знакомы Тихону; по мере того как они подходили, он узнавал их. Вот Илюшины бабы <щеголихи> идут. «Как разрядились, — думал Тихон, — и к другим не пристают» <не оттого, что у них платки и сарафаны лучше всех, но оттого, что сам строгий старик свекор идет той стороной дороги и посматривает на них>. Вон мальчишки идут за Илюшей и <втихомолку> смеются над ним. <Вон Осип Наумыч идет один в лаптях и старом кафтанишке, а Тихон знает, что у него денег станет всю деревню купить.> Вон идет худая разряженная баба, убрана, как богачка, а Тихон знает, что это самая последняя, заваливающая баба, которую муж уж давно бить перестал. Идет приказчица с зонтиком, расфрантилась, и работница их, Василиса, в красной занавеске. А вот Матрешкин, дворовый, красную кумачовую рубаху вчера купил в городе, надел, да и сам не рад, как народ на него дивится. Вот Фоканычева девка с дворовыми идет, с Маврой Андреевной разговаривает, оттого что она грамотница, в монастырь хочет идти. Вот Минаевы идут сзади, и баба все воеет, должно хоронила кого; а вон Ризунова молодайка идет <как купчиха разряженная и>, все в пеленки лицо прячет. Видно, родила, причащать носила. Вон Болхина старуха с клюкою, шла, устала, села <и все молится богу и прохожим говорит, что она нынче в последний раз в церкви была, что уж смерть ее пришла за ней. И поглядеть на нее, так кажется, что правда>. Все жива старуха. А уж лет сто будет. А вот и мои — старик большими шагами шагает, и все горб у него такой же, — думал Тихон. — Вот и она... <Красавицу, кто бы она ни была, баба ли, барыня ли, издалека видно. И идет она иначе, плывет точно, и голову несет и руками размахивает не так, как другие бабы, и цвета-то на ней ярче, рубаха белее и платок краснее. А как красавица она, да своя, так еще дальше узнаешь; так-то и> Тихон с другого конца улицы узнал свою бабу. Маланья шла с солдаткой и с

двумя бабами. С ними же шел замочной солдат в новой шинели, казалось уж пьяный, и что-то рассказывал, махая руками. Цвета на Маланье всех ярче показались Тихону. <Маланья где бы ни была, всегда к ней приставали, около нее сходились другие молодайки, мужики и молодые ребята, проходя мимо, замолкали и поглядывали на нее. Даже старик редкий проходил, чтобы не посмеяться с ней; ребята и девочки обходили ее, косились и говорили: «Вишь, Маланька-то, Маланька-то как идет».>

А Маланька шла точно так же, как и другие бабы, ни наряднее, ни чуднее, ни веселее других. На ней была панева клетчатая, обшитая золотым галуном, белая, шитая красным рубаха, гарусная занавеска, красный платок шелковый на голове и новые коты на шерстяных чулках. Другие были в сарафанах, и в поддевках, и в цветных рубахах, и в вышивных котах. Так же, как и другие, она шла, плавно и крепко ступая с ноги на ногу, помахивая руками, подрагивая грудью и поглядывая по сторонам своими бойкими глазами. <Да что-то не то было в ней, отчего ее издалека видно было, а вблизи с нее глаз спустить не хотелось>. Она шла, смеялась с солдатом и про мужа вовсе не думала.

— Ей-богу, наймусь в выборные, — говорил солдат, — потому, значит, в эвтом деле очень исправно могу командовать над бабами. Меня Андрей Ильич знает. Я тебя, Маланья, замучаю тогда.

— Да, замучаешь, — отвечала Маланья, — так-то мы летось земского в риге, лен молотили, завалили, портки стащили да так-то замучили, что побежал, портки не собрал, запутался. То-то смеху было.

И бабы покатались со смеху, даже остановились от хохота, а солдатка-хохотунья присела, ударила себя по коленям ладонями и завизжала хохотом.

— Ну вас совсем, — сказала Маланья, локтем толкая товарку и понемногу затихая от смеха.

— Ей-богу, приходи, — сказал солдат, повторяя то, что он уже говорил прежде, — сладкой водки куплю, угощу.

— Ей муж слаще водки твоей, — сказала солдатка, — нынче приехать хотел.

— Слаще, да как нет его, так надо чем позабыться для праздника, — сказал солдат.

— Что ты мое счастье отбиваешь? — сказала Маланья. — Больше водки покупай, Барычев, всебеспременно придем.

И вдруг Маланье вспомнилось, что муж второй праздник обещал приехать и не приезжает, и по лицу ее пробежало облако. Но это было только на одно мгновение, и она опять начала смеяться с солдатом. Солдат шепотом сказал ей, чтобы она одна приходила.

— Приду, Барычев, приду, — громко сказала Маланья и опять залилась хохотом. <Не много нужно, чтобы рабочим, молодым и здоровым людям в праздник было весело.> Солдат обиделся и замолчал.

Анисим Жидков, который видел, как Тихон въехал в деревню, стоял у порога своей избы; мимо самого него проходили бабы. Когда Маланья поравнялась с ним, он вдруг ткнул ее в бок пальцем и сделал губами: «крр...», как кричат лягушки. Маланья засмеялась и наотмашь ударила его.

— Что, хороводница, лясы точишь с солдатом, муж глаза проглядел, — сказал Анисим смеючись, и, заметив, как Маланья вся вспыхнула, покраснела, услышав о муже, он прибавил степенно, так, чтобы она не приняла за шутку:

— Ей-богу. В самые обедни на тройке приехал. Магарыч за тобой.

Маланья тотчас же отделилась от других баб и скорым шагом пошла через улицу. Пройдя через улицу, она оглянулась на солдата.

— Мотри, больше сладкой водки покупай, я и Тихона приведу, он любит.

Солдатка и другие бабы засмеялись, солдат нахмурился.

— Погоди ж ты, чертовка баба, — сказал он.

Маланья, шурша новой паневой и постукивая котами, побежала до дома. Соседка посмеялась ей еще, что муж гостинца — плетку привез, но Маланья, не отвечая, побежала к избе.

Тихон стоял на крыльце, смотрел на свою бабу, улыбался и похлопывал кнутом. Маланья стала совсем

другая, как только узнала о муже и особенно увидала его. Красней стали щеки, глаза и движения стали веселее и голос звучнее.

— И то, видно, плетку в гостинец привез, — сказала она смеясь.

— Ай плоха плетка-то? — сказал муж.

— Ничего, хороша, — отвечала она улыбаясь, и они вошли в избу.

Вслед за бабой пришел старик и пошел с Тихоном смотреть лошадей. Маланья скинула занавеску и принялась помогать матери собирать обедать, все поглядывая на дверь. Старик вошел в избу, старуха стала разувать его. Маланья побежала на двор к Тихону, схватила его обеими руками за пояс и так прижала к себе, что он крикнул и засмеялся, целуя ее в рот и щеки.

— Право, хотела к тебе идти, — сказала Маланья, — так привыкла, так привыкла, скучно да и шабаш, ни на что бы не смотрела, — и она еще прижалась к нему, даже приподняла его и укусила.

— Дай срок, я тебя на станцию возьму, — сказал Тихон, — тоже тоска без тебя.

Гришутка вышел из избы и, посмеиваясь, позвал обедать. Старик, старуха, Тихон, Гришутка и солдатенок, помолившись, сели за стол; бабы подавали и ели стоячи. Тихон ни гостинцев не роздал, ни денег не отдал отцу. Все это он хотел сделать после обеда. Отец, хотя был доволен всеми вестями, которые привез Тихон, все был сердит. Он всегда бывал сердит дома, особенно в праздник, покуда не пьян. Тихон достал денег и послал солдатку за водкой. Старик ничего не сказал и молча хлебал щи, только глянул через чашку на солдатку и указал, где взять штофчик.

Тройка была хороша, денег привез довольно. Но старику досадно было, что сын карего мерина променял. Карего мерина, опоенного, сам старик прошлым летом купил у барышника и никак не мог согласиться, что его обманули, и теперь сердился, что сын променял такую, по его мнению, хорошую лошадь. Он молча ел, и все молчали, только Маланья, подавая, смеялась с мужем и деверем. Старик прежде сам ездил на станции, но не знал этого дела и прогонял две тройки ло-

шадей, так что с одним кнутом пришел домой. Он был мужик трудолюбивый и неглупый, только любил выпить и потому расстроил свое хозяйство, когда вел его сам. Теперь ему весело и досадно было не за одного карего мерина, но и за то, что сын хорошо выстоял на станции, а сам он разорился, когда ездил ямщиком.

— Напрасно коня променял, добрый конь был, — пробормотал он.

Сын не отвечал. Понял ли он, или случайно, но Тихон ничего не сказал и начал рассказывать про своих мужиков, стоявших на станции, особенно про Пашку Шинтяка, который всех трех лошадей продал и даже хомуты сбыл.

Пашка Шинтяк был сын мужика, с которым старик вместе гонял и который обсчитал во время оно старика. Это была старая вражда. Старик вдруг засмеялся так чудно, что бабы уставились на него.

— Вишь, лобастый черт, в отца пошел; неправдой не наживешься небось.

И вслед за тем старик, поевши каши, утер бороду и усы и весело стал расспрашивать сына о том, как он выстоял эти два месяца, как бегают лошади, почему платят, с видимой гордостью и удовольствием. Сын охотно рассказывал, и разговор еще более оживился, когда запыхавшаяся солдатка принесла зеленый штофчик, старуха вытерла тряпкой толстый, с донышком в два пальца вышины стаканчик, и отец с сыном выпили по порции. Особенно понравился старику рассказ сына о царском проезде.

— И сейчас подскакал фельдъегерь, соскочил, едут, говорит, через десять минут будут, по часам гнал. Сейчас глянул Михаил Никанорыч на часы. — Тихон, говорит, мотри, все ли справно. Моя, значит, четверка заплетена, выведена, готово, мол, не ты повезешь, а мы поедем. — И Тихон, засунув свои оттопыренные большие пальцы за пояс, тряхнул волосами и оглянулся на баб; они все слушали и смотрели на него. Маланька с чашкой присела на краю лавки и тоже встряхнула головой точно так же, как муж, как будто она рассказывала, и улыбнулась, как будто говоря: «Каковы мы молодцы с Тихоном!» Старик положил свои обе руки



на стол и, нахмурившись, нагнул голову набок. Он, видимо, понимал всю важность дела. Солдатка, размахивая руками от самых плеч вперед себя и вместе, как маятником, прошла из двери, но, подойдя к печке, села, услышав, о чем идет речь, и начала складывать занавеску вдвое, потом вчетверо и потом опять вдвое и опять вчетверо. Старуха же, имевшая только одну манеру слушать всякий рассказ, веселый ли он был или грустный, приняла эту манеру, состоящую в том, чтобы слегка покачивать головой, вздыхать и шептать какие-то слова, похожие на молитвы. Гришка же, напротив, всякий рассказ слушал так, как будто только ждал случая, чтобы покатиться со смеху. Теперь он это и сделал; как только Тихон сказал свой ответ становому: «Не ты повезешь, а мы», он так и фыркнул. Тихон не оглянулся на него, но ему не показалось ни сколько не удивительно, что Гришка смеется, — напротив, он даже поверил, что рассказ его очень забавен.

— Только сейчас осмотрел я еще, значит, лошадей с фонарем, ночь темная была, — слышим, гремят с горы, с фонарями, два шестерика, пять четверней и шесть троек. Сейчас все по номерам. Сейчас передом Васька Скоморохинский наш с исправником прогремел. Тройку в лоск укатал, уж коренной волочитя, колокольчик оборвал. Уж исправник не вышел из телеги, а кóтом выкатился на брюхо. Сейчас: «Самовары готовы?» — «Готовы». — «Пару на мост живо послать», — перила там сгнивши были. Шинтяка живо снарядили с каким-то дорожным. Сейчас сам с фонарями подкатил прямо к крыльцу. Володька вез. Ему говорили, чтобы не заезжал по мосту, лошадей не сдержал. Живо подвывели наших. Все исправно было. Гляжу, Митька постромку закинул промеж ноги, так бы и поставил.

— Что ж, говорил что? — спросил старик.

— Сейчас говорит: «Какая станция?» Сейчас исправник: «Сирюково, говорит, ваше высокое царское величество». — «А? — представил Тихон, — а?» — и притом так чудно выставил величественно грудь, что старуха так и залилась, как будто услышала самую грустную новость. Гришка засмеялся, а солдатенок малень-

кий с полатей уставился на старуху бабу, ожидая, что будет дальше.

— Заложили шестерик, сел фолетором наш Сенька.

— То-то бы Гришутку посадить, — вставил старик, — обмер бы.

— Так бы отзвонил, — отвечал Гришка, показывая все зубы, с таким выражением, что видно было, он не побоялся бы ни с царем ехать, ни с отцом и с старшим братом разговаривать.

— Сенька сел, — продолжал Тихон, пошевеливая пальцами, — светло было, как днем, фонарей двадцать было; тронули — ничего не видать.

— Что ж, сказал что-нибудь? — спросил старик.

— Только слышал: «Сейчас, говорит, хорошо, говорит, прощай». Тут смотритель, исправник: «Смотри, говорят, Тихон». Чего, думаю, не ваше смотрение; помолился богу. — Вытягивай, Сенька. Только сначала жутко было. Огляделся мало-мальски — ничего, все равно что с работой ехать. — Пошел! — Думаю, как ехать, а под самую гору приходится, а тут еще захлестнули сукины дети постромку, как есть соскочила, — так на вожже всю дорогу левая бежала. Под горой исправника задавил было совсем. Он слезал за чем-то. «Пошел!» — покрикивает. Уж и ехал же, против часов четыре минуты выгадал.

Старик после каждого стаканчика несколько раз требовал повторения этого рассказа. Помолившись, встали от стола. Тихон отдал двадцать пять рублей денег и гостинцы.

— Ты меня, батюшка, отпусти, теперь работа самая нужная на станции, и беспрерывно велели приезжать, — сказал он.

— А как же покос? — сказал старик.

— Что ж, работнику, хоть двадцать пять рублей до покрова заплатить. Разве я с тройкой того стою? Я до покрова постою, так, бог даст, еще тройку соберу. Гришутку возьму.

Старик ничего не сказал и влез на полати. Повозившись немного, он позвал Тихона.

— То-то бы прежде сказал. Телятинский важный малый в работники назывался, Андрюшка Аксюткин.

Смирный малый, небывалый. И как просила Аксинья. «Чужому, говорит, не отдала бы, а ты, кум, возьми, Христа ради». Коли уж нанялся, так не знаю как быть, не двадцать же рублей заплатить, — сказал старик, как будто это невозможно было, как ни выгодна бы была гоньба на станции.

Солдатка, слышавшая разговор, вмешалась.

— Андрюха еще не нанялся, Аксинья на деревне.

— О! — сказал старик, — поди покличь.

И тотчас же, махая руками, солдатка пошла за нею. Маланька вышла на двор, подставила лестницу и взлезла на сарай; скоро за ней вышел и скрылся Тихон. Старуха убирала горшки, старик лежал на печке, перебирая деньги, привезенные Тихоном. Гришка поехал в денное и взял с собой маленького Семку, солдатенка.

— Аксинья у Илюхиных с сыном наниматься ходила. Она у кума Степана, я ей велел приттить, — сказала солдатка, — да старики на проулке собрались, луга делить.

— А Тихон где?

— Нет его, и Маланьки нет.

Старик помурчал немного, но делать было нечего, встал, обулся и пошел на двор. С амбара послышалось ему говор Маланьи и Тихона, но как только он подошел, говор затих.

«Бог с ними, — подумал он, — дело молодое, пойду сам».

Потолковав с мужиками о лугах, старик зашел к куму, поладил с Аксиньей за семнадцать рублей и привел к себе работника. К вечеру старик был совсем пьян. Тихона тоже целый день не было дома. Народ гулял до поздней ночи на улице. Одна старуха и новый работник Андрюшка оставались в избе. Работник понравился старухе: он был тихий, художавый парень.

— Уж ты его пожалей когда, Афромевна, — говорила его мать уходя. — Один и есть. Он малый смирный и работать не ленив. Бедность только наша...

Афромевна обещала пожалеть и за ужином два раза подложила ему каши. Андрюшка ел много и все молчал. Когда поужинали и мать ушла, он долго молча си-

дел на лавке и все смотрел на баб, особенно на Маланью. Маланья два раза согнала его с места под предлогом, что ей нужно было достать что-то. И что-то засмеялась с солдаткой, глядя на него. Андрей покраснел и все молчал. Когда вернулся старик хозяин пьяный, он засуетился, не зная, куда идти спать. Старуха посоветовала ему идти на гумно. Он взял армяк и ушел. Вечеру того же дня поставили двух прохожих солдат к Ермилиным.

## ИДИЛЛИЯ

ОНО ЗАРАБОТКИ ХОРОШО,  
ДА И ГРЕХ БЫВАЕТ ОТ ТОГО

### 1

⟨Петр Евстратыч теперь большой человек — управляющий. Легко сказать, над двумя деревнями начальник, как барин, повелевает. Один сын в купцах, другой чиновник, за дочерью, сказывают, 5 000 приданого дал; да и сам живет в холе, как барин, каждый год деньги в Москву посылают. А такой же наш брат — из мужиков взялся, Евстрата Трегубова сын. Да и не Евстрата сын оно; ведь только по сказкам числится Евстратовым сыном, а настоящее дело вот как было. Известно, чей бы бычок ни скакал, а теля-то наше.

И мудреное дело, как этот грех случился. Немало в те поры народ дивовался. Тогда народ проще жил, и такие дела за чудо были.

Бабушка Маланька, Петра Евстратыча мать, и теперь жива, с братом Ромашей живет. Сын к себе сколько звал — не хочет. Я, говорит, мужичкой родилась, мужичкой и помру, греха меньше; покуда силишка есть, брату подсобляю, внучат покачаю, кое-что по домашнему приберу; а Петруша сильный стал, с сильными греха больше. Так и живет, от сына гостинцы получает, благословенье ему в письме посылает, и радость ее

вся, что в праздник беленьким платочком повяжется, чистенько приберется, костылик возьмет, к ранней обедне сходит, а после полдней кого грамотного зазовет к себе, велит бумажку почитать. На бумажке сон пресвятой деви богородицы списан, ей богомолочка прохожая пожертвовала; а уж пуще всего любит, кто ей псалтырь почитает. В милостыне тоже у ней отказа нет, и переночевать всякого человека пустит, и к усопшему сама без зову идет. Зато-то бабушку Маланьку, не за сына, а за добродетель ее, и старый и малый в деревне, все теперь почитают.

Что молодость-то значит. Теперь бы бабушка Маланька сама себя не узнала, какой она была лет 40 тому. Тогда ее не бабушкой звали, а — Маланька Дунаиха, за то что она первая хороводница, плясунья, игрица первая по деревне была. Худою за ней и тогда, до этого случая, ничего не было, только веселая бой-баба была. Из деревни она была не из нашей, а из Малевки, сватал ее Евстратов отец за сына, по знакомству ли, или что невест своих не было, только чужая она. Старик еще в поре был, на сына другую землю принял и жил исправно; лошадей голов 8 было с жеребьятами, две коровы, пчелки были (и теперь у них ведется та же порода). Барщина была по-божьему, муки не было; свекровь хозяйка настоящая была, одна за троих работала; кроме того, солдатка, ихняя сестра, с ними жила, подсобляла. Так что молодайка нужды не видала.)

По старинному порядку, выдали ее замуж 15 лет. Она была девочка. В первое время, когда она, бывало, несет с солдаткой ушат воды, то как лозинка качается. И мужа своего совсем не любила, только боялась. Когда он подходил к ней, она начинала плакать, щипать и даже кусать его. Так что первое время все плечи, все руки у него в синяках были. Так она не любила его два года. Но так как баба она была красивая и смирная и из дому хорошего, то ее не принуждали к тяжелой работе, и она понемножку, года через три или четыре, стала выравниваться, повыросла, раздобрела, раздумянилась, перестала бояться — стала привыкать, привыкать, и так наконец привыкла к мужу, что плакала,

когда отец его в город усылал. Вошел к ним в избу раз шутник Петра и говорит:

— Вишь, по коем воет, конопатого черта-то как жалеет.

И хотел он с ней поиграть.

— Конопатый, да лучше тебя, что ты чистый. А вот что тебе от меня будет, — сказала она и ткнула его пальцем под нос.

〈Да и баба же стала на все руки. В праздник уберется в ленты, галуны, выйдет на улицу (краля изо всех баб молодайка. Ермилины жили богато, и из дому-то было и муж гостинцы приваживал), как купчиха какая — глаза светлые, брови черные, лицо белое. Войдет в хоровод с платочком борша водить или ленту снимет, плясать пойдет, языком прищелкивает, так аж пятки в спину влипают — картина;〉

Бывало, пройти ей нельзя, всякий поиграть хочет, старики и те приставали. Со всеми она смеялась, а мужу верна была, несмотря на то, что мужа часто дома не бывало. И в работе первая опять баба она была, в покос ли, в жнитво ли ухватку себе имела, что впереди всех, бывало, всех замучает, а домой идет, песни поет, перед хороводом пляшет. 〈Свекор с свекровью не нарадуются на сноху, что настоящая баба стала, только скучали, что бог детей не дает.〉

— Что не рожашь, буде гулять-то, — скажет, бывало, старуха. — Порадовалась бы, хоть внучку бы покачала, право.

— А разве я бы не рада, — скажет, — уж и то людей стыдно. Намеднись и то из церкви ребятницы прошли, молитву принимали, всего второй год замужем, а уж дети. Так у тех небось мужья дома живут.

Как вспомнит про мужа, опять завоет, начнет причитать. Известно, год, другой погулять бабе не порок, ну а как баба-то ражая, а детей не рожает, и народ смеяться станет. 〈От этого-то Маланьке пуще тошно было, как свекор мужа усал. Старик старинный мастер был по колесной части и хороших людей знал. Как Евстратка понял, его отец и стал посылать на заработки. А в это самое лето, как грех-то случился, и вовсе его отдал за 100 верст до самого покрова, а себе работ-

ничка нанял. Сына-то за 120 рублей отдал, а работнику всего 32 рубля да рукавицы дал, так известно расчет.) Скучно ей было без мужа. Дело молодое, рабочее, баба в самой поре, жили же исправно и мясо ели — тог пристаёт, другой пристаёт, а мужа почти полгода не видеть. (И песня поется. «Без тебя, мой друг, постеля холодна».) Придет ввечеру домой (сердешная), поужинает, схватит постелю да к солдатке в чулан. Страшно говорит, Настасьюшка, одной. Да еще все просится к стенке, а то все, говорит, чудится, что вот-вот — схватит кто меня за мои ноженьки.

## 2

⟨Между тем делом подошли покосы.⟩ Петра и Павла отпраздновали, платки, сарафаны, рубахи дорогие попрятали бабы по сундучкам, а то пошли опять на пруду вальками стучать, гости разъехались, целовальник один в кабаке остался, мужики похмелились, у кого было, кто с вечеру, кто поутру косы поотбили, подвязали брусницы на обрывочки и, как пчелы из улья, повысыпали на покосы. Повсюду по лощинам, по дорогам, заблестело солнышко на косах. Погода стояла важная; до праздника дни за три месяц народился погожий — серп крутой. Обмылся месяц, и пошли красные дни. Покосы время веселое; и теперь весело, а в старину еще лучше того было. Разрядятся бабы, с песнями на работу, с песнями домой. Другой раз, ночи короткие — винца возьмут, всю ночь прогуляют. ⟨Маланька впереди всех, что в хороводе, что на работе. Гогочет, заливается, с мужиками смеется, с приказчиком смеется, барина и того не оставила, а близко к себе никого не пускает.⟩

Пришел сейчас после пасхи староста повещать (еще зорька только занимается). Старостой тогда Михеич ходил, молодой был, и своя хозяйка первая еще жива была: только йорник насчет баб был. И мужчина белый, окладистый, брюхо наел, в сапогах, в шляпах щеголял. Приходит в избу, одна Маланька не одемши, босиком, дома была, в печи убиралась, старик на дворе с работником на пахоту убирался, старуха скотину погнала, а солдатка на пруд ушла. Стал к ней приставать.



— Я тебя и на работу посылать не стану.

— А мне что работа? Я, — говорит, — люблю на барщину ходить. На народе веселей. А дома все одно старик велит работать.

— Я, — говорит, — тебе платок куплю.

— Мне муж привезет.

— Я мужа твоего на оброк выхлопочу, — ведь уж я докажу приказчику, так все сделаю.

— Не нужно мне на оброк. С оброка-то голые приходят.

— Что ж, — говорит, — это такое будет; долго мне с тобой мучиться? — Оглянулся, что никого в избе нет, да к ней.

— Мотри, Михеич, не замай! — Как схватит ухват, да как огреет его. А сама смеется.

— Разве можно теперь? Вот хозяин придет. Разве хорошо?

— Так когда ж, с работы?

— Ну, известно, с работы. Как пойдет народ, а мы с тобой в кусты схоронимся, чтоб твоя хозяйка не видала.

А сама на всю избу заливаается, хохочет.

— А то, мол, рассерчает твоя Марфа-то, старостица.

Так что и сам не знает староста, шутит ли, или смеется. А тут старик вошел обуваться, а она все свое, и свекра не стыдится. Нечего делать, повестил, как будто затем только приходил — бабам сено гресть в заклах, мужикам возить, — и пошел с палочкой по другим избам. Кого и не следует, всех пошлет; кто и винца поставит, и то мало спуска дает, а Маланьку безо всего, или вовсе отпустит, или выбирает, где полегче. Только она за это ничего ему не покорялась, а все смеется, придду — говорит. То же и с другими. Мало ли ей в это лето случаев было. Да и сама она говаривала. Никогда такого лета не было. Сильная, здоровая, устали не знала, и все ей весело. Уберется, выйдет на покос, уж солнышко взойдет из-за лесу около завтрака, пойдет с солдаткой, песню заиграет. Идет раз таким манером через рощу — покос на Калиновом лугу был. Солнышко вышло, день красный, а в лесу еще холодок стоит, роса каплет,

птицы заливаются, а она пуше их. Идет, платок красный, рубаха шитая, босиком, коты на веревочке, только белые ноги блестят да плечи подрагивают. Вышли на поле, мужики господскую пашут. Много мужиков, сох 20 на 10 десятинах. Гришка Болхин ближе к дороге был, — шутник мужик, — завидел Маланью, завернул возку, подошел поиграть, другие побросали, со всеми смеется. Так до завтрака пробалясничали бы, кабы не приказчик верхом.

— Что вы, сукины дети, такие-сякие, хороходы водить.

Рысью на них запустил, так пашня под копытами давится, грузный человек был.

— Вишь б...., в завтрак на покос идут. Я вас.

Да как Маланьку признал, так и сердце прошло, сам с ней посмеялся.

— Вот я, — говорит, — тебя мужицкий урок допахать заставлю.

— Что ж, давай соху, я выпашу проти мужика.

— Ну буде, буде. Идите, вон еще бабы идут. Пора, пора греть. Ну, бабы, ну.

Совсем другой стал.

Так, как пришла на луг, стали порядком, как пошла передом ряды раскидывать, так рысью ажно, смеется приказчик, а бабы ругают, что черт, замучила. Зато как пора обедать ли, домой, уж всегда ее к приказчику посылают; другие ворчат, а она прямо к начальнику, что, мол, пора шабашить, бабы запотели, али какую штуку отмочит, и ничего. Раз какая у ней с приказчиком штука приключилась. Убирались с покосами, стог кидали, а погода обстоятельная была, надо было до вечера кончить. За полдень без отдыха работали, и дворовые тут же были. Приказчик не отходил, за обедом домой посылал. Тут же, под березками, с бабами сел. Только пообедал, — что, говорит, ты, кума Маланья, — он с ней крестил, — спать не будешь?

— Нет, зачем спать.

— Поди-ка сюда, поищи мне в голове, Маланьюшка.

Лег к ней, она смеется. Только бабы позаснули, и Маланья-то задремала; глядела, глядела на него, красный, потный лежит, и задремала. Только глядь, а он

поднялся, глаза красные выкатил, сам какой-то нескладный.

— Ты меня, — говорит, — приворотила, чертова баба.

Здоровый, толстый, схватил ее в охапку, волочит в чашу.

— Что ты, — говорит, — Андрей Ильич, нельзя теперь, народ проснется, срам, приходи, — говорит, — лучше после. Отпусти раньше народ, а я останусь.

Так и уговорила. А как отпустил народ, она вперед всех дома была. Сказывал парнишка, Андрей Ильич долго все за стогом ходил. И это ее первая охота была, что всякого обнадешит, а потом посмеется. Так-то, как приехал барин в самые петровки, был с ним камердин — такая бестия продувная, что беда. Сам, бывало, рассказывает, как он у барина деньги таскает, как он барина обманывает. Да это бы все ничего, только насчет <баб уж такой подлый, что страх>. Сбирались его тогда мужики побить, да и побии бы, спасибо, скоро уехал. А из нашего же брата. Полюбилась ему Маланька, стал тоже подвезжать, рубль серебра давал, синенькую, красенькую давал.

— Ничего, — говорит, — не хочу.

Так на хитрости поднялся. Старосту угостил, что ли, стакнулся с ним. Весной еще было — молотили, темно начинали.

— Я, — говорит, — полезу на скирд, а ты и пошли скидать одну. Там моя будет.

— Ладно.

Только влезла она на скирд, он к ней.

— Постой, — говорит, — тут не ловко.

Взяла, снопы раскидала, яму сделала да его туда и столкни, а сама долой, лестницу сняла да на другой скирд, раскрыла, подает. Рассвело уж, так сказала, — то-то смеху было. Бабы сбежались, портки с него стащили, напихали хоботья, и опять надели. Так все не пронялся, все старосту просил ее в сад посылать дорожки чистить. Тут-то на нее барин наткнулся. И не слышать за ним этого прежде было. Видно, уж баба-то хороша была. Только, — рассказывала сама, — смотрю, идет барин, дурной, худой такой, чудно как-то все на нем. Прошел, я за работу, скребу; только хотела отдох-

нуть, смотрю — опять по дорожке идет. Дорожки там густые, крытые. Ну, думаю, по своему делу гуляет. Только покосилась на него, так и впился в меня глазами. Так до обеда покою не давал, все ходит, смотрит. Так измучилась, что беда, на покосе легче. А не подходит. Барин-то, видно, так на нее глядит, известно, господам делать нечего, а она думает, за работой смотрит, так старается, что одна всю дорожку выскребла. Только хорошо, идет этот камердин опять к ней.

— Барину, — говорит, — ты дюже полюбились, велел прийти вечером в ранжерею.

Ладно, думает, это все твои штуки: приду, дождайся.

— Мотри же.

— Сказано, приду.

Вечером взяла скребку, пошла домой; только думает, что и в самом деле барин, пожалуй, звал. Зазвала солдатку, задами полезла к ранжерее, смотрят — ходит. Солдатка как закричит по-мужицки, такой голос она умела делать:

— Кто тут?

Барин бежать. Бабы смеялись, смеялись, пришли домой, покатываются — всем рассказали. На другой день опять в сад посылают. (Только повар пришел, говорит: так и так, ты, верно, камердину не веришь, так он меня прислал. Что взаправду он тебя хочет и непременно велел приходить.

— Ладно, я, — говорит, — думала, что камердин, так пошутила, испугать хотела, а теперь приду.

Как работу кончила, так прямо в дом да на девичье крыльцо.

— Чего, мол, тебе?

— Барин велел.

Вышла барыня.

— Чья ты? — говорит, — какая ты, — говорит, — хорошенькая. Зачем тебя барин звал?

— Не могу знать.

Вызвали барина, красный весь пришел.

— Приди, — говорит, — после с отцом, а мне теперь некогда.

А то раз днем к ней подошел, такое начал говорить, что она не поняла ничего. Только хотел ее за руку взять, она как пустится бежать, и ушла от него.)

Так-то она где хитростью, где обманом, а где силой. Раз поставили солдат к ним в избу. Известно, все вместе спать легли. Почти рядом. С вечера юнкер, из господ, что ли, свекора напоил; как потушили свечу, полез к ней. Так она его так огрела, что хотели жаловаться, чуть глаз не выбила ему. А то другой раз офицер стоял, так тоже обещала, да заместо себя ночью солдатку подсунула.

3

Так-то она никому спуску не давала. Мало того: кто к ней не пристанет, так она сама пристанет — раздражит да и посмеется.

— Несдобровать тебе, повеса, наскочишь, — бывало, скажешь ей.

— А что ж, скажет, — коли они меня любят, разве я виновата. Что ж, плакать, что ль. Отчего не посмеяться.

⟨Жил у них в это лето работник, Андреем звали, из Телятинок он был, Матрющки Короваихи сын. Теперь он большим человеком стал; а тогда беднее их двора по всей округности не было. От бедности отдали мало, а сами бог знает как перебивались.⟩

Андрюшка тогда был вовсе мальчишка, годов 16, 17. Длинный, худой, вытянулся, как шалаш, куда хочешь шатни, силишки вовсе не было. И как он работал, бог его знает, из последних сил выбивался. Малый же старательный, смиренный. Хозяина пуще станového боялся. Да и всякого старшего мужика уважал. Бывало, в праздник, чужой за вином пошлет — бежит, старается. А уж с бабами или девками — ну да девки у нас какие — поиграть, этого от него никогда не видно было. Как красная девушка зарумянится и сказать в ответ ничего не умеет, коли с ним баба пошутит. Лицом, правда, чистый, аккуратный был, глаза светлые, волосы русые, ну да все какой красавец — так, работник-мальчишка — армячишко платаный, рубашонка посконная, в

дырках, шляпенку какую-то у ямщиков старую выменял — босиком али в лаптишках, и те сам сплел — вся и обувь была. Так ведь и работнику лядашему покоя не дала, совсем одурила малого. Он сам сказывал.

— Пришел я, — говорит, — в дом, боюсь, страх. Хозяин ничего, указал все, велел, что работать; когда на барщину пошлет, когда с собой возьмет; косить или что не принуждает, пожалеет; что сам ест, то и мне даст; старуха тоже молочка другой раз даст; попривык к ним, только молодайки пуше всех боялся. Бог ее знает, чего ей от меня нужно было. Запрягать ли начну, или за соломой на гумно скотине пойду, подскочит, вырвет из рук. — «Вишь, — говорит, — телятинский увалень, коли поворотится. коли что». И сама начнет, да так-то живо, скоро все сделает, засмеется, уйдет. А то за обед или за ужин сядем, боюсь все чего-то, глаз не поднимаю; гляну на нее, а она все на меня косится, подмигнет другой раз, смеется. А то пройдет, ущипнет, а сама как ни в чем не бывало. Пойдут с солдаткой на амбар спать.

— Андрюшка, а Андрюшка! — слышу, зовут, Подойду.

— Чего?

— Кто тебя звал?

И заливаются, смеются.

Проснулся раз, в саях на дворе спал, что бабы помирают, смеются, на меня глядя.

— Заспался, — говорят, — поди, хозяин зовет.

Пошел.

— Что ты, — говорит, — измазался, хоть помойся, табун шарахнется, настоящий черт; на, поглядись в зеркальце.

Всего сажей испачкали. Поехали раз за сеном в Кочак, хозяин послал, с бабами. Только сгребли в валы, копнить стали. Баба так и кипит, подпрыгивает с вилами, пуда по 3 на граблю захватит, и Андрюха с ними. Только скопнили последнюю, жарко, мочи нет, запотели, Андрюха навилину последнюю положил, влез на копну, топчет.

— Что ты, — говорит, — Андрюшка, никогда с бабами не играешь?

— Нет, чего играть, копнить надо.

— И не знаешь, как?

— Не знаю.

— Хочешь, я поучу?

Он молчит. Схватила его, повалила под себя и ну мять, а солдатка на них сена навалила да сама навалилась.

— Мала куча, — кричит.

Андрюха вывернулся из-под нее, ухватил за голову и ну целовать, так осмелился. Так рассерчала.

— Вишь, сволочь, работничишка, целоваться лезет губищами своими погаными.

Вскочила, так засрамила, что беда. Малый совсем ошалел. Пришел домой, ничёго не понимает, что хозяин велит. Хозяин любил его, такой малый смиренный, усердный, что псискать.

— Что, мол, с Андрюхой сделалось, уж не умирает ли?

— Как же, умирает, он все с бабами играет. Пора умирать гладуху такому в самую рабочую пору. Вот и я умирать стану.

Пуще малого засрамила, что хоть бежать, мочи ему не стало. Приворотила его совсем после этого раза, что как бы только посмотреть на нее, а сам боится пуще начальника какого. Боится, а ночи не спит, днем не спит, все за ней ходит. Раз на покосе, у Воронки, вместе мужики и бабы были, косили заклы, а бабы гребли на Калиновом лугу. Пошли бабы купаться в обед и мужики тоже; мужики с одной стороны, бабы с другой стороны реки. Тишка шестипалый, даром что женатый, шутник был, подплыл к бабам, начал топить Маланьку.

— Платок замочу, — кричит, — брось, брось, черт, чуть не захлебнулась.

Откуда ни вывернулся Андрюшка, да к Тишке.

— Что ты ее топишь?

Подрались было. Как завидит, Маланья купаться пойдет, залезет в камыши, смотрит. Раз его бабы застали, повыскочили из воды, так в рубахе в воду втащили. Совсем одурел малый, только пища-то не очень сытная, чаем не поили, да и работа день-деньской, а как

вечер, так в ночное [с] стариком, так некогда о пустяках-то думать было. Особенно с того раза, <как> после покоса-то она его осрамила, ничего уж он с ней не говорил. Что бы ни делала, не буду, говорит, виду показывать. Хорошо. Погода все покосы в этот год стояла важнейшая. Не сено, а чай убирали; накануне скосят, а на другой день в валы гребли. Барское все убрали, и свое мужички посвозили, — тогда угодей много было, — возов по 6 на брата привезли, и еще дальний покос в роще оставался воза по два, да еще подрядил дворник нашу барщину исполу убрать казенные луга. Он их нанимал. Барщина у нас большая была, и затяжных много. Взались такие, у которых лишний народ был. У старика Евстратова работник был да солдатка, так сам с старухой на барщину ходил, а Андриюху с Маланьей послал к дворнику. Верст за 9 от деревни дворников покос был. Собралось кос 20. Накануне еще мужики пошли, скосили, на другой день бабы приехали; заложили телеги, забрали хлеба, квасу, огурцов, котелочки, круп и поехали на неделю. Всю дорогу песни, смехи; бабы, мужики человек по 10 в телегу надели. Андриюха своего хозяйского пегого меренка заложил — первая лошадь в деревне была (и теперь завод этот у них ведется). Уложил косы, у других ребят взял, бабы — грабли, котелки, сел с бабами, как князь с княгиней едут. Даже народ смеется. Выехали на большую дорогу. Стал народ перегоняться. Маланья говорит:

— Пошел!

— Хозяин не велел.

— Вишь, поп какой. Валяй!

— Смотри, я отвечать буду, а не ты.

— Ну, пошел!

Вырвала у него вожжи.

— Ну, сама делай.

Взял слез, пошел пешком. Такое сердитое лицо сделал.

Как приехали мужики — из себя же старосту выбрали — показал место, живо лошадей поотпрягли, поспутали, ящики посняли, загородили, деревья пона-



гнули, шалашики поделали, сенцом покидали, пошла работа. Андрей приходит.

— Где, — говорит, — мерин?

— А я почему знаю? Разве я работника? Ты бы ломался.

Что с бабой говорить. Махнув рукой, пошел у мужиков спрашивать. Нашел, спутал. Обиделась Маланья, ничего не сказала. Постой, я те вымещу, думает. Пошла работа: бабы в валы гребут, песни поют. Мужики за ними копят вилами. Старик дворник приехал, шутит с народом.

— Пожалуйста, братцы, постарайтесь, — говорит, — погода не устоит, вам же хуже.

— Винца полведра поставь.

— Ладно, — говорит.

Так любо-дорого смотреть, как работа пошла. В обед полчаса вздохнули, опять за дело. На барщине того бы в три дня не сработали. Весело, дружно. Одному только Андриюхе пуще других дней тошно. Расчет возьму, думает, пойду к матушке, скажу — на дороге наймусь. А сам все на Маланью смотрит. Под горой, видать, она передом по косогору идет, и ногой и граблей подкидывает сено, в два аршина загребает, сама песню поет, а не то гогочет, на всю рощу заливается. На него и не посмотрит ни разу. Еще ему тошней того. Нет, бросить надо, думает себе, не тот я человек. Пришли к телегам, уж темно, поужинали, винца выпили. Маланья Андриюшке слова не сказала. Которые старше, спать легли. Бабы по стаканчику выпили, так-то раскуражились, что и спать не хотят. Стали хороводы водить. Старик дворник с ними; еще за вином послали. Андриюхе грустно еще пуще того: все народ богатый, да и свои, а он чужой, работник; вино же он не пил и привыкать не хотел. Взял армячишко, ломоть хлеба отломил, пошел в сторону на копну, у березы стояла. Сено не готово еще было. Сгребли только от росы, — завтра разваливать опять хотели, на погоду глядя.

Сено сырое, зеленое еще, пахучее. Поскидал верх сырой, крупный — лесное сено — постелил армяк — лег; так-то ему грустно, грустно стало. Там, из-за лесу, бабы кричат, смеются — ребята за ними гоняются, Маланьин

голос слышно, — дымок до него доносит ветерком. А на небе чисто, чисто, звездочки дрожат. Лег навзничь, как ни устал, стал на звезды смотреть. За леском затихло все, а ему все не спится. Со скуки стал песню петь. Только что такое — копна шевелится.

— Кто тут?

Глядь, бабы.

— Кто ты, чего?

Узнал — солдатка с парнем прошла в кусты, другая баба и есть Маланья; взяла, ничего не говоримши, подошла к нему, села на копну.

— Это я. Что перестал — пой, Андрюша.

Андрюшка заробел, хочет петь, как будто голос пропал.

— Что ж ты, пой.

Взяла его за рукав, дергает.

— Я люблю эту песню, наскучили мне мужики, я от них ушла. Пой же.

— Ну... Оставь.

— Что тебе, скучно?

Молчит.

— Чего тебе скучать? Вот мне без мужа так скучно, а тебе что? Сыт, сух, чего тебе еще?

— Что тебе в муже, у тебя и без мужа много.

— Не мил мне никто, Андрюша. Тошно, скучно мне, мочи моей нет. Не мил мне никто, окромя мужа. А что ж ты с бабами не играешь?

— Что ж, я чужой, у вас своих ребят много.

— Ты серчаешь на меня?

— Нет, за что ж?

— Экой ты горькой, право, посмотрю я на тебя, не любимой ты, право. А за мерина рассерчал?

— Нет, Маланьюшка, я тебе всю правду скажу... ты меня оставь. Что я тебе?.. я работник... а то совсем глуп стал... ведь сам себе не властен... я на тебя и не смотрел прежде... мало ли, кажется, других баб по деревне... право, ты оставь... А что скучно, так дома давно не был...

⟨Она молчала и складывала занавеску вдвое, потом вчетверо и опять раскладывала.⟩

— А что ж, женить скоро?

— А бог знает.

— Я бы за тебя пошла.

Андрюшка помолчал. В кустах зашумело и свистнул кто-то. Андрюха засмеялся.

— Вишь, Настасья хозяйна нашла.

— Я бы пошла за тебя.

Маланья встала, села на колени к Андрюхе, обеими руками взяла его за щеки и поцеловала.

— Никто мне не мил, никто мне не мил.

Из кустов зашевелилось, она вскочила и побежала к солдатке.

— Что ты со мной делаешь, что ты со мной сделала, — сказал Андрюха и ухватил ее за руку. Но она вырвалась:

— Брось, вишь народ идет, увидит.

Андрюха не спал всю ночь, а она с солдаткой пришла к телегам и завалилась спать посередь баб и заснула, как мертвая, ничего не слыхала, не видала. Андрей долго сидел на кспне, слушал, рыскал около телег, но Маланья не встала; слышал он только, как собаки лаяли на станции, как петухи закричали, птицы проснулись, мужики пришли, сменились из ночного, как роса холодная покрыла землю и сено. Он сам не помнил, как заснул. На восходе его разбудили. Маланья была такая же, как всегда, как будто ничего не было.

#### 4

Как роса пососла, позавтракали, принялся народ опять за работу. Самая веселая работа подошла, возить, в стоги метать; кто поехал хворосту на падрину рубить, кто телеги запрягал, кто копны разваливал, кто жеребий кидает. День был красный, а старики говорили, что по приметам не устоять: росы мало было, табак у дворника в тавлинке к крышке прилип, ласточки низом летали, и мгла в воздухе была, издали не синело и так-то парило, что сил не было.

До сбеда уж порядочный стог скидали, с телег подавать стали и за большими вилами послали — не доставали. На скирду 3-ое подавальщиков, 2 с каждой сто-

роны, один очесывает. Дворнику сначала клали. Он сам распустил поясок, тоже подает — брюхо толстсе — так и льет с него.

Баб возить заставили. Маланька с солдаткой возят: только привезет, на возу сидит, мужики закрутят, велят, чтоб ее свалить, только успевай соскакивать, а то вывалят с сеном, то-то смеху. Раз не поспела, вывалили. Андрюха в подавальщиках был со мной. Хоть наша сторона полегче была, в тени, а замаялся мой малый без привычки, так что беда. Ну известно, перед народом старается не отстать, навилит, навилит, — особоз, как бабы смотрят, — перегнется, перехватит — другой раз не под силу, ну подымешь. Пойдет, ноги подламываются, навилина над головой, сверху на потнсе лицо сухие травки сыплются, липнут. Тут зарость, чьи скорее подают. «У нас больше». И шум, и смех, и работа-то, и запах, как одурелый сделаешься. А дворник все подгоняет — тучки собираются; что подгонять, дело свое — стараются из последней моченьки. К обеду скидали один стог, вывершили, веревку перекинули, спустились. Андрюха пошел, рук не чувствует. Чуть вздремнули, другой кидать стали. Охалками сначала живо идет, по зеленому листу падрины, потом выше, выше наши бабы зарятся, беда. Тучки же заходят.

— Братцы, кидай пупом, живо, ведро поставлю.

То-то закипело. А тучка ближе, ближе, ветер поднялся. Залез наверх дворник, на него кидать пошли; борода развеивается, не успеет огребать, завалили совсем; вылезет, опять завалит.

— Давай еще! Принимай! Вали с бабой! Круче вывершивай, отопчи, одергивай сверху. Еще осталось много ли?

— Две копны за кустами.

Бабам ехать пришлось — не знают, говорят. Андрюха мой, вижу, ослабел вовсе, бьется, да уж как лист дрожит.

— Ступай, ты знаешь.

А ветер сильнее, сильнее, тучка так и надвигает, борода и рубаха у дворника треплются, как на скворечнице. Обтер пот Андрюха, полез в телегу.

— Давай бабу еще на верх, — кричит.

— Нам давай.

Послали солдатку. Одернули с колес сено. Маланька встала, ухватила за вожжи, только ноги да груди подрагивают. Андрей, как кулек какой, через кочки треплется. За кусты поехали. Подъехали, слез навивать Андрюха, баба на возу принимать осталась, только посмеивается, глядя на него, ничего не говорит, охажками укладывает по грядкам, на него поглядывает. Хотел он навилину подать, подкосились ноги, упал на сено, моченьки не стало, перестал навивать.

— Что ж ты?

— А вот убью себя. Душегубка ты, вот что, злодейка, да, убью тебя и себе конец сделаю.

Соскочила к нему.

— Что ты, Андрей! Аль одурел, али испортили?

Схватил ее за рученьки.

— Не мучай ты меня, Маланьюшка, мочи моей не стало, али прогони ты меня с глаз своих ясных, не вели ты мне жить на белом свету, али пожалей ты меня сколько-нибудь. Знаю я, что не мне чета за тобой ходить, и хозяин у тебя мужик хороший. Не властен я над собою. Умираю — люблю тебя, свет ты мой ясный.

А сам ухватил ее за руки, заливается плачет.

— Вишь, силы нет навивать, а влип, как репейник, брось, вишь что выдумал. Брось, говорят, вот я хозяину скажу.

— Да ведь ты сама... зачем ты вчера меня целовала?

— Вчера хотелось, а нынче работать нужно. Ну, вставай, брось. Нонче ночь наша будет.

— Правда, Маланьюшка?

— А то разве лгать буду. Правда, что ночь будет. Вишь, дождик. Ну!

Нечего делать, очнулся кой-как, навил воз, перекинул веревку, поехали. Идет подле.

— Не обманешь?

— Верно.

А сама все смеется.

Скидали воз, только успели, а уж дождил крапит. Живо под телеги забился народ, шабаш. Дворниково

сено убрали, свое всталось. Делать нечего, пошел народ по домам. Ведь догадалась же, шельма, Андрея оставила с телегой, сама с солдаткой домой пошла. Только вышли, Никифор, что с солдаткой жил, за ними. Отстала солдатка, Маланья одна домой пошла. Дождичек прошел, солнышко проглянуло, идти лесом. Маланька разулась, подобрала паневу на голову, идет, ноги белые, стройные, лицо румяное, ну как ни прибежится, все красавица — красавица и есть.

Тут ее, видно, бог и наказал за все шутки и за Андрюху. Дворник сено гуртовщику запродавал и гуртовщика-то в этот самый день звал на покос сено посмотреть. Идет Маланька через поляну и о чем думает, бог ее знает: и солдатка тут с Никифором в голове и Андрюха — сама ушла, и жалко ей крепко Андрюху, и все; идет, видит — навстречу человек на коне верхом едет. Кафтан купеческой, картуз, из кафтана рубаха александринская, сапоги козловые, конь низовой, молодцевкой и на коне седок, из себя молодчина — орел, одно слово сказать, толстый, румяный, чернобровый, волосы черные, кудрявые, борода, усы чуть пробиваются. Едет, трубочку, медью выложенную, покуривает, плеткой ременной помахивает. Из себя, сказать, что красавец, кто его не знал. Маланька не видывала его в жизнь, а мы так коротко знали Матвей Романыча, гуртовщика. Такой шельмы другой, даром что молодой, по всей губернии не было. Насчет ли баб, девок обмануть, скотину чумную спустить, лошадами барышничать, рощицу где набить, отступного взять — дошлой был, даром что годов 20 с чем, и отец такая же каналья.

— Здравствуй, тетушка, куда бог несет?

А сам поперек дороги стал.

— Домой идем, что дорогу загородил, я и обойду.

Повернул лошадь, за ней поехал. Посмотрит на него баба — орел, думает, это не Андрюхе чета.

— Как тебя зовут, молодайка?

— А тебе на что?

— Да на то, чтобы знать, чья такая красавица бабочка.

— Какая ни есть, да не про тебя. Нечего смеяться-то.

— Какой смеяться. Да я для такой бабочки и ничего не пожалею. Как звать?

— Маланьей. Чего еще нужно?

(Он опять дорогу загородил). Слезать стал.

— Мотри! — да граблями на него.

— А по отчеству как?

— Радивоновна.

Слез, пошел с ней рядом.

— Ах, Маланья Радивоновна, хоть бы поотдохнула минутку, уж так-то ты мне полюбилась.

А Маланька как чует чего недоброго, и лестно ей, и любо, и жутко, все скорее шагу прибавляет.

— Ты своей дорогой ступай, а я своей. Вот мужики сзади едут. Тебе дорога туда, а мне сюда.

— Маланья Радивоновна, мне, — говорит, — за той бой не в тягость идти.

Взял из кармана платок красный, достал, ей подает.

— Не нужно мне от тебе ничего, брось.

— Матушка, красавица, Малашенька! — говорит. — Что велишь, то и сделаю, полюби только меня. Как увидал тебя, не знаю, что надо мной сделалось. Красавица ласковая, полюби ты меня!

И бог знает, что с ней сделалось, такая бой-баба с другими. Только потупилась, молчит и сказать ничего не умеет. Схватил он ее за руки.

— Негаданная, незнатая ты моя красавица, Маланья Радивоновна, полюбил я тебя, что силы моей нету. Десять месяцев дома не бывал, — сам бледный как полотенцо стал, глазами блестит, — мочи моей нет. — Сложил руки так-то: — Богом прошу тебя, — голос дрожит, — постой на час, сверни ты с дороги, Маланья Радивоновна, утешь ты мои телеса.

Растерялась, только и сказала:

— Ты чужой, я тебя не знаю.

— Я чужой, и стыд с собой увезу.

Да как схватит ее на руки, — мужик здоровый, — понес ее, сердешную.

Разузнал все об ней, где двор и где ночует, вынул кошелек из-за пазухи, достал целковый рубль, дал ей. Взыла баба:

— Пожалей ты меня, не срами.

— Вот тебе, — говорит, — моя память, а завтра, как темно, так я засвищу на задворке.

Проводил ее до выхода из лесу, сел на коня и был таков.

5

Пришла домой, старик, старуха ничего не знают, не ведают, а видят — баба другая стала. Ни к чему не возьмется, все куда бегаёт. Андрюхе еще тошней стало. Пришел он раз к ней на гумно, стал говорить, так как на злодея напустилась, остервенилась вовсе, заплакала даже.

— И не смей ты говорить мне ничего, навязался — черт — пошутить нельзя, — заплакала даже, — от тебя мне горе все.

Ничего не понял, еще тошнее стало Андрею, а все уйти силы нет. Хотел отец его на другом месте поставить, много лишксв давали, так нет, — говорит, — я даром здесь жить стану, а в чужие люди не пойду.

Тут, с этого покоса, и погода переменилась, дожди пошли беспрестанные; которая мужицкая часть осталась, так и сопрела в лугах. Кое-что, кое-что высушили по ригам... С утра и до вечера лило; грязь, ни пахать — из рук соха вырывается, гужи размокают, ни сено убирать, ничего. Идет раз Андрюха в ригу, на барщину, по лужам посклизается, шлепает; видит, баба, накрывшись платком, с хворостиной, голыми ногами по грязи ступает — корову Маланька искала. Дождь так и льет как из ведра целый день, скотину в поле не удержат пастухи. Смотрит, гуртовщик едет, поразнялся с ней.

— Нынче, — говорит.

Маланька голову нагнула. «Так вот кто», — думает Андрей. Пришел домой, спать не лег, все слушал. Слышит, свистнул кто-то за гумнами. Маланька выскочила, побежала. Пришел Андрей к овину, видит — мужик чужой.

— Ты кто?

— Работник.



— Не сказывай, на двугривенный. — Взял Андрей двугривенный, что станешь делать. Только не Андрей один узнал, стали замечать по деревне: часто наезжает гуртовщик, Маланька с солдаткой бегают. Ну, да мало ли что говорят, вернсно никто не знал. Приезжает раз Евстрат ночью. Слышал ли он, или так, — бабы нет.

— Она, — говорят, — на гумно пошла.

Пошел в овин — голоса. Задрожал даже весь. В сарай, глядь — сапоги.

— Эй, кто там? — да дубиной как треснет; дворник в ворота, да бежать. Малашка выскочила в рубахе одной, в ноги.

— Чьи сапоги?

— Виновата.

— Ладно ж, ступай в избу.

А сам сапоги взял, понес. Лег спать один. Утром взял чересседельню свил, видит Андрей. Зазвал бабу в чулан, ну жучить; что больше бьет, то больше сердце расходитя. «Не гуляй, не гуляй!» — за волоса да обзъем, глаз подбил. А она думает: «В брюхе-то что сидит, не выбьешь».

Мать стала просить. Как крикнет: «Кто меня учить с женой будет!» — что мать застыдилась, прощенья просить стала. Запряг лошадь, поехал с Андреем пахать. Стал допрашивать.

— Ничего не знаю.

Приехал домой, отпряг, баба ужинать собирает — летает, не ходит; умылась, убралась, синяк видно, и не смеет взглянуть. Поужинали. Старики пошли в чулан. Лег на полати, к краю, ничего не говорит.

— Туши лучину.

Потушила. «Что будет делать?» — думает. Слышит, разувается. Ладно. Видит, прошла мимо окна. Ведь шесть месяцев дома не был, да и побил. Так-то мила она ему. Подле него зашевелилась молча. Приподняла армяк, как прыгнет к нему, как козочка, в одной рубахе, обняла, чуть не задушила.

— Не будешь?

— Не поминай!

С тех пор и забыла думать о дворнике, А Евстрат сапоги продал за 6 р. и смеялся часто:

— Не попался он, я бы с него и армяк снял.

Андрюха дожид до покрова и пошел домой и долго все не забывал, а тут на него землю приняли, женили. Через 9 месяцев Маланья родила, выпечатала в дворника, и любимый ее был старший этот самый Петрушка.

НЕ ИГРАЙ С ОГНЕМ — ОБОЖЕШЬСЯ

1

Маланья Дунаиха взята из чужой деревни — Малевки. Сосватал ее старик Дутлов за старшего сына по знакомству. Своих невест тогда в деревне не было, да и девочка была славная и из дому хорошего. Замуж она вышла всего годочков четырнадцати; вовсе ребенок не-смысленной была. Ни силы еще, ни понятия вовсе не было. На груди занавеску где хочешь перетяни, как скатерть на столе постели. Чуть приметно, что не парень паневу надел. Не скажешь, что баба, даром что платком повязана. Понесет ушат с водой, так как лозинка качается. А Евстрата — мужа так звали — с первого начала страх не любила. Как огня боялась. Он, бывало, к ней, а она плакать, щипать, кусать его примется. Все плечи, руки у него в синяках были. И не месяц и не два, а год и другой и третий не любила она его. Ну, бабочка она аккуратная из себя, смиренная, да и жили-то Дутловы по-божьему и исправно, так и не принуждали дюже молодайку ни к работе, ни что.

Дутловы в то время хоть не богачи были, а люди с достатком. Старик сам в поре еще был, тягло тянул, сына женил, другую землю принял; второй сын. Трифон, уже подсобка была, пахал; солдатка еще с ними жила, барщина не тяжелая была; лошадей было голов восемь с жеребятами, две коровы, пчелки были (и теперь у них та же порода ведется). Дороже всего, что старик мастер был по колесной части, и Евстратка у него понял хорошо, так что, кроме всего, заработки хорошие были; и в работе-то натуги не было, и ели хорошо, в праздник и винца купят.

Прошел год, и два, и три, как Маланька в двор вошла, повыросла, разругалась, раздобрела, псвыравнялась бабочка, так что узнать нельзя. В праздник уберется — бусы, ленты, платок ксврсвий, выйдет на улицу — изо всех баб баба. И из дому-то было, да и муж гостинцами дарил, как купчиха какая. Платок алый, брсви черные, глаза светлые, лицо румяное, чистое, сарафан ситцевый, коты строченые, сама как береза белая была, никаксй болезни никогда над собой не знала. Выйдет ли в хоровод борша водить — краля; или плясать пойдет, — так аж пятки в спину влипают — картина. К работе тоже очень ловка и сносна стала. С граблями ли, с серпом, на барщине ли, дома — никого вперед не пустит, такую ухватку себе взяла; замучает баб всех, а домой идет — песню запоет, по-мужицки так, из-за роци слышно <али пляшет перед хороводом>. А домой придет — ужинать сберет, старухе подсобит. Свекор с свекровью не нарадуются, какая молодайка вышла, а муж и души не чаял. Бывало, ни в праздник, ни в будни пройти ей не дадут; всякий поиграть хочет — старики и те приставали. Со всеми смеется, только худого ничего не слышно было; однако мужа любила, так-то к нему привыкла, что как на неделю ушлет его отец за ободьями или что, так как тоскует <воет, воеет, словно по матери родной убивается>; а придет муж, и не знает, как приласкать, не то что прежде — к себе подойти не пускала, как кобылка степная.

— Вишь, по ком вое, — говорит ей раз сосед Никита, — конопатого черта-то как жалея, какого добра не видала, — пошутил он.

Так как вскинется на него. Хотел он было поиграть с ней — куда!

— Конопатый, да лучше тебя, что ты чистый, а вот что тебе от меня.

Да как ткнет ему пальцем под нос. Оно точно, Евстрат-то ее конопатый был и из себя нескладный, длинный, грубой, неразговорчивой мужик был. Только что здоров, против него силой другого по деревне не было, и хозяин настоящий был. Даром что молодой, отец его одного, бывало, за всякими делами посылает. Что я, что Евстратка — все одно, говорит. И Евстратка жену

еще пуще любить стал, только в одном скучал, что детей не было. Бывало, и старуха скажет:

— Что не рожаешь, буде гулять-то: порадовалась бы, хоть внучку покачала, Маланьюшка, право.

— А разве я бы не рада, — скажет, — уж и то людей стыдно. Намеднись и то Ризунова из церкви с младенцем прошла, молитву принимала; всего второй год замужем. Так у ней небось муж дома живет.

Известно, год-другой погулять бабе не порок, ну, а как баба-то ражая, в самой поре, а детей не рожает, и народ смеяться станет.

От этого Маланье на третий год пуще тошно стало, как свекор мужа на все лето в работу за сто верст отдал. Сына за сто двадцать рублей отдал, а рабстника нанял за тридцать два рубля да рукавицы. Хозяину расчет, а бабе горе. Взвыла баба, как проводила его, как будто сердце что чуяло. Как по матери родной убивалась.

И песня поется: «Без тебя, мей друг, постеля холодна».

〈Дело молодое, жаркое, в самом соку баба, всегда с народом, с младыми ребятами на работе с утра до поздней ночи. Тоже и мясо ела. Тот пристаёт, другой пристаёт, а мужа через три месяца жди.〉 Днем смеется-смеется с народом, а после ужина схватит, сердешная, постель да к солдатке в чулан. — Страшно, — говорит, — Настасьюшка, одной. — Да еще все просится к стенке. — Все, — говорит, — чудится, что вот-вот схватит кто меня за мои нсженьки, потащит меня, — боюсь страх! — А сама не знает, чего боится. И баба, кажись, не таковская, чтобы побояться чего-нибудь.

И прежде приставали к бабе, а как муж уехал, так вовсе покою с утра до вечера давать не стали. Она и сама говорила, что такого веселья, как в это лето, никогда ей не было. И случаев много ей было, коли бы захотела пустяками заниматься. Придет, бывало, с утра староста повещать, еще зорька занимается; к

другим десятского пошлет, а уж к Дутловым сам зайдет, час целой сидит, с бабами шутит. Старостой Михей ходил, малый молодой, немученный и до баб ёрник беда был. Как только одну захватит и начнет:

— Только прикажи, что хочешь сделаю, никуда посылать не стану, мужа на оброк выхлопочу, платок куплю, что велишь, все сделаю, все могу, только не мучь ты меня. А то, право, не рассерди ты меня.

Так ни да, ни нет не скажет.

— На барщину, — говорит, — посылай, мне веселей на миру работать, дома та же работа; платка твсего мне не нужно, мне муж привезет; на оброк мы и так не хотим, а сделать ты мне ничего не можешь. Не бсюсь тебя, да и все.

Честью просить станет:

— Маланьюшка, матушка, ведь много других баб, а ни одна не мила.

Обнимет ее, так смеется.

— Ладно, ладно, — говорит. — Разве можно теперь? хозяин придет, разве хоршо?

— Так когда ж? с работы?

— Известно, с работы как пойдет народ, а мы с тобой в кусты схорснимся, чтсб твоя хозяйка не видала. — А сама на всю избу заливается, хохоchet. — А то, мол, рассерчает дюже твоя Марфа-то, старостиха.

Так что не знает староста, шутит ли, нет ли. При свекоре, при свекрови все свое кричит, не стыдится. Нечего делать, повестит, как будто затем только и приходил, пойдет с палочкой по другим избам. А всё кого других и лишний раз пошлет, и на тяжелую работу, а Дутловы как хотят, так и ходят, и все из-за Маланьки. Маланька охотница была на барщину ходить, осбенно на покос. Дома приуправится, уберется, как на праздник, возьмет грабли, в завтраки выйдут с солдаткой на покосы.

Идет раз таким манером через рошу. Покос на Калиновом лугу был. Солнышко повышло из-за леса, день красный, а в лесу еще холодок. Опоздали они с солдаткой, разулись, идут леском, гутарют. Только вышли на поле, мужики господскую пашню поднимают. Много мужиков, сох двадцать на десяти десятинах по дороге

было. Гришка Болхин ближе всех к дороге был, — шутник мужик: завидел баб, завернул вожжу, уткнул соху, вышел на дорогу, стал играть с бабами, не пускает. Он слово, а они два; другие ребята молодые тоже сохи побросали, подошли, всех Маланька переполошила, песню заиграли, плясать вздумали. Такую гульбу сделали, как свадьба ровно. Глядь, а из-за рощи приказчик верхом едет. Как завидел, плеть поднял, запустил через пашню рысью на мужиков. По щетку лошадь в пашне вязнет — человек грузный.

— Сукины дети, такие-сякие, хороводы водить, вот я вас!

Мужики, как тараканы из-под чашки, по десятинам разбежались, а бабы грабли на плеча вскинули, идут, как ничего не бывало. Смеется Маланька. Никого не боялась. Наскакал приказчик.

— Я, — говорит, — вас найду, — к мужикам да на баб с плетью, — я вас, такие-сякие, курвы устюжные, — такая у него пословица была, — в обед на покос идут да еще хороводы на поле водят.

Совсем было осерчал, да как Маланьку признал, так и сердце прошло, сам с ней посмеялся.

— Вот я, — говорит, — тебя мужицкие уроки допахивать заставлю.

— Что ж, — говорит, — давай соху, я проти мужика выпашу.

— Ну буде, буде. Идите, вон еще бабы идут. Пора, пора греть. Ну, бабы, ну!

Совсем другой стал.

Зато придет на луг, поставит баб на ряды трясть, выйдет Маланька вперед, так бегом начнет растрясать, так что бабы ругать зачнут: замучала, мол, совсем. А начальнику, известно, любо — смеется.

Зато когда обедать или шабашить пора, замучаются бабы, промеж себя поговаривают (пора бы отпустить), Маланька прямо к начальнику идет, отпустить просит, и отпустят. Никого она не боялась. В рабочую пору раз как-то спешная уборка была, целый день работали, а обедать домой не отпускали. Хлебца закусили, присели отдохнуть на полчаса. И приказчик за обедом домой посылал, тут же с бабами в холодок сел,

— Что, кума, спать будешь? — говорит. Он с Маланькой крестил.

— Нет, — говорит, — зачем спать, только раззадоришься.

— Так поищи в голове, Маланьюшка, смерть люблю.

Лег к ней на колени, как раз заснул. Так что ж? Взяла березок, веников нарвала, — бабы ей подали, — убрала ему венками голову всю, за рубаху натыкала, в нос ему листьев засунула. Проснулся, гогочут бабы, на него гляючи, — покуда хватился. И ничего.

А то приехал барин в это же лето, был с ним холоп, такая бестия продувная, что беда. Сам, бывало, рассказывает, как он барина обманывает, у него деньги таскает. Это бы все ничего, только насчет баб такой подлый был, что страх.

## ОТРЫВКИ РАССКАЗОВ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

### 1

Все говорят: не делись, не делись. Терпи, а не расходись. Что поделился, то разорился. Так и старики говорят, в старину не делились — богаче жили; так и мир судит, чтобы больше двойников или тройников было; было бы кому мирское дело потянуть; так и господа начальство судят. Особенно старые господа. Как кто делиться вздумает, посекут обоих, да и велят опять вместе жить. А опять придешь, опять то же будет.

А настоящее дело, другой раз дележ баловство, а другой раз не миновать делиться, брату ли с братом или отцу с сыном. Что больше вместе жить, то греха больше. Все больше от баб, говорят, дележ бывает. Другой раз и не от баб, да не миновать делиться. Так-то с Сергеем Резуновым было.

Остался Сергей после отца сиротой, всего годочков 6 от роду. Прозвище его настоящее Трегубой; так его отца звали, а уж Резуновым он по вотчиму называться стал. Отчего Трегубой помер, бог его знает; говорили старухи умные (они все знают, старухи), говорили, что его в Саламатине баба испортила, только не верю я что-то бабам, а должно, простудился, горячка или другая болезнь от бога была. Мужик он был одинокой, бедный, остались после него молодайка-вдова, да трое



сирот, Сережка да две девочки. И помер-то в самое голодное время перед осенью. Хоть по миру иди. Спасибо, господские были, хоть плохи-плохи, а сходила к приказчику, велел отсыпное выдавать, на вдову два пуда, да на детей полтора.

Кто Сергея Резунова знал большим, старым, тому трудно подумать, какой он был маленьким Сережкой. Старый Сергей был мужик аккуратный, не высокий, не малый и не худощавый, не толстый, а середка на половине. Волосы на голове были русые, не курчавые, так мочалками висели, все в глаза попадали; борода была небольшая, клином, на щеках вовсе волос не росло, и когда я его знал, то уж много седых волос было; нос был загнутой крюком, и поперек и под глазом шрам был, еще мальчиком топором разрубили; рот был небольшой, аккуратный: как засмеется, <бывало, так всем весело станет;> зубы белые, ровные. Только смеялся он не часто, нешто когда выпьет, а то больше мужик серьезной был. Засунет, бывало, персты большие за кушак: «ну что, милый человек», — такая у него поговорка была, и что ему ни скажи, всякое дело разберет и докажет.

Так кто его таким-то знал, тому трудно подумать, какой такой был Сережка-сиротка, когда его еще от земли не видать было.

А был он маленькой, белоголовый, пузатый парнишка, и повеса был, за то и много его тогда мать била. Нужда, горе, а тут еще дети. Прибьет, бывало, с горя, а потом и самой жалко.

Вот в те-то поры, когда еще его от земли не видать было, помнит он, что пришел к ним раз в избу сосед, дядя Федор. Дело было осенью, с хлебом убрались, народ дома был. Пришел дядя Федор пьяный, ввалился в избу: «Марфа, а Марфа, — кличет, — иди угощай меня, я жених пришел». А Марфа на выгоне замашки стелила. Сережка играл с ребятами на улице, увидел дядю Федора, за ним в избу пошел, через порог перешагнул, а сам руками за него ухватился, — такой еще малый был.

— Кого тебе, дядюшка?

— Где мать?

- На старой улице замашки стеле.
- Беги, покличь ее, я тебе хлеба дам.
- Не, не дашь, ты намерднись Ваську побил.

— Беги, кличь маму, постреленок, — да как замахнется на него. — О! убью, трегубое отродье! — да как закотит глаза, да к нему. Пошутить, что ли, он хотел, только Сережка не разобрал, вывернул глаза, глянул на него, да опять на четвереньках через порог! да в переулок задворками через гумно, да на выгон, только босые ножонки блестят, как задрал, а сам ревет, точно козленка режут. — Что ты, чего, сердешный, — бабка встретила, спрашивает; так только глянул на нее, еще пуще взвыл, прямо к матери; подкатился к ней клубочком, уцепился за паневу и хочет выговорить — не может, как что душит его.

Марфа глянула на него, видит — плачет.

— Кто тебя? Что не сказываешь? Кто, говорю?

— Мамушка!.. Трегубой!.. сказал!.. убить хоче... пьяный такой!.. к нам!.. нам в избу зашел!.. — А сам паневу не пускает. Она его отцепит, а он за другое место перехватит, как колючка какая. Рассердилась баба, ей немного уж достелить оставалось, пошла к пучку, а он на ней висит. Прибила опять. — Кто тебя, сказывай, — говорит.

— Дядя Федор!.. в из!.. избу пришел!.. — уж насили-насили выговорил.

Как поняла мать, не доставши, толкнула его от себя, бросила, одернула паневу и пошла в избу.

А дело так было. Федор Резунов прошлой осенью сына женил и на него землю принял, а в зиму свою хозяйку схоронил. Вот он и ходил к приказчику, что, мол, тяжело без бабы землю нести, да и что годов ему много, не сложат ли землю. «Я, — говорит, — и без земли вашему здоровью рад стараться. Какая плотницкая работа будет, все могу сделать». Мужик на речи ловкой был, хоть кого заговорит. Да не поддался на этот раз приказчик, говорит: «Ты еще молод, всего срок два года, а что жены нет, так у нас невест не искать стать, вон Трегубая Марфутка-вдова, таковская по тебе, старику». Так-то дело и порешили, и Марфу призывали, и старики сказали, что дело. Вот Федор-то с

утра, заместо на работу, в кабак пошел с проезжим извозчиком, а теперь сам сватать пришел. Как у них там дело было, бог их знает; Марфутка поплакала, поплакала, походила, поклонялась, а конец делу был, что перед покровом обвенчали.

Как пошла от него мать, Сережка лег на брюхо и все кричал, до тех пор пока мать было видно; как зашла она за плетень, он перестал, повернулся на бок и начал обтирать слезы. Руки все замочил. Обтер сб землю и опять за глаза — все лицо вымазал. Потом взял сухую былинку и стал ксвырять ей по земле: выкопает ямку, да туда слез, а не достанет, — поплюет. И долго тут на выгоне лежал Сережка и думал свою думу о матери и дяде Федоре и о том, за что его дядя Федор убить хотел и за что мать прибила. Он припомнил все, что знал о матери и дяде Федоре, и все не мог ничего разобрать. Помнил он, что мать ездила в троицу к обедне, и из церкви вывела его и села у богадельни под навес с кумом, и говорила мисгое о Федоре, о муже, о детях. Помнит он, что кум все приговаривал одно: «Тетушка Марфа! сводные дети — грех только», — и что мать говорила: «Что ж, коли велят». Потом помнит, что мать ходила на барской двор, пришла сттуда в слезах, и побила его за то, что он на лавке лежал, и в этот же вечер сказала ему, что вот, дай срок, Федор Резунов тебя проймет, — и тут же стала целовать его и выть.

Потом помнит, что девчонки дразнили его Резуновым пасынком, и хотя он не понимал, к чему клонило, он плакал, слушая их. А тут еще сам Федор убить хотел. Во всем был Федор, и он ненавидел его. Он стал думать, как бы ему извести Федора; убить? отравить? испортить? — Тут девчонки с хворостинами, загоняя скотину, вышли из-под горы. — «Что, али вотчим Федька побил?» — Он молчал, они потрогали его. Он схватил камень и пустил в них — девки стали прыгать и кричать. Он бранился, потом заревел. Бабы прогнали девочек. Старшая, Парашка, прошла с скотиной. «Чего ты?» — Сережка разревелся и рассказал, как хочет погубить. Парашка сказала, что испортить надо. «Пойти к дедушке Липату». Странница пришла. Они ей откры-

лись, она научила терпеть. Мать погнала скотину загонять. Уложила спать, за нее завалился.

После покровы женили. Сережка видел, как одели мать, как она выла, как пили мужики, и его к ним перевели. Девчонка злая Резуновых, мокрая. Раз пришел домой пьяный Резунов. «Зачем обед не готов?» — «Ты не велел ждать, и мы поели». — «Ах ты, такая-сякая, трегубое отродье накормила. Известно, так вот я убью его», — схватил топор, да на Сережку. Сережка обмер: «Батюшка, дай помолиться». Терпеть . . . . .

2

«Али давно не таскал!» — сказал мужик с сбмерзлыми сосульками на бороде и усах, входя вечером в избу и обращаясь к бабе. Он только что поскользнулся в сенях и едва удержался о притолку. «Опять налили сенцы, идолы!» — «А ты ушат починил, что ли?» — сказала баба. — «Нсне бабы 5 раз за водой ходили, что принесут, половина вытечет». — «Начинишься на вас, чертей. Космы повыдергаю, так не потечет». Мужик приехал из лесу не в духе: караульщик застал его накладывающим молодые дубочки, которые он срубил в господском лесе, и содрал с него на косушку. Кроме того, он поскользнулся. Баба видела, что дело плохо и лучше молчать.

Мужик молча разделся, поужинал с семьей. Сын, пришедший с господской молотьбы из села, за ужином рассказал новость. В риге сказывали — барин приехал. «О!» — сказал старик. — «Мужики гутарили, опять хочет землю отрезать. К посредственнику ездил. Михайла гсворит, ничего не будить». — «Какой Михайла?» — «Сидорсв, — грамотный, что ли, он, — сказывал, ничего не будет, потому, — мужики свою планту не покажут, а когда царская межевка придет, тоды пущай режут, — от царя землемер все укажет, всю землю отхватют господскую...»

Старик внимательно слушал, и бабы замолкли. Василий слыл за голову. «Потому, говорить, комедатраная [?] межевка пойдет, а на эвту согласия не сделают...»

Старик радостно усмехнулся. «С весны тож приезжал, — сказал он, — как маслил, небось дураков на-шел, — с чем приехал — с тем уехал...» Василий продолжал: «Михайло сказывал, барин-то старшину чаем поил, — слышь, хочет таперича всю землю в пруженту укласть. Старшина сказывал, мир очень обиждается». «Ох, господи, — сказал [старик], рыгая и крестясь, — креста-то нет на людях». И он вылез из-за стола. «Завтра сходку собрать велели», — прибавил Василий. Через 5 минут лучина затухла, и 12 душ Семеновой семьи (так звали старика) захрапели в 7-аршинной избе.

Семен жил на хуторе, поселенном лет 15 тому назад в 5 верстах от села и состоящем из 4 дворов. Барин же остановился в усадьбе, в селе. Барин несколько месяцев тому назад неожиданно получил это имение в наследство. [Он служил] по другому имению (за 100 верст от этого) посредником, и посредником, заслужившим негодование дворянства. Он приезжал в первой раз весною с тем, чтобы облагодетельствовать крестьян и доказать, что, проповедуя уступки крестьянам, он сам и на деле готов их делать, — что ему было в особенности легко, так как он был богат, никому не должен, одинок, и имение это свалилось ему с неба. Он предлагал крестьянам перейти с барщины на оброк, оброк с излишней сверх надела землей полагал навсегда ниже Положения и, для того чтобы крестьяне всегда могли заплатить оброк, предлагал оставить барщинскую работу, только оценив ее в деньги, так что при этой оценке мужик с бабой, ходя на барщину, зарабатывал весь оброк меньше чем в полгода трехдневной барщиной. Мужики отказались и с радостью проводили уезжавшего и ничего не сделавшего помещика. «Что взял? С чем приехал, с тем и уехал...»

Теперь барин приехал опять с тем, чтобы покончить дело с этим имением, и, воспользовавшись . . . .

### 3

Прежде всех вернулись в деревню плотники. Это был сборный народ: рядчик был из города, а ребята, кто дальние, кто соседние, двое было из этой же деревни.

Плотники подошли к Родькиному двору (Родивон держал чай, вино и на квартере пускал), поклади в амбар топоры и пилы и вышли на крыльцо и на улицу. Один только (высокой, плечистый малый) Лизун не входил в сенцы, не вытаскивал своего топора из-за кушака и не убрал своей поперешной пилы и полусаженя, а прислонил их к углу иструба. Лизун сел на низкую завалину у избы, (так что высокие колени его доходили почти до плеч), взял в свои загорелые и поросшие волосами руки соломинку, стал ломать ее и запел песню, так складно, громко, что две старушки у соседей высунулись посмотреть, кто поет. Ребята ждали хозяина к расчету, кто хотел домой идти на праздник, кто так деньжонок попросить хотел, а кто так посчитаться только. Лизун же поутру на работе повздорил с хозяином и вовсе хотел расчета. Накануне хозяин к начальству за деньгами в город ездил, а ребят Лизуну приказал; в субботу приехал, работа не показалась ему, стал ругаться: «Ты, мол, с ребят магарыч взял, вы де мне двадцать пять рублей в день стоите, а ничего не сработали да дерево перерезали, оно мне пять рублей стоит». Все это было правда, ребята все знали, что они половину дня провели в кабаке, куда их свел Лизун.

— Коли ты рядчик, так сам смотри, а я твоей работы не испортил. Сам тебе укажу, как работать надо, — сказал Лизун. Да тут же про кашу сказал, что ребята голодные от обеда встают.

— Давай расчет; не хочу у тебя работать.

Лизун был малой молодой из Мисоедова, только второй год женат и впервой на стороне работал, а дела своего такой мастер, что хозяину указывал, и топором ли, долотом, пилой всякую работу мог сделать и потому в хозяине не нуждался. Один из плотников сел подле Лизуна. Лизун кончил песню и подмигнул.

— Так-то. Аль взаправду расчет возьмешь?

— А ты как думал, — сказал Лизун, — кланяться стану?

— Что ж, домой пойдешь?

— А что мне домой идти. Аль свет клином сошелся, что, окромя на мосту, работы нет.

— Вишь, мужик строиться хочет, — сказал он, показывая на Ермилину избу напротив, подле кторой лежал заготовленный лес, — уж как просил, подряжусь, да и поставлю избу мужику, плотников найму. Я гляну, так знаю, как работу начать.

— Что и говорить, — сказал плотник. — Однако видно было, что мудрено это ему показалось, чтобы Лизун мог обнять таксе дело.

Старик Ермил вместе с рядчиком подходили к Родьке.

— Вишь, кособрюхой черт, — сказал Лизун, отвернувшись, но когда мужики подошли ближе и поклонились, плотники тоже приподняли шапки, а Лизун свою новую поярковую шляпу.

Ермил рядил плотника построить ему маслобойню. Лизун проворно встал и толкнул локтем мужика; «не кончай, дядя Ермил, я дешевле возьму». Дядя Ермил оглянулся на Лизуна и на рядчика, который входил в избу. «Да ведь ты на мосту подряжен?» — «То на мосту, а теперь маслобойню построю, свсих ребят мисоedовских приведу, против его дешевле возьму и как должно произведу». «Дело такое — известно, — сказал Ермил, вглядываясь в нового рядчика. Он не доверял ему, видно было. — Только не рядись, а я к тебе приду, спасибо скажешь».

— Ну что, Федюха, или деньжонок попросить хочешь? — сказал рыжий рядчик, когда Лизун, помолясь богу, подшел к столу и положил на него шляпу. Рядчик был в хорошем духе, и ему не хотелось стпустить лучшего работника. Он сидел за столом в переднем углу и, сняв себе руки с стола, запустил бльшие персты за кушак, чтобы не мешать хозяйке, собиравшей ему самовар и соскребавшей ножом перед ним. Он думал себе: «Малый молодой — пошалил. Ну, побранил, да и будет. А таксго плотника не скоро найдешь». Но Лизун сейчас сметил, что можно понатянуть хозяина. Он, не глядя в глаза хозяину, взялся за кушак, повертел его на теле.

— Что следует отдай, Кузьма Кирилыч, с Миколы пять недель и шесть ден.

— Вот вы все так-то, — сказал Кирилыч, — чем бы тебе соблюсти хозяйское дело, чтобы прибавку получить, а вы как бы похуже; ведь обидно, — прибавил он, обращаясь к Ермилу. Он все еще хотел умастить Лизуна.

— Дело хозяйское, — отвечал Лизун. — Худо, так не надо. А на мой разум, лучше нельзя, как я работал. Как еще тебе работать? Уж я ли не мастер, я ли не старался, как для себя, так и для хозяина, так и ребятам говорил. Как работа спорится, так и работникам и хозяину весело.

— Известно, коли хозяину барышей не будет, то и работникам платить нечем. То-то глуп ты бываешь!

— Нет, брат, я не глуп, а я так умен, так умен, что поищешь.

— Мягко стелешь, жестко спать. Намеднись отъехал по дельцу в город, без себя этому молодцу приказал, — говорил рядчик, обращаясь к Ермилу, — так, веришь ли, в целый день только и добра изделали, чтобы два дуба перерезали, — я их на сваи готовил, а они на перемета разрезали.

Еще двое ребят-плотников вошли в избу, помолились образам и сели на лавку под полати, дожидаясь своей очереди. Ермил встал и вышел.

— Считайтесь, считайтесь, а я ребят проведаю, с пахоты не приехали ль.

— Молись богу за сорок, — сказал рядчик, останавливая его и подставляя руку. Лизун подмигнул.

— Видно будет, завтра праздник, — сказал Ермил и вышел.

— Так-то, — сказал рядчик, разглаживая полотенце, которое постелила хозяйка. Лизун при ребятах стал говорить иначе.

— Вот что, Кузьма Кирилыч, твое дело, известно, хозяйское, а того ты не подумал, что с меня спрашиваешь, а жалованье мне наравне с другими платишь. Разве меня с Мишкой али Петрухой сравнять? Он плотник, и я плотник. А ему не прикажешь смотреть. Что он день проработает, то я до завтрака сделаю. Платить хочешь по семь гривен на день, а тоже спрашивать хочешь. Давай десять целковых на месяц, я тебе один всю работу



изделаю, — как скажешь, так и сделаю. Хошь в месяц раз наезжай — ничего не испорчу. Так-то. Давай десять целковых, а по той цене я жить не стану.

Рядчик просил Лизуна остаться подешевле, хотел его словами закидать, но Лизун его закидал еще ловчее. Рядчик сердился, и Лизун сердился еще больше. Рядчик ругнул его раз *〈сукиным сыном〉*, Лизун тотчас же отвечал: «Сам съешь». Наконец стали считаться. Хозяйка принесла счета, но Лизун уже в голове расчел все по дням, и все было так точно верно. Только спор был о том, что рядчик хотел за прогул вычесть два дня. «Э! брат, Кирилыч, — говорил Лизун, — грех тебе будет, нашего брата обидеть можно. Не для заду, а для переду, придется еще поработаю у тебя». Рядчик согласился, но Лизун еще просил на водку. «Сослужу еще службу, и Лизуну спасибо скажешь, уж двугривенничек прикинь, Кирилыч. Право. Ну! ребятам, на меня гляючи, веселей у тебя жить будет». Кирилыч на двугривенный не согласился, но так как всех денег следовало 16 р. 70 к., то 30 к. он дал на водку для ровного счета. И это он сделал оттого, что Лизун так его окрутил словами, что при ребятах ему хотелось показать, что он рассчитывает без прижимки. «Давай деньги». У Кирилыча была только 50 р. бумажка. Он поверил ее Лизуну, и тот, завязав ее в угол платка и положив платок в шляпу, пошел в кабак разменять.

— Что топором, что языком, куды ловок малый, — сказал рядчик хозяину, когда Лизун ушел. Другие ребята тоже стали считаться. Они не были так ловки, и с ними хозяин совсем иначе обратился; одного он вовсе обсчитал на три двугривенных, а другому вовсе не дал денег. Хоть у него зажитых было 25 рублей и нужда была крайняя.

#### 4

Как скотина из улицы разбрелась по дворам и разместилась по клетям, каждая штука в свое место, так и народ с разных сторон, кто с пашни, кто с моста (там плотники работали), кто с поля, кто из денного, разобрался каждый в свое место.

Молодой мужик-плотник (у него на кушаке за спиной вместе был связан армяк, полусажень и топор) подошел к угловому дому, от проулка, и спросил хозяина.

— Ермил Антоныч или не бывал еще?

— Еще с утра в Засеку на покос с ребятами поехал, скоро приедут, я чай. Ты чей, родной? Кажись, ясенской? — спросила старуха. Она была вдова, сестра хозяина.

— Мы плотники с моста, — отвечал плотник. — Бабы на барщине, что ль?

— Слышь, играют, — сказала старуха.

Хоровод с песнями приближался по дороге, за оврагом краснелась толпа баб и девок. Плотник пошел за угол.

Из-под горы поднимался мужик с поля. Он сидел боком на лошади, запряженной в сохе, жеребенок-стригун бежал сзади. Мужик этот [был] Гараська, старший сын старика Капыла. Герасим с утра выехал в поле, на дальнюю пашню. У них там три осьминника было незапаханных, и отец велел ему их запахать до вечера, а коли тяжело кобыле будет, так хуть 2. Герасим выехал рано; пашня была на западе с сырцой; сошники он переладил и поперил дома и к вечеру запахал все три. Кто сам не пахал, тот не знает, как тело легко и душа весела, когда от зари до зари, один, борозда за бороздой, подвигался на пашне, и работа спорилась, и дошел до другого края, и борозда скосилась на угол, и уголок вывертел и подвязал сволока, подстелил под ж... армяк и вовремя поехал к дому, по пыли дороги бороздя за собой две черты сволоками, и по дороге домой со всех сторон попадают мужики и бабы, и со всеми весело шутится, как знаешь, что дело сделано, на пашню ворочаться уже незачем до Ильина дни.

Герасим побалтывал ногой, обутой новым лаптем, по оглобле и пел песню. Завидев хоровод баб, он почесал голову, замолчал и усмехнулся. Хоть и женат был Герасим, а любил баб молодых. Увидав плотника, Герасим скинул поджатую ногу с спины лошади и соскочил. «А! Лизун! (черт тебя возьми, что рано с работы

сошел, аль домой) курвин сын, аль расчет взял, косушку поставить хочешь! — Герасим засмеялся и треснул Лизуна по спине кнутовищем, — то-то бы выпили, <умалялся целый день пахамши> с работы-то».

5

Это было в субботу в самые петровки. Уборка сена была такая, что старики не запомнят. Не сено, а чай в стога клали. Крестьянские луга почти все были убраны, оставался один Кочак. Не больше как на день миру косьбы. Господские луга тоже больше половины уже подкошены были. Дни стояли такие красные, жаркие, — что с утра по росе подкосят, к вечеру в валы гребь, а на другой день хоть в стога кидай, и на небе ни тучки. А все народ, сколько мог, торопился за погоду убираться. И приказчик очень хлопотал барское убирать, с утра до ночи с бабами, красный стал, пот градом капится, рубаха расстегнута, все кричит, все с палкой около баб ходит, с тела спал. Хоть не свое, а хозяйственное дело, как возьмешься за него, так не заснешь покойно, покуда не кончишь. Не ты дело делаешь, а дело тебя за собой тянет. Бог же дал в это лето, что было что косить, и грести, и возить. На тягло возов по б убрали, да еще в Кочаке такая трава стояла, что на низу не пролезешь. Кроме покосов, тут же и пахота подоспела, а пахота крепка была, так что кто за погодой не успел, так ссшники ломали и лошадей надсаживали на пашне.

В селе целый день было пусто, все были на работе, нешто какая баба хворая дома рубахи на пруду стирала или холсты стелила, да старики и старухи с малыми ребятами. Только на барском дворе, за прудом, народ дома был. Там, известное дело, как господа дома, — покос не покос, уборка не уборка: холопы, кучера, повара, садовники, дворовые — все одно дело делают. Дело не делай, а от дела не бегай.

Пастухи свое время не пропустят; только солнышко стало за лес закатываться, уж завиднелась пыль по большой дороге и слышалась скотина. Скотина хо-

дила по отаве и в неделю совсем другая стала — повеселела. Скотина в деревне все одно что часы в городе. Прогнали скотину, значит, пора и всем дсмой в деревню. Ребята слышали скотину, переловили лошадей и поехали домой из денного. Бабы на барщине у выборного отпросились и с граблями за плечами пошли хороводсм к дсму. Мужики, кто дома на своей пашне пахал, подвязали сволоки, перевернули сохи и поехали домой. Косцы подняли армяки и кувшинчики и пошли домой, у богатых мужиков бабы покидали дров в печурку, чтоб согреть похлебку на ужин.



## ПРИМЕЧАНИЯ



В третий том вошли произведения Толстого, написанные им в 1857—1863 годах.

Годы, отделяющие первые счастливые дебюты «Детства» и «Севастопольских рассказов» от эпопеи «Война и мир», были годами творческих поисков и экспериментов, заблуждений и находок, кризисов старых убеждений и новых завоеваний беспокойной, ищущей мысли писателя.

Особая противоречивость и сложность идейных и художественных исканий Толстого этой поры не случайна. Конец 50-х годов в России ознаменовался усилением волнений в народе, бурным общественным подъемом, острыми спорами по крестьянскому вопросу. Близость и неотвратимость серьезных социально-экономических перемен становится очевидной. Все это не могло не волновать такого чуткого современника, как Толстой, для которого к тому же его отношения с крестьянами в Ясной Поляне были не теоретической отвлеченностью, а кровно близким делом.

Горячо сочувствуя народу и не сомневаясь в «несправедливости крепости», Толстой стоял за безусловное освобождение личности крестьянина, за признание ее самостоятельности и человеческой ценности. Но ему трудно было примириться с мыслью о потере дворянством его имущественных привилегий, упадке родовой аристократии. Толстой долго колеблется в вопросе освобождения крестьян с землей, хотя и сознает с обычной своей трезвостью всю тяжесть положения мужика, неизбежность вековой розни между барством и крестьянством.

Логика идейных исканий Толстого ведет его к полному разрыву с интересами дворянского класса, но в те годы, о которых идет речь, «следы барского и офицерского влияния», по выражению Некрасова, еще сильно чувствуются в Толстом. «На мои



глаза, — пронизательно замечал Некрасов в письме к Толстому в 1856 году, — в Вас происходит та душевная ломка, которую в свою очередь пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только — к выгоде или невыгоде — отсутствием скрытности и пугливости» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., М. 1952, т. X, стр. 291).

В пору этой «душевной ломки» в 1856—1859 годах Толстой пытается найти прибежище от социальных противоречий в своеобразной нравственной философии, в увлечении «свободным искусством», в мечтах о счастливом «семейном мирке», в иллюзиях морального самосовершенствования. Все это были лишь разные выражения реакции Толстого на невыносимо тягостные впечатления русской крепостнической действительности. «Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, — писал Толстой своей тетушке А. А. Толстой 18 августа 1857 года, — как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-тилетнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что, кроме побой, послал его босого по жнивью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все ноги были в ранах, — вот, ежели бы это всё видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасенье — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, стр. 222) <sup>1</sup>.

Толстой не ищет, таким образом, примирения с действительностью; он видит мерзость крепостнических порядков, но не решается бороться с ними. Его протест принимает пассивные формы «обхода» острых социальных проблем. Толстой не видит выхода из обступающих его повсюду, мучающих и гнетущих его совесть противоречий жизни, и он пытается отвернуться от них, закрыть глаза, отказаться от решения всех тех вопросов, которые находятся в общественно-политической сфере. Он сам ощущает при этом ненадежность избранного им пути и, во всяком случае, не пытается выдать свою слабость за добродетель. Об этом говорят, в частности, его безбоязненно искренние признания в том, что осо-

---

<sup>1</sup> В дальнейшем все ссылки на это издание даются с указанием лишь тома и страницы.

бое пристрастие к морали и искусству в конце 50-х годов родилось из желания «обойти» тяжелую действительность. «Уж не раз мне случалось в жизни, — писал Толстой в 1857 году, — наткнуться на тяжелую действительность и выбирать, карабкаться вверх по этой грязи или идти в обход, и всегда я выбирал обход: философия (не изучаемая, а своя, нелепая, вытекающая из настоящей душевной потребности), религия такая же и искусство, последнее время, вот были мои обходы» (т. 60, стр. 232).

Это признание Толстого хорошо определяет истоки его теоретических заблуждений в эти годы. Но оно, конечно, недостаточно для объяснения художественного творчества автора «Люцерна» и «Казаков». Художник-реалист попросту не в состоянии «обойти» социальную действительность в своих произведениях, иначе он рискует изменить самому главному в своем методе изображения жизни. Толстой всегда достигал успеха, когда его «нравственное искусство» другими гранями оборачивалось искусством социальным. И он терпел неудачу во всех тех случаях, когда, как в «Альберте» и «Семейном счастье», в его творчестве торжествовали тенденции «обхода» действительности, а эстетические и нравственные вопросы решались изолированно от проблем социальных.

Своеобразие идейной позиции Толстого во второй половине 50-х годов трудно верно оценить, не учтя его отношения к общественно-литературным спорам тех лет. Возвратившись в конце 1855 года из Севастополя в Петербург и с головой окунувшись в атмосферу столичной литературной жизни, Толстой столкнулся в журнале «Современник», который он по праву давно уже считал «своим» журналом, с острой полемической борьбой.

Чернышевский и его единомышленники, начавшие постепенно занимать в журнале ведущее место, встретили упорное сопротивление группы «эстетических критиков» во главе с А. В. Дружининым. Ожесточенные споры вокруг проблемы искусства были первым симптомом близившегося отмежевания революционно-демократической общественной мысли от либерально-дворянской.

Дружинин и его сторонники проповедовали искусство, «свободное» от каких бы то ни было политических пристрастий, искусство, возвышающееся над жизнью, незлобивое и созерцательное. В противовес им Чернышевский в своих статьях, в частности в знаменитых «Очерках гоголевского периода русской литературы», отстаивал права искусства, тесно связанного с жизнью, продолжающего критическую традицию русской литературы, служащего гражданским интересам,

Отчуждение от политики, от насущных социальных проблем сблизило Толстого в конце 1856 года с группой теоретиков «чистого» искусства — Боткиным, Дружининым, Анненковым, отдалив его, в свою очередь, от революционно-демократического крыла редакции журнала «Современник». «Бесценный триумvirат», как назвал Толстой Дружинина, Боткина и Анненкова в одном из писем, временно привлек писателя своей проповедью «художественности» в противовес «дидактике».

Оправдание этому можно отчасти видеть в том, что заслуженно неприязненную реакцию вызывала в ту пору у Толстого либеральная «обличительная» литература с ее малой художественностью и поверхностной критикой социальных порядков. Но, заблуждаясь, Толстой не делал различия между позицией либералов-«обличителей» и революционных демократов во главе с Чернышевским, и в тех и в других видел «дидактиков».

Однако, даже в периоды наибольшей дружеской близости с Дружининым и Боткиным, Толстой не становится их слепым приверженцем. «Артистическая» теория Дружинина, утверждавшего, что «искусство служит и должно служить само по себе целью», никогда вполне и безусловно не принимается Толстым. Как раз о статье Дружинина, проповедовавшей эти взгляды и направленной против «Очерков гоголевского периода» Чернышевского, Толстой записывает в дневнике 7 декабря 1856 года: «Прочел 2-ю статью Дружинина. Его слабость, что он никогда не усумнится, не вздор ли это все» (т. 47, стр. 104). Не разделяя воззрений Чернышевского на идейное, общественно-активное, тенденциозное искусство, Толстой не мог хотя бы отчасти не почувствовать его правоту в спорах с защитниками «искусства для искусства».

Сам Толстой был более склонен отстаивать лозунг «морального искусства» (это определение мы найдем на страницах его дневника 1856 года), то есть такого искусства, которое на первый план выдвигает не политические и социальные задачи, а задачи «общечеловеческого», нравственного порядка. Это «моральное искусство» не было равнозначно «чистому» искусству с его самоцельным «наслаждением красотой».

Особый интерес Толстого к морали не случаен. Еще в автобиографической трилогии наметились поиски Толстым путей обновления жизни в нравственном самосовершенствовании, в обращении к совести и сознанию каждого отдельного человека. Толстой выражал утопическую надежду, что такой путь личного морального совершенствования быстрее поведет к уничтожению всего зла и

лжи жизни, чем любые социальные перемены. Рассуждения Толстого этих лет о «нравственном добре» и о морали закладывали основы его будущего этического учения.

Вместе с тем, несмотря на принципиальное уклонение писателя от общественно-политических проблем, «моральное искусство», ставившее своей задачей защиту человека, его нравственного достоинства, на практике нередко подводило Толстого к основным социальным вопросам современности.

Зиму 1856—1857 годов Толстой проводит в Петербурге, в атмосфере бурных споров об искусстве в кружке «бесценного триумvirата». Здесь он увлекается оперой и домашним музицированием. Всегда неравнодушный к музыке, Толстой находился под особым ее очарованием в эту пору. И не случайно лучшие страницы задуманной в то время повести «Альберт» посвящены исключительно точному и вместе с тем вдохновенному описанию воздействия музыки на слушателя.

Замысел повести «Альберт» кристаллизовал эстетические и музыкальные интересы писателя. Вероятно, желание высказать свой взгляд на роль и назначение искусства уже созрело у Толстого, когда случайно в одном из петербургских «танцклассов» он встретился с талантливым скрипачом Георгом Кизеветтером (об этом прототипе Альберта подробно говорится в статье В. И. Срезневского «Георг Кизеветтер, скрипач Петербургских театров...» — в кн. «Толстой. 1850—1860. Материалы. Статьи», изд. АН СССР, Л. 1927, стр. 42—72). Подобно герою своей повести — Делесову, Толстой пригласил Кизеветтера к себе домой, где-то раздобыл для него скрипку и с наслаждением слушал его игру. В Кизеветтере Толстого поразило противоречие внешнего облика этого спившегося и опустившегося человека и того огня искусства, который горел в нем, когда он играл на скрипке.

Через несколько дней после знакомства с Кизеветтером 9 января 1857 года Толстой набрасывает начало будущей повести. А полтора месяца спустя, за границей, Толстой уже читает Тургеневу «Пропащего» — первую редакцию «Альберта». Но Тургенев остался «холоден» к повести, да и сам автор не был удовлетворен написанным.

Летом 1857 года Толстой вновь энергично работает над повестью, получившей теперь название «Поврежденный». Работа не прекращается и осенью, по возвращении из-за границы в Россию. 5 октября 1857 года была закончена третья редакция повести

(новый вариант названия — «Погибший») и послана в «Современник» Некрасову. Но Некрасов ответил Толстому, что считает повесть неудачной, и автор вновь взялся за ее переделку. «Альберт» был напечатан лишь в августе 1858 года.

В чем же причина того, что Толстой писал свою маленькую повесть так долго и мучительно и все-таки она не встала в ряд его больших удач? Видимо, это случилось потому, что сам автор чувствовал шаткость и противоречивость той идеалистической трактовки искусства, которая легла в основу его замысла. Красоту в «Альберте» Толстой провозгласил «единственно-несомненным благом в мире». Мотив избранничества, «священного огня», вложенного в художника свыше, был отзвуком идеалистической теории искусства Шеллинга, горячим пропагандистом которой был один из членов «бесценного триумвирата» В. П. Боткин.

В повести Толстого заметно желание автора увлечь читателя изображением стихийной, покоряющей силы музыки, показать, как искусство поднимает, облагораживает, нравственно очищает самого, казалось бы, отверженного и павшего человека. Но ложная теория губит лучшие намерения писателя.

«Альберт» должен был стать своего рода теоретическим трактатом в художественной форме на тему о «свободном творчестве». Таким образом, выступая против «тенденции» и «дидактики», Толстой сам писал вещь с явно «дидактическим» заданием, — противоречие было очевидным. К тому же писатель быстро терял доверие к авторитету теоретиков «чистого» искусства, их «умные разговоры», по его признанию, становились ему тяжелы. Все это, несомненно, сказалось на судьбе задуманной повести.

Уже с середины 1857 года Толстой, как можно судить по дневнику, совсем охладел к этой работе. Характерна, например, такая запись 18 сентября 1857 года: «Писал довольно много, но вся вещь плохая. Хочется свалить ее поскорее» (т. 47, стр. 157). Как видно, писатель упорно хотел довести до конца свой замысел, в то время как внутренняя убежденность в правдивости основной мысли повести уже оставила его.

Затянувшуюся работу над «Альбертом» прервал замысел «Люцерна», написанного горячо, быстро, с увлечением. Герою «Люцерна» тоже был оскорбленный обществом музыкант, но Толстого волновала здесь не проблема искусства самого по себе, а важнейшие социальные и моральные вопросы. Появление «Люцерна» летом 1857 года было первым знаком кризиса тех мыслей и настроений, которыми была навеяна повесть «Альберт», и Тол-

стой уже с трудом кончил эту работу, на которую было затрачено столько усилий.

Рассказ «Люцерн» возник из впечатлений Толстого во время его первой поездки в Западную Европу в 1857 году. Поначалу Толстого привлекло во Франции и Швейцарии «чувство социальной свободы», поразившее его по контрасту с порядками крепостнической России. Но очень скоро он обратил внимание на оборотную сторону буржуазной демократии и прогресса. Эгоизм respectable буржуа и узаконенный обществом разврат внушили ему отвращение. Зрелище казни гильотиной, при котором он присутствовал на одной из площадей Парижа, совершило в душе его целый переворот. После мучительной бессонной ночи он записал в своем дневнике: «Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политической человек. Мораль и искусство» (т. 47, стр. 121). Вновь реагируя на противоречия действительности, на этот раз буржуазной действительности Запада, своего рода «обходом», отказом от политики, Толстой на деле обращает в «Люцерне» гнев против несправедливого социального устройства жизни.

Случай, описанный в «Люцерне», в самом деле произошел с Толстым во время его путешествия по Швейцарии и был первоначально отмечен следующим образом в дневнике 7 июля 1857 года: «...ночью — пасмурно — луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа — ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить... Мы пили, лакей засмеялся, и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно» (т. 47, стр. 140—141).

Возмущенное чувство Толстого ищет себе выхода, и уже 9 июля он начинает набрасывать рассказ в виде письма к Боткину, своему любимому «воображаемому читателю». Еще через два дня первоначальный вариант «Люцерна» был дописан. Сам автор, вопреки обыкновению, остался доволен своей работой. «Хорошо, — записал он в дневнике 11 июля. — Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного» (т. 47, стр. 142).

В ходе работы Толстой отказался от мысли писать рассказ в виде письма и прибег к форме развернутой дневниковой записки («Из записок князя Д. Нехлюдова»), как бы чуждаясь литератур-

ной условности и словно стремясь лишь расширить и углубить первоначальную заметку в своем дневнике.

Рассказ «Люцерн», несомненно, принадлежит к лучшим в русской литературе образцам страстной, пламенной публицистики, вырастающей из неопровержимо точных и смелых художественных картин. Общественный темперамент Толстого, с яростью атакующего бессердечие и черствость, социальную несправедливость и буржуазный эгоизм, предвещает нам в «Люцерне» автора «Воскресения» и поздних публицистических трактатов. Напор толстовской критики сметает все хитроумные доводы рассудка, обнажает бессмыслицу социальных отношений в буржуазном обществе с точки зрения простого, детского, неиспорченного взгляда на жизнь.

От наблюдений над миром человеческой души Толстой приходит в «Люцерне» к широким проблемам общественного и исторического бытия человека. Но уже здесь видны в зародыше все противоречия будущего толстовского вероучения и морали.

Случай с нищим певцом перед отелем Швейцергоф поднимает в душе автора десятки вопросов, обид, недоумений, и, не в силах ответить на них, Толстой приходит к отрицанию прогресса и цивилизации вообще, надеясь воскресить «простое, первобытное чувство человека к человеку». Толстой призывает людей сознаться в том, что они бессильны разобраться в «движущемся.. океане добра и зла, фактов, соображений и противоречий». Выражая недоверие к разуму, Толстой апеллирует к «Всемирному Духу» и возлагает утопические надежды на «инстинктивную любовную ассоциацию» людей.

В. И. Ленин в своей работе «Л. Н. Толстой и его эпоха» привел выдержку из рассказа «Люцерн» в доказательство того, что для Толстого «конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое»: «В «Люцерне» (писано в 1857 году) Л. Толстой объявляет, что признание «цивилизации» благом есть «воображаемое знание», которое «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре». «Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, — восклицает Толстой, — Всемирный Дух, проникающий нас» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30).

Но ложность и реакционность этих конечных выводов рассказа не может, разумеется, заслонить от нас его подлинную, «кричащую правду» и художественную глубину.

Рассказ «Люцерн», не случайно названный Тургеневым «морально-политической проповедью», лишний раз показал, как

чуждо было всей натуре Толстого — человека и писателя — «чистое» искусство и как непрочен был союз с его теоретиками. Недаром и Боткин и Анненков встретили толстовский «Люцерн» неодобрительно.

Наметившееся еще в «Люцерне» стремление к общефилософским, касающимся «вечных» проблем бытия, морально-этическим обобщениям, внешним толчком для которых служит частный эпизод, заметно у Толстого и в рассказе «Три смерти», написанном уже после возвращения в Россию, в январе 1858 года. Сам Толстой подробно истолковал свой замысел в письме к А. А. Толстой: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и жлет перед смертью... Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не жлет, не ломается, не боится, не жалеет» (т. 60, стр. 265—266). Толстой осуждает, таким образом, внутреннюю ложь, лицемерие, вошедшее в плоть и кровь людей из состоятельных классов. Но, изображая людей двух разных миров — барыню и ямщика, Толстой не противопоставляет еще их друг другу под социальным углом зрения, а лишь сопоставляет их отношение к жизни и природе. Смерть дерева для Толстого — высшая мера правды, естественности, и мужик приближается к этой естественности природы, а барыня враждебна ей.

Если в «Детстве» критерием правды социального поведения человека служило наивное, неспорченное сознание ребенка, то в «Люцерне», в рассказе «Три смерти», позднее в повести «Казачьи» таким критерием становится природа и сознание человека, близкого к природе, почти сливающегося с ней. Такой взгляд на мир, переключившийся в известной мере с концепциями Руссо, сложился, однако, у Толстого на почве русской социальной действительности и предвещал близость писателя к психологии патриархального крестьянина с его наивностью, непосредственностью, мечтательностью.

Если рассказы «Люцерн» и «Три смерти» были попытками решения «общечеловеческих» моральных и философских проблем,



то роман «Семейное счастье», написанный в те же годы, словно продолжал линию духовной автобиографии Толстого, начатую «Детством» и остановившуюся на замысле «Романа русского помещика».

В дневнике Толстого 1856 года мы встречаем следующие записи. 9 июня 1856 года: «Помещик хочет найти в девушке, которая ему нравится, опору в своих честных планах, она, как будто, извиняет ему эту слабость ума и сердца за его другие хорошие качества» (т. 47, стр. 182). 18 ноября 1856 года: «К Роману Русского Помещика. Он мечтает о счастье семейном, жена в белом капоте, потом едет трепаться по русской жизни» (т. 47, стр. 199). Эти записи ставят в несомненную преемственную связь неосуществленные планы продолжения «Романа русского помещика» и замысел «Семейного счастья».

Материал для романа «Семейное счастье» Толстой почерпнул из опыта личных переживаний и ощущений, сопутствовавших его отношениям с Валерией Владимировной Арсеньевой, едва не ставшей в 1856 году его невестой. Как это видно из переписки и дневников Толстого, он не испытывал к Арсеньевой истинно глубокого чувства, и его роман с ней носил скорее «интеллектуальный» характер.

Всей душой стремясь в эту пору к семейной жизни, Толстой ведет с Арсеньевой длительную дружескую переписку, надеясь нравственно воспитать ее, приблизить к своим понятиям о жизни и об идеале счастья. Пользуясь несложной аллегорией и называя себя в письмах к Арсеньевой Храповицким, а ее г-жой Дембицкой, Толстой пытается увлечь ее своими планами мирной деревенской жизни, помощи крестьянам, «спокойной любви, дружбы, прелести семейной жизни, дружеского кружка милых людей, поэзии, музыки и главного наслаждения — сознания того, что не даром живешь на свете, делаешь добро и ни в чем не имеешь упрекнуть себя» (т. 60, стр. 118).

Рассуждение Толстого о разнице характеров и жизненного опыта Храповицкого и Дембицкой уже намечает будущую коллизию «Семейного счастья»: «Храповицкой, человек морально старый, в молодости делавший много глупостей, за которые поплатился счастьем лучших годов жизни... в душе презирает свет, обожает тихую, семейную, нравственную жизнь и ничего в мире не боится так, как жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства... Милая г-жа Дембицкая еще ничего этого не испытала, для нее счастье: бал, голые

плечи, карета, брильянты, знакомства с камергерами, генерал-адъютантами и т. д.» (т. 60, стр. 108).

Переписка Толстого с Арсеньевой вскоре заглохла, и всякие их отношения прекратились, но спустя некоторое время Толстой решил как бы заново реконструировать в романе будущее «Храповицкого и Дембицкой» и проанализировать их возможные отношения до конца.

Вероятно, Толстой писал свой роман уже в 1857—1858 годах, но документально можно установить лишь то, что в начале 1859 года работа над «Семейным счастьем» вступила в завершающую стадию. К этому времени идеал «счастливого мирка», некогда провозглашенный писателем и проповедуемый Сергеем Михайловичем — героем романа, уже был окончательно изжит и раскритикован Толстым. «Мне смешно вспомнить, — признавался писатель А. А. Толстой в октябре 1857 года, — как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! *Нельзя*, бабушка. Все равно, как *нельзя*, не двигаясь, не делая моцион, быть здоровым. Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться» (т. 60, стр. 231). При таком взгляде на жизнь поведение героини романа с ее томлением, поисками, порывами получало во многом оправдание, почему Толстой, вероятно, и повел рассказ не от лица Сергея Михайловича, а от лица Маши, настроение которой более отвечало новым мыслям писателя.

К «семейному счастью» в старом своем понимании, так полно выраженном в письмах к Арсеньевой, Толстой относился уже с большой долей иронии (само название романа отчасти ироническое). В финале романа зарождалась толстовская концепция семейного призвания женщины, добродетели и самопожертвования в браке, которая позднее была развита в «Войне и мире» и «Анне Карениной».

С художественной стороны роман «Семейное счастье» также может быть расценен как первоначальный этюд к семейным сценам «Войны и мира». Все оттенки личных отношений, кризисы молодой семьи переданы Толстым с исключительной психологической достоверностью. Однако, изолировав героев от всего того, что не касалось их личной психологии и частного быта, писатель чрезмерно сузил свою задачу, и это обрекло его роман на неудачу.

Толстой так вошел в психологию молодой девушки, от лица которой написан роман, что это сказалось и на стиле «Семейного счастья». Прямой и резкий, чуждый всяких украшений язык Толстого уступил здесь место некоторой «литературности», выглаженности стиля. Лирическая мягкость, особенно в описаниях природы, напоминает порой тургеневскую манеру.

Роман «Семейное счастье» был закончен Толстым в марте-апреле 1859 года и вскоре передан в журнал «Русский вестник». Еще готовя роман к печати, Толстой, видимо, стал сомневаться в его достоинствах, так как хотел одно время не ставить под ним своего имени, а печатать под псевдонимом. Но окончательно расстроился автор, когда перечитал свое «Семейное счастье» в корректуре. «Василий Петрович, Василий Петрович! — писал Толстой Боткину. — Что я наделал с своим «Семейным счастьем»... Я теперь похоронен и как писатель и как человек!.. Во всем слова живого — нет. — И безобразие языка, — вытекающее из безобразия мысли, невообразимое» (т. 60, стр. 296). Автор, по собственному признанию, дошел до такого состояния «стыда и раскаяния», что готов был вернуть издателю деньги, лишь бы тот прервал печатание его романа. И долго еще одна лишь мысль о «Семейном счастье» заставляла Толстого «краснеть и вскрикивать».

Писатель с обычной своей самокритичностью отозвался о романе суровее самых придирчивых судей. И это недовольство собой и своим творчеством проявилось у Толстого в такой острой форме не случайно. В 1859 году Толстой оказался на пороге идейного и творческого кризиса, так как резко ощутил тщетность своих попыток «обхода» русской социальной действительности в морали и искусстве.

Основным выражением этого кризиса было то, что Толстой отказался, к счастью ненадолго, от своей литературной деятельности. «Теперь же как писатель я уже ни на что не годен, — писал он Дружинину 9 октября 1859 года. — Я не пишу и не писал со времени «Семейного счастья» и, кажется, не буду писать. Лыщу себя, по крайней мере, этой надеждой. — Почему так? Должно и трудно рассказать. Главное же — жизнь коротка, и тратить ее в взрослых годах на писанье таких повестей, какие я писал, — совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом» (т. 60, стр. 308).

Таким делом стала для Толстого в 1859—1862 годах основанная им в Ясной Поляне школа для крестьянских ребят. С обычной своей энергией и страстью взялся Толстой за педагогическую работу, изучал постановку дела народного образования в России и

за границей, начал издавать педагогический журнал «Ясная Поляна». «Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем» (т. 60, стр. 325), — так определил Толстой основную свою задачу, которая казалась ему в эту пору всеобщей и важнейшей задачей, предшествующей всякого рода иным социальным проблемам.

К школьным занятиям вскоре прибавились у Толстого заботы, связанные с его деятельностью посредника в годы реформы. Решая обычно тяжбы помещиков с крестьянами в пользу последних, Толстой даже навлек на себя негодование дворянства Крапивенского уезда.

Постоянная жизнь в деревне, Яснополянская школа и посредничество еще более сблизили Толстого с крестьянством, его интересами, нуждами и трудами, что не могло не отразиться благотворно на дальнейшей деятельности писателя.

Свой зарок не писать ничего художественного Толстой довольно скоро нарушил, — он противоречил всей его творческой натуре. И первая работа, за которую он взялся, была начата еще в 1852—1853 годах повесть «Казак». В творческой истории этого произведения своеобразно преломились идейные и художественные поиски целого десятилетия.

Толстой задумал и начал писать «Казак» еще в то время, когда сам жил на Кавказе и находился под сильным впечатлением от своеобразного уклада жизни, быта и нравов казачества. 21 октября 1852 года Толстой наметил в дневнике план «Очерков Кавказа», в числе которых мы найдем и «рассказы Япишки а) об охоте, б) о старом житье казаков, с) о его похождениях в горах» (т. 46, стр. 146). Самобытная, яркая фигура охотника Япишки послужила Толстому основой для создания образа Ерочки в его повести, так же как характерные черты уклада жизни обитателей станицы Новомлинской были почерпнуты автором из собственных наблюдений над нравами и типами станиц Червленной и Старогладковской, где он жил в пору своего пребывания на Кавказе.

Первоначально задумав передать свои впечатления о Кавказе в форме нравоописательных и этнографических очерков («Очерки Кавказа»), Толстой обращается затем к мысли написать о казаках поэму (сохранился стихотворный отрывок «Эй, Марьяна, брось работу») и, наконец, приходит к замыслу «Беглеца» — остросюжетной повести, в которой столкновение русского офицера Губкова (в других вариантах Дубкова) с казаком Гуркой из-за его краса-

вицы жены завершается бегством казака в горы. В этой стадии работа над «Кзаками» была прервана отъездом Толстого в дунайскую армию, а затем в Севастополь и возобновилась лишь в середине 50-х годов.

Особенно интенсивно работал Толстой над «Кзаками» в 1857—1858 годах. Именно в этот период окончательно уяснился и сюжет и характер основного героя, названного здесь впервые Олениным. Немало раздумывал и плодотворно трудился в ту пору Толстой и над эпическим колоритом повести.

В 1859—1861 годах работа над «Кзаками» снова замерла, хотя и не прекратилась совсем. Внешним толчком к возобновлению работы в 1862 году послужил крупный проигрыш в карты, заставивший Толстого взять у издателя Каткова взаймы деньги в счет платы за будущую повесть. В начале 1863 года первая часть «Кзаков» была завершена и передана Толстым для печатания. В дальнейшем писатель не раз задумывался над тем, чтобы продолжить свою повесть, но эти планы были оттеснены работой над «Войной и миром».

Великолепные картины природы Кавказа, мужественные, открытые лица его людей, свежесть и непосредственность чувств, простая и суровая правда жизни казаков — все это привлекает героя повести Оленина, в образе которого нетрудно заметить автобиографические черты. Толстой внимательно следит за духовной эволюцией Оленина, сознающего фальшь принципов и нравов светского «цивилизованного» общества и отрекающегося от той лжи, в которой он прежде жил. На Кавказе, среди простых и чистых сердцем людей, Оленин с каждым днем чувствует себя «более и более свободным и более человеком». Подобно тому как это было с самим Толстым, Оленин приходит к «открытию», что секрет счастья заключается не в эгоизме, а в любви, самоотвержении, в том, чтобы жить для других. Однако герой не слишком последователен в этом своем убеждении и порой готов сменить его на другое: «Кто счастлив, тот и прав». Оленину не удается слиться с первобытной простотой жизни, усвоить непосредственный взгляд на мир Лукашки или дяди Ерошки, и финал повести, где Марьяна отвергает Оленина, лучше всего подтверждает утопичность этих его попыток. Толстой словно заново воскрешает в «Кзаках» ситуацию пушкинских «Цыган», которых он с восхищением перечитывает как раз в пору работы над повестью.

Однако основная мысль «Кзаков» о лживости и фальши нравов цивилизованного общества, особенно неприглядной в сопостав-

лении с простотой и «натуральностью» жизни людей «дикого края», имеет свои истоки не только в мотивах предшествующей русской литературы, а прежде всего в общих тенденциях идейного развития самого Толстого, отразившихся в эти годы наряду с «Казачками» в рассказах «Люцерн» и «Три смерти». Социальные и классовые противоречия преломляются здесь в сознании писателя в их наиболее общей и отвлеченной форме, как противоречия естественности и фальши, изначальной простоты нравов и их современной развращенности. Правда, в дневнике и записных книжках Толстого вопрос о казачестве связывается порой с актуальными общественными проблемами. «Будущность России, — отмечает писатель в 1857 году, — казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого» (т. 47, стр. 204). Но эти мысли, ставящие в связь идеализированный казацкий быт и русскую крестьянскую общину, никак не развиты и не истолкованы в повести. Вероятно, поэтому критика 60-х годов, и прежде всего критика «Современника», сочла повесть Толстого архаической, далекой от вопросов современности.

Повесть «Казачки» была, однако, важным шагом в творческом развитии Толстого-художника. И не только потому, что характер Оленина явился новым образцом психологического искусства писателя, искусства «диалектики души». Еще существеннее попытки Толстого нарисовать широкую эпическую картину народной жизни, не поступившись строгим реализмом в пользу традиционного романтического представления о Кавказе.

Само тяготение Толстого к широкому эпическому изображению действительности в эпоху, когда особую остроту приобрел крестьянский вопрос, глубоко закономерно, поскольку именно эпос прежде всего обращен к судьбам народа, к судьбам масс. Работая в 1857—1858 годах над «Казачками» и выбирая «тон» повествования, Толстой явно стремился преодолеть односторонность утонченного психологического рисунка, в котором он доказал свое неоспоримое первенство, и обратиться к «объективному» эпическому изображению жизни. «Дело в том, — пояснял Толстой свои творческие замыслы в письме к Анненкову, — что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия, — и опротивела мне немного, и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, объективную сферу и ошалел: во-первых, по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти пред-

меты. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать...» (т. 60, стр. 182).

Характерно, что в августе 1857 года Толстой читает «Илиаду» Гомера, и это великое создание древнего народного эпоса оказывает самое непосредственное влияние на замысел повести. «Читал Илиаду, — записывает Толстой в дневнике 15 августа. — Вот оно! Чудо!.. Переделывать надо всю Кавказскую повесть» (т. 47, стр. 152). А двумя днями позже, 17 августа, снова отмечает: «Илиада заставляет меня совсем передумывать беглеца» (т. 47, стр. 152). Чтение «Илиады» послужило для Толстого таким сильным толчком лишь потому, что в его творческом сознании уже созрело стремление к эпическому охвату народной жизни.

Интересно, однако, что, нащупывая новые пути творчества в «Казаках», Толстой одновременно пишет и такие вещи, как «Альберт» и «Семейное счастье» в духе «субъективной поэзии искренности», поощряемой его литературными друзьями из «бесценного триумвирата». Мы видим, таким образом, как в недрах того самого периода, когда Толстой внешне был ближе всего связан с теоретиками «чистого» искусства, независимо от них и в противовес им зарождаются новые принципы эпичности и историзма. «С некоторого времени, — пишет Толстой в дневнике 20 марта 1858 года во время работы над «Казаками» и, вероятно, в тесной связи с нею, — всякий вопрос для меня принимает громадные размеры... Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном, в истории» (т. 48, стр. 10). Эта более широкая перспектива художественной мысли писателя, намеченная впервые в «Казаках», стала затем основным качеством Толстого — эпического романиста.

Выход из своего идейного кризиса конца 50-х годов Толстой нашел в сближении с народом, его нуждами, его интересами, в попытках практической помощи крестьянам. В его художественной деятельности эти же настроения сказались в тяготении к эпической форме, с одной стороны, и в непосредственном изображении крестьянской жизни, в попытках осмыслить ее «с точки мужика» («Идиллия», «Тихон и Маланья», «Поликушка») — с другой.

Толстой органически стремился к большей демократичности, народности в своем творчестве, — и это придало новые силы его таланту. Но взгляд писателя на крестьянскую жизнь не был лишен противоречий. Порой сочувствие Толстого народу граничило с чрезмерной идеализацией крестьянского быта. Это ощутимо, в

частности, в фрагментах «Идиллия» и «Тихон и Маланья». Вероятно, сам писатель почувствовал некоторую односторонность своей «идиллической» повести, почему она и осталась незавершенной. Уже на склоне лет, в 1906 году, перечитав свою недописанную повесть о Тихоне и Маланье и справедливо отметив некоторую ее «наивность», Толстой вместе с тем сказал: «Приятно было читать. Там видна моя любовь и хорошее отношение к народу» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись от 28 октября 1906 г. Цит. по кн.: Н. Н. Гусев, Толстой в расцвете художественного гения, М. 1928, стр. 281). Еще с большим правом эти слова писателя могут быть отнесены к «Поликушке» — лучшему рассказу Толстого начала 60-х годов.

Рассказ «Поликушка» был написан Толстым в марте-апреле 1861 года в Брюсселе, во время его второй заграничной поездки. Позднее он был доработан автором и напечатан два года спустя, в феврале 1863 года.

Сюжет «Поликушки» не вымышлен. Знакомая Толстого — одна из княжон Дондуковых-Корсаковых, встречавшаяся с писателем в 1861 году в Брюсселе, рассказала ему историю с дворовым, случившуюся в ее родных местах в Псковской губернии. Толстой воспользовался этим сюжетом, изобразив хорошо знакомые ему быт, обстановку и типы Ясной Поляны и ее окрестностей. Дутловы, Резунов (Резун), Жидков — все это действительные фамилии яснополянских крестьян. Имя Поликея не раз упоминается в записных книжках Толстого конца 50-х годов. «Тип Поликушки, — утверждает Софья Андреевна Толстая, — взят Львом Николаевичем с яснополянского дворового человека» (цит. по т. 7, стр. 347).

Насмешливо рисуя в рассказе фигуру чувствительной барыни-филантропки, Толстой все свое сочувствие отдает ее дворовому — простодушному плуту и неудачнику, а по существу просто горько обиженному жизнью человеку Поликею. Века крепостного права, как правдиво показывает писатель, породили в сознании людей черты рабской психологии, но не смогли вытравить в русском крестьянине его чувства человеческого достоинства, своеобразного представления о долге и чести. Самоубийство Поликушки — это не конец преданного холопа, нарушившего хозяйскую волю, а результат трагедии совести человека, высоко оценившего доверие к себе, к своей честности и порядочности.

Но Толстой в «Поликушке» далек от идеализации крестьянства и деревенского быта. Со всей прямотой и трезвостью изображает он, например, состоятельного и скупого крестьянина Дутлова.



Особая горькая ирония рассказа заключается как раз в том, что деньги, погубившие Поликушку, по прихоти барыни достаются самому богатому и жадному мужику в деревне, в котором легко различить черты будущего кулака-мироеда.

Споры вокруг реформы 1861 года, обострившие внимание Толстого к крестьянской теме, стимулируют и попытки писателя осмыслить историю России на решающих этапах ее развития. В прошлом русского общества и народа он хочет найти ключ к пониманию современности.

В деятелях декабристской эпохи Толстой видел пример благородного бескорыстия, самоотверженного служения своим идеалам, нравственной стойкости. Толстого интересовала и привлекала не политическая программа декабристов, а, скорее, моральный и человеческий облик героев, столь резко несхожих с измельчавшим и растерявшим всякие благородные идеалы поколением дворян — современников писателя. Противопоставление двух эпох, намеченное уже в широком историческом зачине романа «Декабристы», где дана ироническая характеристика предреформенных лет, продолжено сопоставлением декабриста Лабазова и его семьи с завсегдашними английского клуба, московскими краснобаями-либералами.

Первые главы «Декабристов» явились прямым истоком романа «Война и мир». Сам Толстой рассказывал в наброске предисловия к первой части «Войны и мира»: «В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала с славной для России эпохой 1812 года» (т. 13, стр. 54). Таким образом, сам писатель первоначальный замысел «Декабристов» датировал 1856 годом. Исследователи не раз высказывали сомнение по поводу этого авторского указания.

Такие сомнения возникали, в частности, потому, что в Лабазове — герое трех первых глав «Декабристов» — узнавали черты известного деятеля декабристского движения Сергея Григорьевича Волконского, с которым Толстой познакомился во Флоренции в декабре 1860 года. В самом деле, внешний облик Лабазова совпадал отчасти с тем впечатлением, какое оставил у Толстого С. Г. Волконский. «Его наружность, с длинными седыми волосами, — вспоминал позднее писатель, — была совсем как у ветхо-

заветного пророка. Как жаль, что я тогда так мало с ним говорил... Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы» (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, М. 1959, стр. 141).

Однако, как можно установить из письма Толстого к Герцену от 14/26 марта 1861 года, Толстой начал писать свой роман еще до встречи с С. Г. Волконским. «Я затеял, — сообщал он в этом письме, — месяца 4 тому назад (то есть в ноябре 1860 года, за месяц до знакомства с Волконским. — В. Л.) роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист... Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгой и несколько идеальной взгляд к новой России» (т. 60, стр. 374). А несколько дней спустя, прочитав в «Полярной звезде» статью Огарева «Кавказские воды», Толстой вновь писал Герцену: «Огарева воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не зная ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм» (т. 60, стр. 376). Таким образом, очевидно, что образ Лабазова складывался у Толстого прежде, чем он познакомился с С. Г. Волконским, хотя это и не исключает того, что в своей дальнейшей работе Толстой воспользовался некоторыми чертами Волконского.

Вместе с тем, утверждение Толстого, что роман «Декабристы» был начат им в 1856 году, возможно, не следует расценивать лишь как грубую ошибку памяти. Во всяком случае, предположение, что Толстой задумал свой роман много ранее 1860 года, подтверждается некоторыми биографическими фактами. Дело в том, что еще в самом начале 1857 года Толстой, будучи за границей, познакомился и сблизился с декабристом Михаилом Ивановичем Пушиным (1800—1869), родным братом лицейского товарища и друга Пушкина И. И. Пушкина, только что возвращенного тогда из ссылки. Толстой подружился с М. И. Пушиным, часто совершал с ним совместные прогулки, с удовольствием слушал его рассказы о прошлом.

В письме к Т. А. Ергольской 17/29 мая 1857 года Толстой писал о своем окружении: «Просто на подбор превосходные люди все. 1) Пушкин — старик 56 лет, бывший разжалован за 14 число, служивший солдатом на Кавказе; самый откровенный, добрый

и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире, и притом высокой христианин; 2) его жена — вся доброта и самопожертвование, очень набожная и восторженная старушка, но еще очень свежая» (т. 60, стр. 191). Не трудно увидеть близость этой характеристики к описанию четы Лабазовых в «Декабристах». Таким образом, характер декабриста, сохранившего энергию, убежденность и жизнерадостность, несмотря на все выпавшие на его долю испытания, интересовал Толстого много прежде того времени, когда он — в конце 1860 года — начал писать роман. К впечатлениям Толстого от встреч с М. И. Пущиным прибавились, несомненно, в ходе работы новые мысли и впечатления, наложившие свою печать на создание образа Лабазова, психологические черты которого во многом родственны характеру Пьера Безухова в «Войне и мире». «В добродушном, восторженном чудаче Пьере Лабазове и его жене Наталии Николаевне, — справедливо замечал В. Вересаев в своей книге «Живая жизнь», — нетрудно узнать Пьера и Наташу Безуховых» (В. В. Вересаев, Полн. собр. соч., изд. 2-е, изд-во «Недра», М. 1930, т. VII, стр. 122).

Толстой имел в виду определенные прототипы, не только создавая образ Лабазова. Как указывали Ю. Г. Оксман (Ю. Г. Оксман, Д. И. Завалишин в борьбе за опубликование своих записок. — «Декабристы». Неизданные материалы и статьи, М. 1925, стр. 195) и Б. М. Эйхенбаум (Б. М. Эйхенбаум, Лев Толстой, кн. 2, М. — Л. 1931, стр. 191—192, 199—201), большинство лиц, изображенных и упомянутых в «Декабристах», не вымышлены, на что порою прямо намекают их фамилии: Аксатовы — Аксаковы (автор «Семейной хроники» С. Т. Аксаков и его сыновья-славянофилы К. С. и И. С. Аксаковы), Пахтин — писатель Н. Ф. Павлов и т. п.

Как можно судить по указаниям С. А. Толстой, в 1863 году писатель отдал ей переписать «Декабристов» и, возможно, тогда же внес поправки в написанные ранее главы. Вполне вероятно, впрочем, что в это время Толстого занимали уже не столько сцены возвращения декабриста в Россию в 1856 году, сколько замыслы романа о 1825 годе, непосредственно перешедшие в замысел «Войны и мира».

Надолго прервав работу над «Декабристами», Толстой возвратился к этой теме лишь в 1877—1879 годах. Писатель много работал в это время в архивах и библиотеках Москвы, старательно собирал материалы о декабристах. Однако и на этот раз работа не пошла далее первоначальных набросков, так как Толстой вскоре

увлекся замыслом исторического романа из эпохи Петра I. Сохранившиеся отрывки из романа о декабристах 1877—1879 годов, изображающие сцены в деревне, никак не связаны с замыслом романа о Лабазове и представляют собою по сути дела совсем иное произведение, сходное с первым лишь по общей теме.

Главы «Декабристов», посвященные возвращению Лабазова, были подготовлены Толстым к печати и опубликованы в 1884 году. Писатель, вероятно, сам понимал значение этого неосуществленного, но дорогого ему замысла для своей дальнейшей творческой судьбы. Иронически изображая в первых главах «Декабристов» либеральное возбуждение эпохи реформ, Толстой противопоставил ему исполненную внутреннего достоинства и убежденности фигуру патриарха времен дворянской революционности, сознающего, что «сила России не в нас, а в народе». Один лишь шаг отделил эту мысль от «мысли народной» «Войны и мира».

Вся логика идейных и художественных исканий Толстого в конце 50-х — начале 60-х годов, с его стремлением к изображению народных характеров («Поликушка»), эпическому тону рассказа («Казаки»), попытками обратиться к истории для понимания современности («Декабристы») вела писателя к замыслу грандиозной эпопеи народной жизни — роману «Война и мир».

---

«Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн». Впервые рассказ напечатан в журнале «Современник», 1857, № 9.

При первом появлении в печати рассказ не вызвал заметных откликов критики. Газета «С.-Петербургские ведомости» (1857, № 210 от 28 сентября) в обзоре журнальных новинок упомянула о рассказе Толстого в недоброжелательном тоне. Критик П. Б(асистов) увидел в «Люцерне» лишь выражение «болезненной настроенности» автора. Толстого, видимо, сильно огорчил этот отзыв, потому что 11 октября 1857 года он записал в дневнике: «Меня обругали «Петербургские ведомости», а в письме, отосланном в тот же день Н. А. Некрасову, с досадой говорил о своем рассказе, как о «плоской мерзости».

В литературных кругах мнения о рассказе Толстого разделились. «В Москве мне говорили, — писал Д. В. Григорович Некрасову, — что Толстой ничего не написал лучше; общее мнение, что повесть отличная» («Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 98). С другой стороны, такие писатели, как И. С. Тургенев, И. И. Панаев, В. П. Боткин, П. В. Анненков, встретили рассказ Толстого

без сочувствия. Всем им не по душе прилась «морально-политическая проповедь» Толстого, его пафос обличения западной цивилизации. «Повесть его, ребячески-восторженная, мне не понравилась, — писал, например, Анненков Тургеневу. — Она походит на булавочку, головке которой даны размеры воздушного шара в три сажени диаметра» («Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. III, М. 1934, стр. 72). Публицистическая сторона «Люцерна» не понравилась Анненкову прежде всего потому, что он хотел бы видеть в Толстом «чистого» художника, решающего в своем творчестве задачи сугубо эстетического свойства и не претендующего на морально-философские и социальные обобщения.

В ряду других произведений Толстого рассказ «Люцерн» несколько лет спустя был рассмотрен Д. И. Писаревым в его статье «Промахи незрелой мысли» (журнал «Русское слово», 1864, № 12). С некоторой полемической односторонностью оценивая характер Нехлюдова, Писарев утверждал, что «никогда еще тип несправедливого фразера или бестолкового идеалиста не являлся перед вами в более смешном и печальном положении» (Д. И. Писарев, Собр. соч., т. 3, М. 1956, стр. 182). Разбор Писаревым «Люцерна» был оригинальной, хотя и не во всем бесспорной попыткой применения к творчеству Толстого принципов «реальной критики», унаследованных от Добролюбова.

Стр. 7. ...говорит Murray... — Murray — путеводитель, или «гид», по Швейцарии, получивший название по имени английского книгоиздателя Джона Меррея, выпустившего серию путеводителей для путешественников (Handbooks for travellers).

Стр. 22. ...по новым законам республики... — Имеется в виду конституция Швейцарской республики 1848 года, предусматривавшая создание Союзного Суда, в компетенцию которого входили, в частности, «дела о бродягах».

Стр. 25. Если бы в эту минуту я был в Севастополе... — Толстой вспоминает здесь о своем участии в обороне Севастополя, осажденного англо-французскими войсками во время Восточной войны 1853—1856 годов.

Стр. 29. Что англичане убили еще тысячу китайцев... — Здесь и далее перечислено несколько фактов политической хроники 1856—1857 годов. В конце 1856 года китайские власти арестовали на английском корабле торговцев опиумом. Следствием этого инцидента, который англичане расценили как оскорбление

британского флага, явилась жестокая бомбардировка английскими кораблями Кантона, а затем захват и разграбление этого города, принесшее множество человеческих жертв.

*...что французы убили еще тысячу кабиллов... — Французская армия, завершавшая в это время колонизацию Алжира, натолкнулась на отчаянное сопротивление племен горцев-кабиллов, упорно продолжавших борьбу, несмотря на превосходящие силы французов.*

*...что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид... — Летом 1857 года газеты оживленно обсуждали дипломатический конфликт между Турцией и правительством Неаполя, не пожелавшим признавать полномочия временного посланника Турции Спичера на том основании, что он еврей.*

*...что император Наполеон гуляет пешком в Plombières... — Европейские газеты той поры сообщали также о прогулках Наполеона III в Plombières — курортной городке в Вогезах. Эти сообщения о «прогулках» императора, отдохнувшего вдали от бурной политической жизни Парижа, должны были подчеркнуть «свободу волеизъявления» французов на происходивших в то время выборах.*

*...о состоянии безбрачных китайцев в Индии... — В июле 1857 года в английском парламенте поднимался вопрос о привлечении свободных работников из числа китайских переселенцев в английские колонии. Так как китайцы предпочитали переселяться в Индию и другие колонии без жен, что не гарантировало их оседлости, члены Палаты общин предлагали взимать особую пошлину с безбрачных переселенцев.*

*...о распространении христианства и образования в Африке... — Толстой иронизирует над французскими колонизаторами.*

*...о составлении общества исправления всего человечества... — Толстой имеет, вероятно, в виду обсуждавшийся в 1856—1857 годах в английской и французской прессе проект «общего европейского союза наций» как «единой семьи человечества».*

«А л ь б е р т». Впервые повесть напечатана в журнале «Современник», 1858, № 8.

Прочитав повесть в рукописи, Некрасов писал Толстому 16 декабря 1857 года: «Главная вина Вашей неудачи в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагоприятен... Все, что на втором

плане, очень, впрочем, хорошо, то есть Делесов, важный старик и пр., но все главное вышло как-то дико и ненужно. Как Вы там себе ни смотрите на Вашего героя, а читателю поминутно кажется, что Вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром нужен доктор, а искусству с ним делать нечего» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. X, стр. 372). Толстой не вполне согласился с критикой Некрасова. «Что это не повесть описательная, а исключительная, — писал он в ответном письме 18 декабря, — которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения; но в какой степени исполнена задача, это другой вопрос. Я знаю, что исполнил ее, сколько мог» (т. 60, стр. 243).

Некрасов был прав в своих опасениях за успех «Альберта». Критика почти не откликнулась на появление повести, если не считать беглых замечаний Б. Н. Алмазова в его обзоре русской литературы 1858 года (сб. «Утро», М. 1859, стр. 77) и кратких отзывов журналов «Сын отечества» (1859, № 8) и «Северный цветок» (1858, № 10). Не во всем соглашаясь с автором, рецензент умеренно-либерального журнала «Сын отечества» отмечал и положительные стороны повести, выделяя, в частности, сцену Альберта с Делесовым. В прочих же критических отзывах содержались лишь упреки Толстому в неудачном выборе предмета изображения и общего тона рассказа. Основной для самого автора вопрос о природе искусства и вдохновения даже не обсуждался в критике, настолько мало актуальной казалась эта проблема в атмосфере социальных споров конца 50-х годов.

Стр. 43. ...таких артистов у Излера мало. — Излер — владелец заведения искусственных минеральных вод под Петербургом, ставивший своей целью развлекать и увеселять публику. Во время зимнего сезона в петербургском Пассаже три раза в неделю Излер устраивал вечера с цыганами.

Стр. 46. ...старая музыка — музыка, и новая музыка — музыка. — В споре Альберта с Делесовым о музыке упоминаются особенно популярные в середине 50-х годов имена композиторов и артистов. Оперы Г. Доницетти («Лючия ди Ламермур»), В. Беллини («Сомнамбула»), Дж. Мейербера («Роберт-Дьявол»), Д. Россини («Севильский цирюльник») составляли основу оперного репертуара тех лет. Певица Анжелика Бозио и знаменитый бас Луиджи Лаблаш были главным украшением петербургской

Итальянской оперы в сезон 1856—1857 годов. Воспоминание об известной певице Полине Вьардо-Гарсиа и «короле теноров» Рубини относится к 1844 году, когда эти артисты гастролировали в Петербурге.

Стр. 50. *Und wenn die Wolken sie verhüllen,  
Die Sonne bleibt doch ewig klar... —*

несколько видоизмененные первые строки каватины Агаты из оперы Вебера «Вольный стрелок», либретто Ф. Кинда.

*Ich auch habe gelebt und genossen.* — Не совсем точно переданные строки из стихотворения Ф. Шиллера «Жалоба де-вушки», положенного на музыку Ф. Шубертом.

«Юристен-вальцер». — Во время гастролей Иоганна Штрауса в Петербурге в конце 1856 года особенным успехом пользовался его вальс «Juristen-Ball-Tänze», который и имеет здесь в виду Толстой.

«Три смерти». Впервые рассказ напечатан в журнале «Библиотека для чтения», 1859, № 1.

Рассказ был сочувственно встречен в литературных кругах, однако мысль автора не всеми была правильно и до конца понята. «Три смерти» здесь вообще понравились, — писал Тургенев Толстому из Петербурга 11 февраля 1859 года, — но конец находят странным и даже не совсем понимают связь его с двумя предыдущими смертями, а те, которые понимают, недовольны» («Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 53). В ответ на подобные же упреки Толстой, обращаясь к А. А. Толстой, подробно истолковал замысел своего рассказа (см. прим. на стр. 485 наст. тома).

Наиболее заметный печатный отклик на рассказ «Три смерти» принадлежал перу молодого Д. И. Писарева. В журнале «Рассвет» (1859, № 12) Писарев подверг детальному разбору художественную сторону рассказа, указав на «глубину и тонкость психологического анализа» (Д. И. Писарев, Собр. соч., т. I, стр. 36). В своей рецензии Писарев как бы продолжал мысль Чернышевского о «диалектике души» как об основном свойстве таланта Толстого-художника.

«Семейное счастье». Впервые роман напечатан в журнале «Русский вестник», 1859, № 7 и 8 (апрель).

Современная Толстому критика почти не отозвалась на появление романа, что следует объяснить, в частности, тем, что содер-



жание «Семейного счастья» было малоактуальным, далеким от тех проблем, какие волновали в ту пору общество и печать. В газете «С-Петербургские ведомости» (1859, № 155 от 18 июля) и журнале «Северный цветок» (1859, № 22) появились лишь беглые, хотя и сочувственные замечания о «Семейном счастье». В демократических изданиях, в том числе в журнале «Современник», о «Семейном счастье» не было даже упомянуто. Это было связано, вероятно, и с тем, что роман Толстого появился во враждебном «Современнику» журнале «Русский вестник» Каткова.

Несколько лет спустя в статье под броским названием «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» (журнал «Время», 1862, № 1 и 9) Ап. Григорьев пытался пересмотреть отношение критики к «Семейному счастью» и назвал этот роман «лучшим произведением» Толстого. Эта запоздалая попытка реабилитации «Семейного счастья», которое сам автор так жестоко осудил в своих письмах к Боткину, не имела успеха. А. Пятковский, возражая в журнале «Современник» (1865, № 4) против толкования произведений Толстого «эстетическими критиками», утверждал, что в романе «Семейное счастье» «сквозила некоторая задняя мысль, состоящая в идеализации известного (то есть патриархально-помещичьего. — В. Л.) быта...» Однако в целом ошибочно подходивший к «Семейному счастью» Ап. Григорьев был прав в том отношении, что высоко оценил проявившееся и в этом романе психологическое мастерство Толстого в изображении «перехода чувства страсти в иное чувство...»

Стр. 89. ...предпочитала Моцарта Шульгофу. — Юлий Шульгоф — пианист и композитор середины XIX века, известный не столько своими оригинальными произведениями, сколько переложениями для фортепьяно сочинений Моцарта, Бетховена, Гайдна.

«К а з а к и». Впервые повесть опубликована в журнале «Русский вестник», 1863, № 1.

«Казак», появившиеся после длительного молчания Толстого художника, вызвали довольно оживленные комментарии в печати. Повесть не была, однако, достаточно объективно и глубоко оценена современной Толстому критикой.

На фоне журнальной полемики 60-х годов, острых литературных споров о «новых людях», «нигилистах», «отцах и детях» «Казак» показали многим вещь архаической, неактуальной, восхо-

дящей к давним, лермонтовским и пушкинским традициям. Этим объясняется, в частности, и отрицательная оценка повести Толстого критикой демократического лагеря. Некрасовский «Современник» (1863, № 7) поместил на своих страницах анонимную рецензию, автор которой (А. Ф. Головачев) расценил «Казачков» как демонстративный уход Толстого от проблем современности. «Эта повесть является не протестом, а сугубым непризнанием всего, что совершилось и совершается в литературе и в жизни», — писал рецензент «Современника». Тот же упрек был высказан Толстому писательницей Евг. Тур в журнале «Отечественные записки» (1863, № 6). Евг. Тур находила, что в своей критике цивилизации, образования, прогресса Толстой объективно сходится с реакционером Катковым. Считая «Казачки» произведением ретроградным, Евг. Тур не могла, однако, не отметить значительных художественных достоинств повести.

Либеральная «эстетическая» критика отнеслась к повести Толстого восторженно, выдвинув на первый план не идейные, а чисто художественные вопросы. П. В. Анненков в газете «С.-Петербургские ведомости» (1863, № 144 и 145 от 27 и 28 июня) и Евг. Эдельсон в «Библиотеке для чтения» (1863, № 3) отмечали преимущественно правдивость жизненного фона в «Казачках», этнографическую точность описаний Кавказа, тонкость психологического рисунка у Толстого. Эту высокую оценку художественного мастерства Толстого в «Казачках» разделял и Тургенев, которому не понравилась лишь фигура Оленина. «Казачков» — я читал, — писал Тургенев Фету 7/19 апреля 1863 года, — и пришел от них в восторг. (И Боткин также). Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление. Для контраста цивилизации с первобытной нетронутой природой не было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собою, скучное и болезненное существо» (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XII, М. 1958, стр. 351).

Поэт и критик Я. П. Полонский в статье «По поводу последней повести гр. Л. Н. Толстого «Казачки» («Время», 1863, № 3) тоже назвал Оленина «человеком явно отживающего поколения, чем-то вроде бледного отражения лучших людей пушкинской эпохи».

Позднее Тургенев в письме к Фету от 4 марта 1879 года отзывался о «Казачках» с восхищением: «Чем чаще перечитываю я эту повесть, тем более убеждаюсь, что это chef d'oeuvre Толстого

и всей русской повествовательной литературы» (А. А. Фет, Мои воспоминания, М. 1890, часть 2, стр. 288).

Вызвавшая противоречивые толки современников повесть «Казачи» впоследствии оказала заметное влияние не только на русскую, но и на мировую литературу. Говоря о раннем творчестве Толстого, Рсмен Роллан замечал: «Надо всеми этими произведениями поднимается, подобие самой высокой вершине в горной цепи, лучший из лирических романов, созданных Толстым, песнь его юности, кавказская поэма «Казачи». Снежные горы, вырисовывающиеся на фоне ослепительного неба, наполняют своей гордой красотой всю книгу. Произведение — непревзойденное, ибо в нем впервые расцветает толстовский гений...» (Р. Р о л л а н, Собр. соч., т. 2, М. 1954, стр. 237). О том, какое впечатление произвели на него «Казачи», говорил и Э. Хемингуэй (см. Э. Х е м и н г у э й, Избранные произведения в двух томах, том 2, М. 1959, стр. 254—255).

Стр. 235. *Это наш Нимврод египетский... Ловец перед господином.* — В Библии упоминается некий Неврод (Нимврод), который назван «ловцом перед господом», что истолковывается обычно как «охотник». Отсюда употребление этого имени в качестве нарицательного.

Стр. 241. *...о Куперовом Патфайндере...* — Имеется в виду главный герой романа американского писателя Фенимора Купера «Следопыт» (The Pathfinder).

Стр. 270. *Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков...* — Амалат-Бек — герой одноименной повести А. Бестужева-Марлинского (1797—1837), имя которого ассоциировалось с романтическим изображением Кавказа.

«Поликушка». Повесть впервые напечатана в журнале «Русский вестник», 1863, № 2.

Обращение Толстого в своей повести к изображению крестьянской жизни не было одобрено либеральной и консервативной критикой. Газета «Сын отечества» (1863, № 90 от 15 апреля) расценила «Поликушку» как «ложь и неестественность и клевету на жизнь». Критик «Одесского вестника» (1863, № 53 от 16 мая), отметив в повести «блестящие частности», в то же время недоумевал, «к чему потрачено столько таланта, наблюдательности и ума». Очень характерный отзыв дал о «Поликушке» поэт

А. А. Фет, заядлый крепостник по своим идейным убеждениям: «...в «Поликушке» все рыхло, гнило, бедно больно.. Все верно, правдиво, но тем хуже... Я даже не против сюжета, а против отсутствия идеальной чистоты... От «Поликушки» несет запахом этой исковерканной среды» (Н. Н. Гусев, *Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1828—1890*, М. 1958, стр. 290).

В противовес этим недоброжелательным суждениям повесть Толстого была высоко оценена И. С. Тургеневым. «Прочел я после Вашего отъезда «Поликушку» Толстого, — писал Тургенев Фету, — и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу уж большого много потрачено, да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает, а ведь у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!» (И. С. Тургенев, *Собр. соч.*, т. XII, стр. 354.)

Стр. 325. *Я недавно видел, как лорд Пальмерстон...* — Во время своей поездки в Лондон в конце февраля 1861 года Толстой присутствовал на одном из заседаний Палаты общин и слушал речь премьер-министра Англии Пальмерстона в защиту увеличения ассигнований на военный флот.

Стр. 332. *Wage du zu irren und zu träumen!* — строка из стихотворения Ф. Шиллера «Тэкла».

Стр. 371. *...как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку...* — Альбиносы — люди с отсутствием пигментации кожи, глаз и волос. «Альбиноски» и «бородатые женщины», к числу которых относилась и упомянутая Юлия Пастрана, приезжавшая в Россию в 50-х годах прошлого века, в качестве «чудес природы» демонстрировались перед публикой.

«Декабристы». Три главы романа, написанные в 1860—1861 годах, были впервые опубликованы в сборнике «XXV лет», СПб. 1884, изданном в честь юбилея «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературный фонд), одним из учредителей которого был Толстой. Готовя рукопись к печати, Толстой произвел значительную стилистическую правку.

Появление «Декабристов» вызвало горячий отклик со стороны В. В. Стасова. «По-моему, — писал Стасов Толстому, — эти

немногие страницы — родные сестрицы всего самого совершенного, что есть в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», и мы все тут словно пьяны. Неужели этикие-то великие вещи должны оставаться недоконченными? Это мне напоминает греческие скульптуры в «Британском музее» — где рук нет, где ног, где туловища, где и головы самой, — но все-таки изумительное совершенство глядит из каждой черты» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906», «Прибой», Л. 1929, стр. 68).

Стр. 382—384. Характеристика эпохи 1856 года дается Толстым при помощи иронического сопоставления большого числа фактов общественной и литературной жизни того времени, намеков и иносказаний, понятных современникам Толстого, но не всегда ясных сегодняшнему читателю. Сдача Севастополя и гибель флота, затопленного 27—28 августа 1855 года в севастопольской бухте при отходе русских войск, сопоставлены с торжественным чествованием моряков-черноморцев в Москве в феврале 1856 года («вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота»). Организаторы торжеств во главе с купцом-миллионером Кокоревым встретили моряков у Серпуховской заставы, преподнесли им хлеб-соль на серебряном блюде, а затем предложили угощение от купечества с традиционной «чаркой водки». Этим было ознаменовано начало длившихся более недели празднеств и увеселений в честь севастопольцев. Говоря о «*девственницах-политиках*», Толстой намекает на придворную фрейлину А. Д. Блудову и ее славянофильское окружение. В салоне Блудовой в начале Восточной войны раздавались призывы к «освобождению православной церкви», к защите «святых мест» на Ближнем Востоке. Именно эти круги мечтали о захвате Константинополя и молебне в константинопольском Софийском соборе. В светских салонах раздувались «патриотические заслуги» офицера А. Н. Карамзина, командовавшего гусарским полком и убитого в бою под Каракалом в Малой Валахии («*один великий человек*»), и графа М. М. Вьельгорского, заведовавшего провизантской и госпитальной частью в Севастополе и умершего от тифа («*другой великий человек*»).

Замечание о «*юбилее московского актера*» имеет в виду торжественный обед в честь М. С. Щепкина 26 ноября 1855 года, на котором славянофил К. С. Аксаков провозгласил тост «в честь общественного мнения». Под «*целовальником*», при всяком случае выступавшим с речами, разумеется уже упомянутый выше винный откупщик В. А. Кокорев. В результате одного из его выступлений

с выпадами против дворянства правительство запретило обеды с речами.

Иронизируя над предреформенным либеральным оживлением, Толстой отмечает такой характерный факт, как изобилие новых периодических изданий. Журналы «Орел», «Вестник» («Русский вестник»), «Слово» («Русское слово»), «Беседа» («Русская беседа») в самом деле издавались в конце 50-х годов. Журналов «Наблюдатель» и «Звезда» в то время не существовало. Эти названия вымышлены Толстым по иронической аналогии. Poleмика о «народности науки» велась в 1856 году между «Русской беседой» и газетой «Московские ведомости».

Толстой прибегает и к самоиронии, когда говорит о своем участии в обороне Севастополя, о знаменитых «Севастопольских рассказах» («о Крымской войне сочинение») и о своем возвращении в ноябре 1855 года в Петербург, где он, согласно своему положению на военной службе, был прикомандирован к Петербургскому ракетному заведению.

Стр. 391. *Sie pflegen und weben  
Himmlische Rosen ins irdische Leben.* —

Не совсем точно переданное двустишие из стихотворения Шиллера «Доблесть женщин».

Стр. 395. *Ну, Абдель Кадер, ха-ха-ха. Ну, Калиостро... Ну, Петр Третий...* — Абд-эль-Кадир (1803—1883) — вождь алжирского народа, возглавивший национально-освободительную борьбу против французов, полководец, оратор и поэт. Граф Калиостро — под этим именем был известен живший в XVIII веке авантюрист и чародей-шарлатан, присужденный к пожизненному заключению. Петр III (1728—1762) — русский император, свергнутый в результате заговора гвардейских офицеров в пользу Екатерины II. Судьба каждого из названных здесь исторических лиц была окружена ореолом некоторой таинственности. Абд-эль-Кадир длительное время находился в тюрьме, Калиостро и Петр III окончили свои дни в заключении.

«Тихон и Маланья», «Идиллия». («Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того», «Не играй с огнем — обожжешься»)

Как можно судить по записям дневника Толстого, в августе 1860 года им была задумана повесть из крестьянской жизни. Толстой работал над этой незавершенной и не получившей, видимо,

даже окончательного заглавия повестью в 1861—1862 годах. Сохранившиеся отрывки «Тихон и Маланья», «Оно заработка хорошо, да и грех бывает от того» и «Не играй с огнем — обожжешься», близкие друг другу по основной сюжетной ситуации, действующим лицам и стилю повествования, несомненно представляют собою три различные редакции одной повести. Толстой не кончил работу над повестью, и она не печаталась при жизни писателя. Сохранившиеся в бумагах Толстого фрагменты повести впервые опубликованы во втором томе «Посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого», под ред. В. Г. Черткова, изд. А. Л. Толстой, М. 1911.

«Отрывки рассказов из деревенской жизни». («Все говорят: не делись...», «Али давно не таскал!», «Прежде всех вернулись в деревню...», «Как скотина из улицы разбрелась...», «Это было в субботу...»)

Наброски крестьянских рассказов, относящихся к 1860—1862 годам, отчасти перекликаются с замыслом повести о Тихоне и Маланье, а в некоторых случаях, вероятно, являются отрывками ее первоначальных редакций.

Отрывок «Али давно не таскал!» впервые опубликован в книге: Л. Н. Толстой, Избранные произведения, Госиздат, М.—Л. 1927. Отрывок «Это было в субботу...» впервые напечатан в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», под ред. В. Г. Черткова, т. II, М. 1911, в качестве варианта к рассказу «Тихон и Маланья». Остальные фрагменты впервые опубликованы в т. 7 «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого», М. 1932.

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Л. Н. Толстой. Фотография. 1860.
2. «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн». Рисунок *А. Ванециана*. 1951.
3. «К а з а к и». Рисунок *А. Лансере*. 1917, 1936.
4. «К а з а к и». Рисунок *А. Лансере*. 1917, 1936.
5. «К а з а к и». Рисунок *А. Лансере*. 1917, 1936.
6. «К а з а к и». Рисунок *А. Лансере*. 1917, 1936.
7. «К а з а к и». Рисунок *А. Лансере*. 1917, 1936.
8. «К а з а к и». Рисунок *А. Лансере*. 1917, 1936.
9. «Поликушка». Рисунок *И. Астапова*. 1953.





## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн . . . . .	7
Альберт . . . . .	33
Три смерти . . . . .	62
Семейное счастье . . . . .	76
Казачи . . . . .	162
Поликушка . . . . .	324
Декабристы . . . . .	382

### НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

Тихон и Маланья . . . . .	419
Идиллия	
Оно заработка хорошо, да и грех бывает от того . . . . .	434
Не играй с огнем — обожжешься . . . . .	455
Отрывки рассказов из деревенской жизни . . . . .	461
Примечания . . . . .	477
Список иллюстраций . . . . .	509

*Лев Николаевич  
Толстой*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ 3

Редактор К. Не щ и м е н к о  
Художественный редактор И. Ж и х а р е в  
Технический редактор В. О в с е е н к о  
Корректоры К. П о л е т и к а и А. Ю р ь е в а

\*

Сдано в набор 19/V 1960 г.  
Подписано в печать 9/VIII 1960 г.  
Бумага 84×103<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 16 печ. л. 26,24 усл.  
п.ч. л. 25,44 уч.-изд. л. + 9 вклеек = 25,88 л.  
Тираж 298 000 экз. Заказ № 895. Цена 11 руб.  
С 1/1 1961 г. цена 1 руб. 10 коп.  
Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

\*

Ленинградский Совет народного хозяйства.  
Управление полиграфической промышленности.  
Типография № 1 «Печатный Двор» имени  
А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

